

Как ни странно, до сих пор этой замечательной книги не существовало в электронном виде. Поэтому мы решили это ужасное упущение исправить. Оформление целиком сохранено с издания 1980 года. В скобках курсивом указаны сноски, которые мы решили не делать отдельно, для простоты дальнейшей публикации в сети или где бы то ни было еще.

Корректировка, исправление и вычитка:

Хараев Ахмед (<http://haraev.ru>)

Таов Анзор (<http://adygaabaza.ru>)

Agness

(<http://forum.kbrnet.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=556>),
которую мы так и не дождались. :)

Приятного чтения!

СТРАШЕН ПУТЬ НА ОШХАМАХО
Издательство «Эльбрус», Нальчик 1980

Предисловие Кайсына Кулиева

Слово одобрения

Дайте, дайте первую удачу!
Давид Кугультинов

Если роман в какой-нибудь из молодых литератур уже занял свое место и утвердился в ней, то обычно говорят о зрелости данной словесности. Должно быть, такое мнение справедливо. Если это так, то мы имеем право быть уверенными в том, что литература Кабардино-Балкарии достигла зрелости — наши писатели опубликовали целый ряд романов. Этот факт не может не радовать, ведь главное для нас — родная литература растет, идет к своей настоящей зрелости, чтобы, стать правдивым зеркалом истории, жизни и судьбы народа, его трудного пути и мужества, его мудрости и стойкости. Как раз о долгом и трудном пути родного народа, полного драматизма, бедствий и надежд, написан роман «Страшен путь на Ошхамахо».

Прямо скажем, молодой писатель отважился на трудное и сложное дело — рассказать о временах далеких, изобразить людей, живших и делавших свое дело несколько веков назад. В данном случае, работа писателя, как мне кажется, в большой степени осложняется тем, что об этом периоде мало письменных источников. Тем более похвальна смелость автора, взявшего на себя тяжесть и ответственность создания монументального произведения о людях и событиях самого начала восемнадцатого столетия. К тому же надо иметь в виду, что это первый роман а, хотя и не первая его книга.

Нас могут спросить: стоило ли браться за тему о столь далеких от нас временах. По-моему, результаты работы Эльберда дают мне право ответить положительно на этот вполне уместный вопрос. Короче говоря, он написал, на мой взгляд, хорошую, интересную, живую и нужную нам книгу, доказав свои творческие возможности. А это главное. Обычно говорят, что важнее всего современная тематика, что, мол, писатель должен писать о тех, кто живет и трудится с ним рядом, кого он знает хорошо, — о современниках. Это, разумеется, верно. Но также, мне думается, никто не может оспаривать права писателей на исторические темы, тем более авторов младописьменных литератур, ибо наши народы в прошлом не имели письменности и не смогли изобразить жизнь тружеников и героев отдаленных эпох в романах, повестях, рассказах. У нас остался несозданным общий портрет живших в старину людей, как это было сделано писателями образованных наций. Лев Толстой, к примеру, оставил потомкам образы князя Болконского и крестьянина Каратаева, а вот образы кабардинцев Кургоко и табунщика Адешема, балкарского крестьянина Куанча, живших давно, некому было нам оставить. Поэтому для писателей, народы которых в прошлом не имели письменной литературы, особенно закономерно их обращение к истории своей родины.

Пересказывать содержание романа, который лежит перед читателем, нет надобности. Я уверен еще в одном — книга будет читаться с большим интересом. Я сужу по себе. Мне кажется, что автору удалось вылепить живые образы наших предков, живших столетия назад, он сумел ощутить воздух того далекого от нас времени. А это уже большая художественная удача. Он, по моему

мнению, хорошо применил слово «хабар» вместо обозначения «глава». Хабар — значит рассказ, известие, новость. Во всяком случае мне, читателю, такой прием, придающий книге особый колорит, очень нравится. Таких находок у автора много.

Произведение а написано с большим уважением и любовью к родной Кабардино-Балкарии, к ее народам, к их истории. Это, как я уже напоминал, первый роман молодого писателя-кабардинца, пишущего на русском языке. Эти беглые заметки я пишу лишь для того, чтобы сказать слово одобрения первой крупной работы, поддержать первую удачу моего младшего собрата. Он потратил на этот серьезный труд несколько лет. И я рад сказать, что не зря. Думаю, что все любители художественной литературы будут также рады роману а, как и я — один из первых его читателей.

Кайсын КУЛИЕВ

Вступительное слово Созерцателя

Легко ли было — вы скоро сможете судить об этом сами — отправляться в полное загадок далекое прошлое? Гипотетический ваш соглядатай, или, скажем, созерцатель, окунулся в туманную глубь веков, почти свободную от письменных литературных памятников, которые могли бы служить верными дорожными указателями. Хватало, правда, устных преданий, и они очень выручали, хотя в их причудливом свете стародавние события преломлялись под разными углами, теряли то начала или концы, то причины или следствия. Ну а исторические вехи, по-настоящему путеводные, маячили на огромных — в целые десятилетия — расстояниях друг от друга...

Среди тех, кто рискнет пуститься в путь по страницам этой книги, хотелось бы видеть в основном людей терпеливых, внимательных, любознательных, а главное — молодых. И молодых не только по годам, но прежде всего — по юношеской восприимчивости ума и отзывчивости сердца. Им понадобится терпение, ибо впереди — не совсем прямая и гладкая дорога; пригодится внимательность: кое-какие места наверняка окажутся скользкими и запутанными; любознательность также не будет лишней, потому что в пути нет-нет да и обнаружатся всякие замысловатые сведения, интересные сами по себе, но из которых нельзя извлечь какой-либо видимой пользы для повседневной жизни. Да и зачем, скажем, современному деловому человеку знать, что щипцы для извлечения наконечников стрел из тела назывались у кабардинцев «штапха», а на полях у них с древних времен возделывалась полба, или о том, что охотник, случайно встретивший женщину, даже совсем не знакомую, отделял ей лучшую половину своей добычи, а заподозренного в колдовстве заставляли съедать жареную собачью печенку? В самом деле, зачем? Недаром ведь говорится: слепому луна не светит, у бездетной ребенок не плачет...

Хорошо, когда светит — пусть и не очень ярко — луч надежды. И хорошо даже, когда беспокоит судьба увидевшего свет детища. Вот если бы оно было принято всеми так... Ого! Тут явно послышался чей-то ехидный смешок и прозвучали полные неприкрытой иронии слова: «Ишь какой хитрый! Доброжелательного и всепонимающего отношения ему захотелось! А какому рассказчику не хочется иметь дело с умными и добрыми собеседниками?» Что ж, замечание правильное. И спорить тут нечего. Но разве не кажется любому рассказчику, что вот его-то случай совсем особенный, ни на какой другой не похожий?

Те наши предки, которые жили несколько веков назад, не вели летописей, не составляли исторических хроник, книг не писали. Они вообще не очень-то сильны были в грамоте, больше того — не имели письменности. Да, впрочем, и некогда и не у кого было им учиться: все время приходилось воевать, отбиваться от нападений с двух, а то и с трех сторон. Если же выдавалась свободная минутка, то адыгские князья хватались опять-таки не за книги, а за оружие и усердно колотили и по-соседски грабили один другого, другой — третьего. И каким только непостижимым образом в этом «рассеянном воинском стане» успевали рождаться и вырастать дети?!

Всякие картины открывались жадно ищущему взору соглядатая, странствующего по гулким столетиям. И там, где узоры были неясны или размывалась между ними связь, подобно мягкому проселку в весенние ливни, приходилось пошире раскрывать глаза, повнимательнее

настораживать уши и изо всех сил подстегивать норовистую кобылу воображения. Посему ваш специальный гипотетический созерцатель и не сможет, по примеру пророка Магомета, с гордой уверенностью заявить: «Вот книга, которая не возбуждает никаких сомнений...» (Коран. Сура 2, аят 1). Но этого мало: у созерцателя хватило совести слегка видоизменить те подлинные события, что и в самом деле не вызывали сомнений. То он двух известных крымских сераскиров объединит в одного, то какое-то достоверное происшествие немножко передвинет во времени и пространстве, то в имени исторической личности какую-нибудь букву изменит!

В этих грехах следует честно сознаться. Зато в качестве оправдания может служить искреннее стремление показать правдоподобную картину жизни кабардинцев в описываемые времена, дать представление об их заботах и мечтах, их взаимоотношениях и взглядах на мир божий.

ЧАСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

ХАБАР ПЕРВЫЙ,
напоминающий о том,
что пути сокращаются хождением,
а долги — погашеньем

Пасмурным весенним утром 896 года Хиджры (бегство (араб.). В данном случае — вынужденное «путешествие» пророка Магомета из Мекки в Медину в 622 году н. э. Эта дата считается годом основания ислама, годом, от которого полется мусульманское летоисчисление), или 1518 года от рождества Ауса Герги (иногда — Ауш Гер — так кабардинцы называли Иисуса «Греческого», то есть Христа), два всадника на усталых конях приближались к северо-западным пределам Кабарды. Ехавший впереди худощавый сорокалетний мужчина с бледным лицом, окаймленным короткой, но густой черной бородой, остановил своего гнедого на крутом берегу шумного и быстрого Балка (река Малка). Второй всадник, огромного роста детина, безбородый, но зато с длинными пышными усами, свисающими ниже подбородка, свернул влево, проскакал сотню шагов по течению реки и быстро вернулся обратно:

— Брод недалеко.

А бородатый человек задумчиво смотрел вдаль, на противоположный берег. Если бы кто-нибудь мог (или осмелился) взглянуть сейчас в его большие светло-голубые глаза, то увидел бы в них постыдное для сурового витязя выражение тоски и боля, причудливо смешанное с чувством почти детского восторга. Сквозь полупрозрачную пелену легкого тумана можно было различить на другом, более пологом, берегу неширокую полосу пастбищного плоскогорья, местами поросшего мелкими деревьями и кустарником, табун лошадей, тусклый огонек костра и темную фигуру человека.

* * *

Табунщик Ханух, пасший коней князя Шогенуко, заметил незнакомых 'всадников, как только они появились на том берегу. Он понял, что это чужие люди, так как один из них, слуга или оруженосец, искал брод. Неизвестные пришельцы его тоже видели — в этом Ханух не сомневался. Сейчас он был в раздумье: то ли скакать к князю (село было близко — на южной покатости плоскогорья), то ли остаться и встретить гостей, как подобает кабардинскому мужчине?

Ханух решил остаться.

В нескольких шагах от костра, возле плотной семейки кизиловых деревьев, табунщик имел некое подобие шалаша — навес, крытый соломой и поддерживаемый с наветренной стороны плетеной стенкой, а с подветренной — двумя угловыми столбиками. Ханух достал из-под навеса закопченный котелок и поставил его на огонь, предварительно наполнив водой из родника. Потом, запустив руку под солому, служившую ему постелью, он вынул заржавленный наконечник копья и насадил его на длинную ясеновую палку. Все-таки осторожность не мешает! Теперь можно было сесть у огня, положить у своих ног копьё и следить за приближающимися всадниками, которые уже спустились по извилистой узкой тропе к воде и начали переправляться через самую широкую и мелкую часть реки. Но и в этой части вода доходила лошадям до брюха, и быстрое течение слегка сносило животных. Но вот' кони выбрались на берег и стали быстро подниматься по травянистому склону. Ханух с беспокойством смотрел на незнакомых гостей и машинально сжимал рукоятку кинжала, оправленного в простые деревянные ножны, обшитые грубой кожей.

Первый всадник был одет более чем странно. На плечах, правда, обычная косматая бурка, зато на голове — зеленый тюрбан. На ногах — эта удивительная

обувка из коричневой кожи с белыми отворотами и толстыми подошвами. Такая, говорят, бывает только у франгов или румов (*итальянцы*), да еще носят ее урус-пиши, русские князья. На втором всаднике, одетом попроще, была обычная меховая шапка из черной овчины, серая черкеска грубого сукна и гоншарыки — ловко скроенные по ноге высокие сыромятные чевяки, завязанные у щиколоток тонкими ремешками. От щиколоток и до колен ноги были закрыты войлочными наголенниками. Словом, спутник важного путешественника оказался одетым примерно так же, как и Ханух, только у табунщика — сплошное рванье да нет на черкеске этих новомодных газырей, которыми щеголяет в последнее время адыгская знать.

Здоровенный усатый верзила (от одного его вида тряслись поджилки) спешился первым и, подбежав к своему господину, принял у него поводья и придержал стремя. Ханух сделал шаг навстречу гостям. Слегка поклонившись, он плавным неторопливым жестом указал на свой костер, а затем взял поводья обеих лошадей в свои руки и отвел их к небольшой коновязи, где лежало несколько охапок свежескошенной травы.

Когда таинственный гость скинул бурку и сел у огня, табунщик тихонько охнул от изумления. Стройный стан незнакомца облежала не черкеска, а богатый халат, немного похожий на те, что носят надменные крымские паши, но отличающийся искусным серебряным шитьем и более изящным покроем. По синему атласному фону были рассыпаны сверкающие звезды, круги, треугольники и другие, видно, столь же магические символы. Редкостное одеяние дополнялось драгоценным оружием — гость был обвешан им с головы до ног. На широком кожаном поясе со стальными бляшками висела короткая изогнутая сабля в ножнах, отделанных серебряной филигранью и золотыми насечками. Рукоятка сабли была сделана из слоновой кости и инкрустирована мелкими цветными камешками. Еще висел на поясе рог с узорчатой серебряной крышкой и великолепный кабардинский кинжал, сработанный руками искусного мастера.

Оруженосец снял со своего коня и подтащил к костру большой дорожный хурджин, два тяжелых боевых лука со снятыми тетивами и какой-то длинный, ступней шесть, предмет, упрятанный в войлочный чехол.

Ханух, изо всех сил стараясь не обнаружить своего любопытства, суетился у костра. Он всыпал в котел пару горстей пшена, подбросил в огонь сухого хвороста, а затем, достав две деревянные чаши, наполнил их кислым молоком из бурдюка, который висел на сучковатом столбике, подпиравшем один из углов навеса.

Гость молча принял из рук табунщика чашу и медленно отпил несколько глотков. Оруженосец, стоявший у костра, последовал примеру своего хозяина.

— Садись, друг мой Тузар. Теперь, когда мы прибыли на родину наших предков, никогда не жди от меня приглашения садиться.

Ханух расширенными глазами глядел на гостей. До сих пор ими не было сказано ни единого слова, и крестьянин, решивший, что пришельцы не владеют языком адыгов, чуть не вздрогнул, услышав кабардинскую речь из уст так необычно одетого, вероятно, очень знатного человека. Речь эта была несколько высокопарной, как в песнях гегуако, отдельные слова звучали непривычно для слуха, но отчетливо и красиво.

Оруженосец осторожно присел на камень у огня, а его хозяин, как бы открывая перед любопытным крестьянином завесу загадочной тайны, спокойно продолжал говорить:

— Тузар, твоя сабля опускалась на головы врагов не реже, чем моя, твои стрелы попадали в цель, пожалуй, лучше, чем пущенные моей рукой. И не слуга ты мне, а верный боевой соратник.

Оруженосец при этих словах застенчиво потупил взор.

Табунщик, нагнувшись над костром и помешав деревянной лопаточкой превшее в котле пшено, слушал гостя с таким неподдельным интересом, что суро-

вый воин пожелал ответить хотя бы на два-три из тех сотен немых вопросов, которые читались на лице Хануха. Он знал, что как бы ни распирало кабардинца мучительное любопытство, он сам ни о чем не спросит. Ведь это верх неприличия — приставать к гостю с распросами. В свою очередь чужеземному пришельцу тоже хотелось многое узнать от первого местного жителя, встреченного им в Большой Кабарде. Однако его высокое достоинство не позволяло ему высказывать живой интерес к человеку неблагородного происхождения и к тем сведениям, которые тот мог бы сообщить. Поэтому пришлось действовать обходным маневром. Важный гость посмотрел на своего оруженосца и чуть заметно кивнул ему. Тузар понял без слов.

— Хорошие травы растут на этом пастбище, — сказал он, обращаясь к табунщику. — Наверное, для добрых коней здесь настоящее раздолье.

Ханух тоже был смышленным человеком. Он сразу догадался, что в этом разрешении говорить, которое исходит от знатного господина, кроются совершенно недвусмысленные вопросы.

Крестьянин откашлялся и начал хрипловатым голосом:

— Да, у моего князя Шогенуко много хороших пастбищ. Коней тоже много, а раньше было еще больше. Так много, что даже на этой палке не хватило бы места для зарубок. — Ханух показал на свое копьё. — Недавно Шогенуко был в далеком набеге, а в это время какой-то князь налетел ночью на его владения и угнал большой табун кобылиц с жеребятами-однолетками. Нам, табунщикам, досталось от хозяина, хотя он сам понимал, что мы не виноваты. Ну, мне еще не так. Ведь я пшикеу — вольноотпущенный княжеский крестьянин. Только вот через каждые два дня на третий должен я присматривать за шогенуковскими конями. Ханух меня зовут. Извините за скудное угощение, за позор моего жалкого огня. Кроме пшена, сыра да кислого молока сейчас у меня нет ничего...

Услышав последние слова, важный пришелец многозначительно хмыкнул.

— Настоящий воин не думает о таких пустяках, добрый Ханух, — улыбнулся Тузар. — Гости твоего огня не какие-нибудь турки, любящие услаждать свои утробы жирной и обильной пищей. Мой господин, которого ты можешь называть высокодостойным Мысроко, обладая силой нарта, воздержан в еде, как хрупкая девушка.

Мысроко сделал нетерпеливый жест рукой, хотя по лицу его было видно, что грубая лезть Тузара несколько его не обижает.

Ханух всем своим видом выражал радостное потрясение:

До сих пор только по народным преданиям знал я о прославленных адыгах далекого Мысыра! (*Египет, а Мысроко — значит сын Египта*) Великий Тхашхо! Ты дал моим глазам увидеть живого...

— Подожди, пшикеу! — перебил табунщика именитый гость. — Твой Тхашхо, который считается главным среди здешних адыгских идолов, тут совершенно ни при чем. Ибо все сущее на земле покоряется или должно со временем покориться единственно истинному аллаху и пророку его Магомету.

Ханух испуганно моргал глазами: хотелось и согласиться, и в то же время страшновато было так вот сразу покинуть привычных богов.

А Тузар добавил для пущей убедительности:

— Ты слушай, парень, что говорит тебе высокодостойный, сделавший хадж в Мекку и познавший мудрость Священной книги, о чем свидетельствует зеленый тюрбан на его просветленной голове! — низкий рокочущий бас Тузара окончательно обил с толку бедного крестьянина.

— Конечно, — пробормотал он. — Мы темные люди... Мы такой чести не заслужили... И, конечно, аллах и Магомет, и еще Аус Герга — хорошие боги...

— Остановись, простодушный! — строго и твердо сказал Мысроко. — А то ты еще не такого наговоришь. Тебе ясно объясняли: бог только один — могуществен-

ный и всевидящий аллах. Магомет — это пророк. А вот Аус Герга — другое дело. Правильно его называть Исса. В Коране о нем тоже чего-то понаписано. Только я не все запомнил. С юности я больше привык запоминать лица врагов, а не тексты китабов (*книга религиозного содержания*), где мудрых священных слов в тысячу раз больше, чем звезд на небе. Да и пальцы мои больше привыкли сжимать древко копья или рукоять сабли, чем перелистывать страницы.

Ханух обрадовался случаю перевести разговор на другую тему:

— Вот и мой хозяин такой же: очень он любит поработать боевым топором или длинной пикой. Его селище тут, рядом, на расстоянии двух полетов стрелы. Он убьет меня, если высокочтимый Мысроко к нему не заедет.

— Заедем, — благосклонно ответил Мысроко. — Наши кони уже отдохнули, и мы тронемся в путь, как только ты их напоишь. Мы бы тебя не тревожили, добрый человек, но ведь неудобно въезжать во двор князя на взмыленных лошадях, как будто спасаясь от погони...

Пока мужчины сидели у костра, туман рассеялся, а небо постепенно очистилось от серых неприветливых облаков. Мысроко и Тузар впервые увидели Главный Кавказский хребет во всем его великолепии. С востока на запад, насколько хватал глаз, протянулась острозубая горная стена. Солнце еще не взошло, и лишь отдельные вершины, покрытые вечным снегом, были окрашены в нежные розовато-желтые тона. Но вот край солнечного диска приподнялся над восточной оконечностью горной цепи, и множество причудливо изломанных граней бесконечной утесисто-снежной гряды мгновенно вспыхнули ярко-золотистым переливчатым сиянием. Теневые склоны из тускло-серых стали вдруг чисто-голубыми, беспорядочные скальные нагромождения, незаметные онегом, сменили черную окраску на оранжево-коричневую. А совсем рядом, наполовину возвышаясь над хребтом, словно полководец, вышедший из общего строя, уверенно и гордо вознес к небу обе свои вершины исполин Ошхамахо (*Эльбрус*) — Гора Счастья, как издавна называли его кабардинцы. С этой части пастбищного нагорья он виден весь — от гранитного цоколя до сверкающих ослепительным блеском, округлых, как девичьи груди, вершин. Казалось, Ошхамахо специально сбросил сегодня плотную облачную бурку, в которую кутался всю последнюю неделю, чтобы порадовать своей величественной красотой двух суровых воинов, вернувшихся с далекой чужбины.

Мысроко смотрел немигающими глазами на огромную гору, а губы его еле слышно шептали:

— Так вот ты какой, Ошхамахо... Нет, ни одна из старинных адыгских легенд, привезенных в Мысыр моими предками еще два или три века назад, не смогла тебя приукрасить... А какие горы и пастбищные склоны, какие чистые и щедрые реки, какие богатые леса... Даже эдем я представлял себе более скромным, да простит мне аллах мое невольное кощунство!

Тузар стоял чуть позади хозяина и шумно вздыхал.

Ханух напоил коней, приторочил к тузаровскому седлу хурджин, оба лука и длинный чехол с чем-то тяжелым внутри.

Тузар накинул на плечи высокодостоинного бурку, и тот легко, почти не касаясь стремени, вскочил на коня.

— А ты заслуживаешь благодарности, — сказал Мысроко табунщику. — И, возможно, я еще буду иметь случай вознаградить тебя.

— За что? — удивился крестьянин.

— Хотя бы за то, что тебя зовут Ханух, — усмехнулся именитый всадник и пришпорил коня.

Тузар последовал за своим господином.

Княжеский хабль (*часть села или квартал, иногда отдельное село, принадлежащее одной фамилии*), состоящий из полутора десятков строений, располагался по склону невысокого холма. Ниже, на берегу узенькой речушки, впадающей, очевидно, в Балк, лепились лачуги крестьян. Это были весьма невзрачные строения, вернее даже нестроения, а *плетения* из тонких ореховых жердей, обмазанных глиной. Над каждой лачугой возвышалась круглая, сужающаяся кверху (тоже плетеная и обмазанная глиной) очажная труба. Эти малороскошные жилища были покрыты грубой соломой. Впрочем, и княжеские «особняки» в те времена не слишком сильно отличались от крестьянских. Строительный материал и «архитектура» шогенуковского дома — почти такие же, как у любого пшикеу. Только размерами хоромы князя раза в три побольше, да стены двойной толщины. Правда, крыша дома поражает своей красотой и «богатством» — она сделана из длинных стеблей камыша, привезенных с берегов озера Тамбукан. Над крышей не одна труба, а целых три. Причем та, которая возвышалась над гостевой комнатой, была сложена из камня.

Остальные строения усадьбы — дома для приближенных всех степеней знатности, для простых воинов и для унаутов, т. е. холопов, или попросту рабов, стояли чуть поодаль и ниже по склону. Еще ниже — обширный хозяйственный двор с конюшней, коровником, крытым загонem для овец и коз, кладовыми для хранения зерна; и других продуктов.

Когда Мысроко с Тузаром по узкой раскисшей дороге, где копыта коней полностью утопали в грязи, подъехали к плетневой ограде усадьбы, князь оказался-во дворе. По всему было видно, что он собирался на охоту. Несколько дюжих парней под придиричивыми-взглядами трех уорков седлали лошадей, таскали снаряжение, оттачивали наконечники копий. Сам высокородный пши сгибал в это время тугое древко лука, собираясь накинуть на его верхний конец петельку тети-вы.

Мысроко уверенно въехал во двор и остановился, выжидательно поглядывая на князя, которого нетрудно было узнать и по одежде, и по властно-сердитому выражению красивого молодого лица. Князь обернулся, отбросил лук в сторону, и огонек любопытства, мелькнувший на какое-то мгновение в его глазах, бесследно исчез: теперь его лицо выражало несколько сдержанное, но искреннее чувство доброжелательства.

— Эй, Биберд! крикнул он одному из уорков (видимо, старшему по положению). — У меня гости.

Коренастый, мощного сложения мужчина, вполне под стать Тузару, с неуклюжей поспешностью принял поводья у Мысроко. Кто-то из челяди рангом пониже позаботился о Тузаре.

Князю одного взгляда было достаточно, чтобы определить знатность гостя, достоинство которого, как он решил, наверняка не ниже главы шогенуковского рода.

— С благополучным прибытием, уважаемые путники. Князь Жамбот Шогенуко просит пройти в его дом, где в очаге будут гореть для вас самые жаркие дрова. — Он обернулся к слугам:

— Эй, люди! Несите поклажу гостей в дом. О лошадях не забудьте. Наших тоже расседывайте. Охоты сегодня не будет. Биберд... Где он? А, ну мой добрый друг и сам свое дело знает...

Два небольших окошка по краям высокой дубовой двери, украшенной грубой резьбой, пропускали мало света, но все-таки позволяли разглядеть убранство комнаты. К стене напротив двери примыкали низкие деревянные нары, застланные кусками белой кошмы. Над нарами висел, закрывая почти всю стену, войлочный ковер с красными и зелеными узорами из той же валяной шерсти. На ковре красовалось несколько довольно простых сабель и кинжалов, одна алебарда и па-

ра охотничьих рогов. Вдоль правой боковой стены стояла длинная дубовая скамья и рядом с ней — несколько трехногих столиков. На равных расстояниях от центра комнаты и от стен были врыты в хорошо утрамбованный земляной пол два толстых столба из цельных стволов вековых чинар. Они поддерживали потолочную балку, несущую на себе основную тяжесть поперечных сосновых стволов, аккуратно обструганных и плотно подогнанных друг к другу. Опорные столбы служили еще вешалками для бурок, плетей, конской сбруи и уздечек. В середине левой стены располагался большой очаг, который отличался от самого заурядного, какой можно увидеть в любой крестьянской хижине, только размерами. Часть пола в княжеской гостевой комнате (у кабардинцев она называлась хачеш) была застлана ардженами — циновками, плетеными из камыша.

Мысроко повидал на своем веку множество великолепных восточных дворцов, жил годами в мраморных покоях, убранных со сказочной роскошью, и «гостевой зал» князя Шогенуко показался ему жалкой полутемной конурой. Однако он отметил про себя, что в доме безукоризненно чисто и даже по-своему уютно. Князь скромно посетовал на бедность «этого несчастного жилища», хотя по выражению его лица можно было догадаться, что Шогенуко вполне доволен своим хачешем и бедным его отнюдь не считает.

«Значит, у других князей еще хуже, — подумал Мысроко. — Вероятно, и в самом деле эти пши не думают ни о чем, кроме хорошей охоты и воинской славы...»

Жамбот сам снял бурку с плеч необычного гостя и чуть не уронил ее на пол, увидев диковинный халат. «Неужели турок? — подумал князь. — Нет, не бывает у турка лица истинного адыга (*общее наименование кабардинцев, черкесов и адыгейцев, по существу одного и того же народа, имеющего лишь диалектные различия в языке*), осанки горца да глаз, как осеннее небо перед восходом солнца. У наших людей встречаются глаза серого или голубого цвета, хотя не чаще, чем рыжие или русые волосы, а вот у турок или татар я таких глаз не встречал ни разу».

Саблю Мысроко снял сам и оставил ее в том углу, где уже было сложено остальное его снаряжение.

Хозяин усадил гостя на скамье, поближе к очагу, сам устроился рядом. Зашел Биберд и остановился возле Тузара, стоявшего пока у стены.

— Садитесь, друзья! — впервые разверз уста Мысроко. — Если воин не сидит в седле, он сидит у походного костра, а если не у костра, то за столом.

— Да, да! Садитесь, — подхватил Жамбот Шогенуко. — Так говорить о мужественных воинах может только воин, который еще более мужествен.

Биберд и Тузар поклонились и молча сели на другом конце скамьи, давая понять своим сюзеренам, что не желают мешать их беседе.

Мысроко решил не томить гостеприимного хозяина и сразу назвал ему свое полное имя. И не только имя, но и маршрут своего долгого и опасного путешествия.

— Князь! Ты видишь перед собой человека, прибывшего из далекого Египта, в котором уже много лун хозяйничают янычары султана Селима. Скажу больше: меня зовут Мысроко — это мое собственное имя. А имя родовое — такое же, как у моего родного дяди мелика (*в те времена так назывались египетские монархи*) Туманбея. Здесь, на этой земле, где когда-то наши с тобой предки ездили друг к другу в гости, я буду зваться Тамби. Так оно звучит больше по-кабардински и не будет настораживать слуха любопытных заморских соглядатаев.

— Рад приветствовать в своем недостойном доме столь высокого гостя. — Жамбот слегка побледнел от волнения. — Мысроко Тамби... Кто бы мог подумать! До нас доходили слухи о падении славной адыгской династии. И что Туманбея... не знаю, правда ли это...

— Правда! — резким тоном перебил Мысроко. — Султан Селим подверг его

мучительной и позорной казни. Аллах не удостоил дядю почетной смерти в бою, как за два года до этого помог снискать посмертную славу предшественнику Таманбея мелику Каншао аль-Гури. Хвала аллаху, что хоть мой отец не дожил до столь горестных и позорных дней. Семьи у меня в Каире не было. Я только собирался ею обзавестись. Остаться в Египте после войны, конечно, не мог. Лишь случайно избежав гибели, я решил искать новое поле славы на древней кавказской родине.

— Наверное, халат и тюрбан мусульманского священнослужителя помогли высокодостоинному Тамби в его путешествии, — сказал Шогенуко, не решаясь задавать прямые вопросы.

— Ты прав, — улыбнулся Мысроко. — Но я уверен, что и ты никогда не облачишься в одежду, которая не принадлежит тебе по праву. Настоящий воин не пойдет на такую низость даже ради спасения своей жизни. Почетный сан хаджи, а вместе с ним и этот наряд я заслужил во время паломничества в священную Мекку. Но здесь, в Кабарде, ты, князь, будешь чаще меня видеть в черкеске и боевом шлеме. Ибо мне кажется, что из адыгского воина так же трудно сделать муллу, как из турецкого муллы сделать воина.

Шогенуко от души рассмеялся:

— Твои речи, высокодостоинный гость наш, соответствуют твоему благородному званию. Ведь ты по праву должен у нас называться старшим князем.

— Ну, я пока подожду заявлять о своих правах, кроме права твоею гостя. — Мысроко встал, увидев вошедшую в комнату красивую^молодую женщину в длинном, до пят, белом шелксом платье, расшитом золотыми и красными галунами.

Серебряный чеканный пояс туго стягивал ее тонкую талию. На голове была круглая, конической формы, шапочка из белой кожи, украшенная разноцветным бисером. Темные, как спелые ягоды терна, глаза, над которыми взметнулись стремительные черные крылья бровей, смотрели внимательно и спокойно. Полные алые губы чуть тронуты вежливой улыбкой. Женщина держала в руках овальный медный поднос с пузатым глиняным коашином (*кувшин, каб.*) и несколькими резными деревянными чашами.

— Гуаша (*княгиня, покровительница, каб.*) моего огня, — представил он жену.

— Пусть день приезда наших гостей окажется для них счастливым, — сказала, поклонившись, княгиня и, поставив поднос на столик, разлила по чашам пенный золотистый напиток.

— День, в который нас приветствует такая хозяйка, не может оказаться несчастливым, — серьезным тоном ответил Мысроко, принимая чашу из рук женщины.

— Хозяйка постарается, чтобы высокодостоинному князю Тамби, сыну благороднейшего черкесского рода из Мысыра, понравилось в нашем доме, — тихо сказал Шогенуко, представляя гостя супруге таким вот несколько витиеватым способом.

При этих словах княгиня удивленно и радостно вскинула брови, широко улыбнулась, обнажив ряд ровных ослепительно белых зубов, и, еще раз поклонившись, неторопливо, с изящным достоинством удалилась из хачеша.

А в это время два крепких безусых паренька подвесили к очажной цепи котел с водой и бросили в него разрубленную на части тушу барана. Потом один из парней встал у двери, застыв, как стражник на посту, а другой отгреб в сторону от костра кучу углей от сгоревших дров, нанизал целый бараний бок на ореховую рогатину, очищенную от коры, и стал поджаривать жирные аппетитные ребра.

— А напиток хмельной, — сказал Мысроко, утерев усы. — Здесь, наверное, сок из...

— Нет, не из винограда, — успокоил гостя Жамбот. — Мы знаем, что последователи ислама не пьют вино. Кроме проса и меда здесь ничего нет. Это...

— Вспомнил, — перебил Мысроко. — Это махсыма. Слышал о ней от наших дедов, но в Египте мы не пили ничего, кроме щербета.

Биберд встал, наполнил опустевшие чаши и вернулся к своему столику, где они с Тузаром тоже отдавали должное крепкой, щекочущей носы махсыме.

— Боюсь, что я плохой мусульманин, — усмехнулся Мысроко. — Принимая от твоей хозяйки чашу, я готов был выпить что угодно, пусть даже вино. И еще: мне никогда не нравился обычай, по которому женщины и странах ислама, закрывают свои лица густыми сетками из конского волоса. Наверное, аллах накажет меня за то, что я не чувствую в себе нетерпимости к другим религиям. Вот и к тебе, князь, я ехал без колебаний, хотя заранее знал твое имя. Ведь оно означает «сын шогена», а шоген — это кабардинский священник христианской веры. Не так ли?

— Это так, — кивнул Жамбот. — Видимо, кто-то из моих предков был учеником греческих миссионеров, которым турки и крымские ханы вот уже скоро сто лет, как перекрыли пути в наши края. А теперь шогены нас упрекают за охладевший интерес к религии Ауса Герги, мусульмане называют нечестивцами, а бедный люд, не зная, к какому берегу прибиться, на всякий случай не забывает своих старых богов...

— Языческих, — уточнил Мысроко. Жамбот промолчал.

Парень, стоявший у дверей, начал принимать у кого-то за порогом и вносить в гостевую комнату кружочки, белого сыра, пучки дикого чеснока, лепешки, мед и сметану в маленьких плоских чашах и другую нехитрую снедь. А его товарищ, поджарив бараний бок, подал на столы груды румяных ребрышек, с которых еще капал горячий жир.

Мысроко Тамби ел очень мало. Он лишь испробовал по кусочку от каждого блюда, а потом попросил воды и пил ее маленькими глотками, то и дело отставляя чашу, будто растягивал удовольствие.

— Не лучше ли пить махсыму? — спросил Жамбот. — Вода есть вода!

— Бесспорно, ты прав. Вода есть вода. Но в пустынях Африки нет ничего дороже воды. Я никогда не пил еще такую чистую и вкусную, да-да, не удивляйся, такую вкусную воду и никак не могу напиться.

— Почему же аллах избрал для зарождения ислама столь неудобные и скудные земли? Что говорится на этот счет в большой мусульманской книге?

— Скажу тебе откровенно, Шогечуков-сын, не успел я овладеть арабской грамотой. Да и зачем воину уметь читать самому, когда для этого есть муллы. Мне хотелось, правда, хотя бы из простого любопытства, оседлать эту грамоту и проскакать по страницам Корана. Кстати, адыгские мелики всегда поощряли науку и сами отличались большой ученостью. Однако волнистые значки арабской вязи всегда казались мне одинаково неразличимыми, как ячейки одной кольчуги.

— Ну, я тоже охотнее буду иметь дело с кольчугой, нежели с книгой, — добродушно рассмеялся Жамбот. — Даже с кольчугой неизвестного мне пока князя, который угнал половину моих лошадей.

— Да, я об этом уже слышал от твоего табунщика, — сказал Тамби. — Мы грелись сегодня на рассвете у его костра. Всю ночь ехали, а ночь была сырая... Твой пши-кеу сказал, что ты убьешь его, если мы к тебе не заедем.

— Правильно сказал, — кивнул Шогенуко. — Убил бы.

— А теперь надо бы его наградить. И я это сделаю с твоего разрешения. Ведь нам пришлось долго скитаться, как одичавшим псам или волкам, и вдруг... встретить первого в Большой Кабарде человека с таким многозначительным именем — Ханух.

— Имя волчье, это верно, — согласился Жамбот.

— Но ты, видимо, забываешь, что «нух» — это взято из персидского и озна-

чает «утешенье». «Ха» — «волк» по-кабардински. Вот и получается «волчье утешенье».

— Хорошая шутка, — тихо рассмеялся Жамбот. — В честь этого стоит осушить еще по одной чаше.

— Лучше я выпью воды, дорогой князь. Твоя махсыма — слишком опасный противник. От нее не защитит даже румский панцирь.

— Румский? Никогда не видел, — вздохнул Жамбот.

— Сейчас увидишь. — Мысроко встал, снял пояс и распахнул халат, закрывавший его грудь до самого горла.

Шогенуко с трудом удалось сохранить спокойствие, а Биберд поперхнулся и закашлялся.

Торс Мысроко был словно закован в блестящую броню голубовато-серебристого цвета. На изящных выпуклых закруглениях панциря играли отблески очажного пламени. У шейного и плечевых срезов искрились яркими звездами шляпки золотых заклепок. Левую сторону груди, как раз на уровне сердца, украшала золотая нашивка в виде львиной морды со свирепо оскаленной пастью. Переднюю и заднюю половинки панциря стягивали по бокам крепкие ремни с пряжками из чистого золота. Чуть повыше львиной морды была выгравирована арабской вязью какая-то надпись.

Жамбот осторожно дотронулся до панциря. Сталь оказалась гладкой и холодной. В ее почти зеркальной поверхности князь увидел отражение своих пальцев.

— Да, этот панцирь стоит... он стоит...

— Он много стоит, — перебил Мысроко. — И особую ценность ему придает вот эта священная надпись.

— А что здесь написано?

— Магическое заклинание, обращенное к аллаху и предохраняющее от любого оружия. Точно я и сам не знаю. Я мог бы рассказать кое-что интересное об этой вещи, сделанной руками знаменитых румских оружейников из города Милана. Мог бы, только боюсь показаться излишне болтливым. И так твое хмельное питье, уважаемый князь, способно разнуздать язык у самого угрюмого молчуна.

— Ах, Тамби, высокодостойный гость наш! Воин из воинов! Неужели я поверю, что даже семь коашинов, крепчайшего напитка способны заставить тебя хоть на мгновение потерять ясность головы и твердость руки! — улыбка Жамбота была настолько широка и по-юношески искренна, что Мысроко не мог не улыбнуться ему в ответ.

— Хорошо, я поведаю тебе этот хабар.

ХАБАР ВТОРОЙ,
наводящий на мысль о том,
что и к самому далекому порогу
человек всегда найдет дорогу

Еще несколько лет назад я вел довольно приятную и беззаботную жизнь истинного джигита, поставленного командовать такими же сорвиголовами, каким был сам. Я распоряжался праздничными военными игрищами, обучал юнцов из благородных семей высокому искусству владения оружием. Часто приходилось отправляться в походы к самым крайним пределам нашего славного египетского государства, где в ожесточенных стычках мои отряды либо усмиряли бунтовавшие племена, либо наказывали коварных турок, которые хозяйничали в Сирии, а иногда и нагло грабили пограничные области Мысыра.

Случалось дни и ночи проводить в седле, терпеть изнуряющий зной пустыни, пить вместо воды верблюжьей кровь или вонючую жижу солончакового болота. Привычка адыга заботиться о коне и кинжале и забывать о съестных припасах, которые не мешало бы взять и дорогу, не покидала нас и в стране великого Нила.

В богатом каирском доме моего отца, важного придворного сановника, все располагало к беспечному праздному кейфу. Отец рано умер, и мне достались в наследство и шкатулки, набитые драгоценностями, и золотая посуда, и роскошные ковры, которыми были устланы в доме плиты мраморного пола и увешаны стены, сложенные из белого известняка. В моем тенистом саду, отгороженном от пыльного зноя улиц стеной, росли цветы, мягко журчала вода большого фонтана, ветви деревьев сгибались под тяжестью плодов. Но я не мог провести и нескольких дней в праздном покое. Тоска и скука быстро выгоняли меня за ворота собственного дома, и я спешил к крепостным стенам, где всегда толпились воины, где слышались грубый смех и свист стрел, посылаемых в мишени, где пахло по вечерам дымом смолистых факелов и лошадиным навозом.

Эти стены всегда вызывали в моей памяти рассказы стариков о знаменитой башенной крепости султана Сирии и Египта великого Салаха ад-Дина, которого франги, румы, инглизы и другие неверные называли Саладином. В этой крепости помещалась адыгская часть войск Багдадского халифата, мечтавшего посадить с египетского престола турка Хаджи бин-Шагбана, главу бахрийских мамлюков. Ведь в свое время Салах ад-Дин основал в Египте государство, а его брат, став султаном, купил или нанял тысячу бахрийских, что означает морских, мамлюков — в основном турок-сельджуков — и сделал из них крупных военачальников. Впоследствии мамлюки захватили власть и основали свою династию. Затем, в свою очередь, потерпели поражение около ста сорока лет назад и сельджуки. Однако на престоле воцарился не халиф из тогдашней династии аббасидов, а предводитель черкесского воинства Баркук, который стал именоваться меликом аз-Захиром, «Всеясным Монархом». А династия черкесов, просуществовавшая сто тридцать пять лет, получила от несведущих иноземцев наименование «башенных мамлюков». Название «мамлюки» к нам, адыго-кабардино-черкесам, не совсем подходит. Ведь аббасиды пригласили нас с Кавказа (*Эту версию мы оставим на совести Мысроко (прим. Созерцателя)*), а потом наше войско пополнялось за счет плененных турками и татарами кавказских адыгов, которых мы дорогой ценой выкупали из плена... Наверное, наш дорогой Шогенуко знает об этих событиях? Не больше того юноши, что стоит у дверей? Он так заслушался, что не замечает, как чья-то рука из-за порога тычет его в бок...

Так вот. Теперь о панцире. Он принадлежал самому Салаху ад-Дину. Лучезарный герой древности (с тех пор прошло более трех веков) получил этот панцирь от прославленного короля инглизов мелика Рика — Ричарда Львиное Сердце — при заключении перемирия, когда войска христианских рыцарей были на гра-

ни полного разгрома. Благородные противники очень уважали друг друга и обменялись множеством ценных подарков. Из них не последнее место по ценности занимал и румский панцирь. Толкователи событий древности утверждают, что панцирь ковали в Милане специально для Ричарда, не зная, что ошибаются в размерах. Могучий торс повелителя англичан оказался чересчур объемист, и Не суждено было чудесной, неслыханно прочной и легкой стали прикрывать грудь, в которой билось «львиное сердце».

Панцирь Саладина попал к бахрийским султанам, от них — к «башенным» черкесам. Последним надевал его мой всеясный родич мелик Каншао аль-Гури. Считается, что серебристая броня панциря — кстати, она не подвержена ржавчине — обладает волшебной силой и непроницаема для стрел, дротиков, лезвия топора или наконечника копья. И все-таки эта волшебная сила не спасла Каншао во время сражения с полчищами султана Селима. Правда, стрела угодила ему не в панцирь, а в горло, и наш мелик умер, захлебнувшись кровью.

Войскам, изрядно поредевшим в бою, пришлось отступить.

Мой дядя Туманбей, уже пожилой и слабый здоровьем человек, стал последним черкесским меликом Египта.

Вскоре он вызвал меня для очень важного и секретного разговора.

Беседовал он со мной не в тронном зале, а в своем любимом «оружейном покое», где по стенным коврам было развешано столько великолепных луков и колчанов со стрелами, клинков в драгоценных ножнах, столько щитов и мушкетеров, что их хватило бы для вооружения сотни всадников. В углу, на низком столике черного дерева, занимал свое почетное место панцирь Саладина.

Туманбей с усталым лицом полулежал на диване. Меня он заставил сесть на дамасскую кожаную подушку, туго набитую шерстью. Мелик приказал слугам и нескольким приближенным выйти из комнаты, и мы остались с ним наедине.

— Мысроко, тебе я доверяю не меньше, чем своему старшему сыну, — тихим голосом начал Туманбей. — Как ты думаешь, выдержим ли мы новый натиск султана, собирающего силы для решительного сражения?

Вопрос оказался для меня неожиданным. Я ответил, что не думал о серьезных опасностях для нашего государства.

— Вот и Каншао тоже не думал, — с горечью подхватил дядя. — Он, конечно, много заботился о стране.

Строил каналы и дороги, возводил красивые мечети и ветряные мельницы, увлекался школами и библиотеками. Даже о паломниках подумал: вырыл новые колодцы на пути в Мекку. Но лучше бы он больше думал об укреплении нашей военной мощи. Сколько денег он расточил на поощрение поэтов и музыкантов! А ведь нашей армии не хватает запасных лошадей...

Я согласился с тем, что нельзя сокращать конницу, И в самом деле: даже десяток самых лучших поэтов не заменит одной хорошей лошади.

— Сейчас мы поговорим о другом, племянник, — монарх приподнял с подушек свое грузное тело и повернул голову в сторону черного столика. — Тебе знаком этот панцирь. Почему он не спас Каншао? Знаю, знаю: стрела попала ему в горло. Но почему магические силы панциря не отвели эту стрелу в сторону? Не знаешь? А я догадываюсь. Аллах вразумил... Хотя мы давно приняли ислам, но никто из нашей семьи в последние годы не ходил в Мекку, чтобы помолиться в священном храме Каабы. Я хочу, чтобы это сделал ты, Мысроко. Под халатом у тебя будет панцирь, которым ты дотронешься до небесного Черного камня. А затем попросишь кого-нибудь из важных мулл или шейха сделать на панцире надпись: аят из корана или воззвание к аллаху Айнану, Меджиду. Думаю, что из девяти имен аллаха самые подходящие в нашем случае как раз эти два: Айнан и Меджид — Истинный и Всемогуший.

Мелик помолчал, сдвинул тюрбан набекрень, почесал потную плешь и про-

должил:

— Я бы сам совершил этот хадж, но мне теперь нельзя отлучаться из Каира. А главное, по дородности своего тела я, как и тот монарх с львиным сердцем, все равно не смог бы втиснуться в это стальное одеяние. Носить панцирь и стоять во главе нашего войска придется... моему Мысроко. Священная реликвия поможет тебе разбить турок. Ты — главная моя надежда.

О столь высоком назначении я мог лишь только мечтать. Но мне недавно исполнилось всего тридцать шесть лет, и я не думал, что моя мечта осуществится так скоро.

— Наш всеясный, да хранит его аллах, смутил мою душу, — сказал я после некоторого раздумья. — Ведь у него есть сын, а кроме того, найдется несколько воителей постарше и поопытнее меня.

Туманбей досадливо махнул рукой:

— В голове моего сына — одни кобылы — и четырехногие и двуногие. Может, у него и появится со временем государственная мудрость, но командовать войском он никогда не сможет. А эти твои старшие... почти все они погрязли в роскоши, развлечениях да в мелочном петушином соперничестве. Нет, решено! И я объявлю о своем решении, когда ты вернешься... Денег не забудь с собой взять. Сейчас позову казначея... А, обойдешься своими? Это хорошо. Ведь наша казна, сам знаешь... Побольше тогда возьми. Придется иметь дело со священниками. Они, конечно, святые люди, но на звон золота откликаются быстрее, чем на призыв муэдзина, да простит мне аллах! Ну, ладно, бери панцирь и иди. Устал я... Отправляйся сегодня же, после вечернего намаза...

* * *

Сборы не заняли много времени. Еще не успели стуситься вечерние сумерки, как мы с Тузаром в сопровождении десяти хорошо вооруженных всадников уже скакали и ту сторону, в которую во время молитв обращались наши взоры.

Ночь, день, еще одна ночь и один день, и плодородная долина мутного Нила осталась позади. Теперь наш путь пролегал по пустынным местам, где могли встретиться лишь редкие стоянки кочевников-бедуинов да шайки степных пиратов, состоящие из беглых рабов, дезертиров и прочего отребья всех цветов кожи; пестрота их одежд спорила с пестротой вероисповеданий. Однако мы не были трусливыми купцами или заурядными паломниками (кстати, последние и не носят с собой денег). Мои бесстрашные и прекрасно обученные витязи могли не бояться шайки презренных воров и грабителей, да же если бы она состояла из сотни головорезов.

Через несколько дневных переходов мы вышли к берегу Красного моря, узкой полосой вклинивающегося между берегами Африки и аравийской землей, родиной пророка. В течение последующих недель наша дорога то удалялась от морского побережья, то вновь проходила по береговой кромке. Неприятно теплой соленой водой мы иногда смывали с себя желтую дорожную пыль, но это ненадолго приносило облегчение. Вода в Красном море не то, что в Ахыне: она так сильно насыщена солью, что при высыхании оставляет на теле белесый налет, раздражающий кожу. Прибавьте сюда яростные лучи солнца — в начале весны почти такие же жгучие, как и летом, прибавьте сюда душный ветер хамсин, несущий в течение пятидесяти дней во время разлива Нила тучи мельчайшего песка и пыли из южных краев страны, и вы поймете, что значит путешествие по бесконечным просторам Египта. В редких скудных колодцах вода накапливается медленно, ее едва хватает, чтобы напоить лошадей. Слава аллаху, арабские кони мало потеют и хорошо переносят жажду.

Мы торопились и потому позволяли себе отдых лишь между полуденным и вечерним намазом — в самое жаркое время суток. И еще наши лошади получали

небольшую передышку перед рассветом.

Из Каира мы выезжали в новолуние. И вот через день после рождения нового лунного ятагана наши кони без всяких понуканий вдруг ускорили свою прыть и к ночи примчали нас к воротам шумного и грязного караван-сарая.

И ночью это заведение хитроумного и неопрятного араба, бессовестно обирающего путников, не успокаивалось, жило своей суматошной жизнью. Храпели, валяясь у костров, только стражники, призванные наводить ужас на пиратов пустыни. Купцы проверяли тюки с товарами, их слуги и охранники возились с мулами и верблюдами; матросы, занимающиеся перевозом путешественников в Джидду — на другой берег моря, играли, несмотря на религиозный запрет, в кости и громко бранились; вокруг булькающих котлов и шипящих жаровен крутились завшивевшие дервиши: их лица были отмечены печатью святости и благочестия.

Верблюжий помет, отбросы пищи, зловонные помои, тучи надоедливых мух, едкий кизячий дым, крики людей, рев ишаков — и за все это надо еще и платить звонкой монетой, если хочешь дать отдых лошади, съесть, наконец, кусок свежей козлятины и провести ночь под крышей. Без особого труда, но с помощью двойной платы, нам с Тузаром удалось попасть на единственное судно, стоявшее в это время в бухте. Хозяин — опытный мореход из Кувейта — соглашался взять на борт только двух лошадей, и я решил оставить свою свиту в караван-сараях — на этом берегу. Ведь от Джидды до Мекки — всего один переход для опытного наездника: мы с Тузаром должны были скоро вернуться. Ведь и корабль пересекал узкое море не больше чем за два дня.

В Джидде нам пришлось купить по паре кусков белого полотна, чтобы обернуть ими наши грешные тела, и продолжать путь к священной Мекке уже в ихраме — одежде паломника. Только у меня под ихрамом был панцирь Саладина, под панцирем — легкий кожаный иодкольчужник. Тузар прятал под своим покрывалом увесистый мешочек с золотыми монетами и острый кинжал Паши. Обычные одежды и доспехи были увязаны и крепкие выюки и приторочены к седлам.

На следующий день, чуть только на востоке стало светлеть небо, копыта наших коней уже вздымали пыль к подорожной, ведущей к городу пророка Магомета.

Еще издали завидели мы знаменитые меккские холмы, названия которых — Анаба, Хира, Тура, Сафа (трех остальных не помню) — были знакомы нам с детства. Мы ускорили бег наших скакунов и к заходу солнца уже въезжали в ворота Мекки. Сотворив молитву и оставив коней на постоялом дворе, расположенном у южной пены юрода, мы отправились к центру, где чуть в стороне от торговых рядов возвышалось квадратное строение, все четыре стены которого были снаружи задрапированы черной тканью. Так вот он, священный храм Кааба!

На небольшой площади перед входом в мечеть стоял разноголосый гомон: как полчища вшей над одеждой дервиша, здесь кишели толпы нищих, бормочущих молитвы; легионы крикливых мелких торговцев, продающих ячменные лепешки, шарики сушеного сыра, финики, каленые орехи, всевозможные чудодейственные снадобья для лечения ран, желудочных болезней и слабоумия; водоносы, бьющие звонкими медными чашечками о пузатые бока тонкогорлых кувшинов; сборщики пожертвований, наделенные во славу аллаха особо тонкими и пронзительными голосами. Пробившись сквозь толпу, я вошел в мечеть. Тузар остался на площади. Мы решили, что прирожденному воину не стоит связывать себя теми ограничениями и условностями, которые сан хаджи может наложить на его, Тузара, основное жизненное призвание. Со мной это проще, так как князь, даже имеющий духовный сан, в любых случаях остается в первую голову князем, а уже во вторую — хаджой.

Внутри мечети было тихо и сумрачно. На полу, устланном коврами, стояли

на коленях и отбивали поклоны правоверные ревнители ислама. У северной и восточной стен сидели муллы; перед ними на деревянных подставках лежали огромные книги в черных переплетах. Устремив взоры в открытые страницы, муллы беззвучно шевелили губами. Между святыми людьми как раз в северо-восточном углу храма, на уровне груди человека, в стену, сложенную из белых камней, был вделан Черный камень величиной с кабардинское седло. Именно этот камень, драгоценней которого не был бы и алмаз того же размера и тысячи таких же алмазов — пусть бы их даже хватило, чтобы только из них сложить стены мечети, именно этот камень аллах сбросил с неба, когда увидел, что для строительства храма не хватит одной гранитной глыбы.

В центре Черного камня, гладкого, как сталь моего панциря, оказалось углубление, получившееся, как я после узнал, от прикосновения множества губ. Неземной восторг овладел мною, слезы готовы были пролиться из моих глаз, озаренных небесной благодатью. Сначала я прильнул к камню губами, а затем, чуть отогнув сверху полотно ихрама, дотронулся до камня панцирем. Тихий короткий звон стали прозвучал для меня райской музыкой. Ближний мулла встрепенулся и подозрительно покосился в мою сторону. Однако я уже отошел от камня и звенел теперь другим металлом. В окошечко портика для сбора пожертвований потекли с моей ладони золотые арабские диргемы и персидские туманы. (Десяток этих монет я взял накануне у Тузара). Мулла зачарованными глазами проводил золото, вздохнул и вновь погрузился в священную черноту Корана.

Главное дело было сделано. Оставалось встретиться с шейхом, принять от него напутствие, выслушать благочестивые наставления и советы. Не забыл я и о надписи, которая должна была украсить панцирь и умножить его чудесную силу.

Высококостепенный служитель ислама весьма любезно принял меня в своем доме. (Этому приему содействовал, конечно, и крупный рубин в массивной золотой оправе, посланный шейху через его слугу). Крепкий белобородый старец в огромной чалме важно восседал на подушках, разбросанных по мягкому ковру. Его цепкие узловатые пальцы неторопливо перебирали зерна гранатовых четок, а маленькие слезящиеся глазки бегали из стороны в сторону. Когда он узнал о цели моего прихода и увидел панцирь, его приветливое лицо слегка вытянулось, пальцы стали перебирать четки с удвоенной скоростью, а глаза заслезились еще больше.

— Сын мой, — ласково сказал старик. — Теперь, когда ты приобщился к главной святыне мусульманства, не возникают ли в тебе мысли о суетности и ничтожестве твоих мирских устремлений?

— Отец, каждый из нас просто следует своему долгу, — ответил я. — А этот долг определяется нашим происхождением, а также интересами рода и племени, к которым мы принадлежим...

— Все это правильно, — перебил меня шейх. — Но я имею в виду и другое. Пристало ли тебе, доблестному мусульманскому витязю, носить вместе с зеленым тюрбаном гяурские доспехи? Ведь панцирь твой выкован и, дамасскими оружейниками? О чем кричит и на кого щерится эта мерзкая львиная морда? Не вызов ли это исламу, запрещающему делать изображения живых существ! Оставь панцирь здесь. Мы выставим его на всеобщее обозрение и каждый правоверный сможет (за небольшую, конечно, плату) бросить в презренную сталь камень или комок помета во имя аллаха милостивого, милосердного и пророка его Магомета. А львиная морда пойдет на переплавку и пополнит тот небольшой запас золота, который нами предназначен для украшения мечетей.

— Нет, благочестивый отец наш, — мягко возразил я ему. Панцирь этот действительно выкован и склепан не в Дамаске, а в Милане, но принадлежал он лучезарному царю царей Салаху ад-Дину, от прикосновения рук которого с этой стали сошла вся гяурская мразь. Теперь панцирь принадлежит царственному дому

Египта. А что касается украшения мечетей, то думаю, эти двадцать монет весят вдвое больше, чем золотая нашлепка в виде львиной морды, — я высыпал на ковер у ног шейха горку полновесных кружочков, среди которых были и арабские диргемы, и турецкие серафы, и флорентийские флорины и даже пара венецианских цехинов.

На морщинистых щеках сановитого муллы выступил слабый румянец. Как бы случайно накрывая золото маленькой красной подушечкой, он сказал:

— За эту плату я тебе сделаю священную надпись на клинке сабли или, если хочешь, на шлеме — тогда голова твоя станет непробиваемой. А панцирь все-таки оставь. А то как бы стих из корана, вместо того, чтобы укрепить сталь, не сделал ее хрупкой, подобно яичной скорлупе.

Шейх ошибался. Ведь он не знал того, что знал я. Он не знал, что от прикосновения к Черному камню панцирь не рассыпался, а я не был сожжен огнем, сошедшим с небес, и не был поглощен внезапно расступившейся землей. Значит, надпись, сделанная этим святым человеком, могла лишь усилить несокрушимость серебристого металла. И я снова запустил руку в свой похудевший кошелек.

— Те деньги были моим бескорыстным пожертвованием во славу Мекки, а вот плата за надпись, — еще десятка полтора монет и кольцо с небольшим бриллиантом легли рядом с красной подушечкой.

То, что на европейском золоте были изображения живых существ — чеканные лики каких-то владык, шейха совсем не смущало (видимо, монеты нечестивого происхождения шли на переплавку).

— Хорошо, упрямый посланец Каира, ты получишь надпись на панцире. Оружие неверных будет бессильно...

— Любое, — перебил я. — Любое оружие, шейх! И при воззвании к аллаху напиши, пожалуйста, вот эти два имени: Айнан и Меджид — Истинный и Всомогущий.

— Говоришь, против лю-бо-го оружия?.. — задумчиво протянул начавший удивлять меня князь церкви. — Это будет стоить дороже.

Я вытряхнул все, что оставалось в кошельке. По ковру покатилося восемь монет. На каждую из них можно было купить десять овец или в течение десяти дней содержать десять всадников вместе с их лошадьми.

— Два диргема и сераф я оставляю себе — больше у меня ничего нет, а эти три диргема и два цехина возьми, отец, за свой ученый труд, который не по силам моему разуму.

— Ты не знаешь арабской грамоты? — почему-то оживился старик. — Ну ладно. Пусть будет по-твоему. Я тебе напишу...

Он позвал слугу и велел ему привести с базара лучшего чеканщика со всеми его инструментами. Потом он взял кусок пергамента и калам (*заостренная тростниковая палочка — инструмент для письма*), подумал немного и быстро написал две строчки длиной с кинжальную рукоять.

Чеканщику пришлось немало потрудиться, пока он сумел на твердой неподатливой стали воспроизвести подпись, сделанную на пергаменте. Резцы то и дело тупились, их надо было часто затачивать. Наконец я взял панцирь и завернул его в кусок ткани.

Скажи мне, высокостепенный, какие слова начертал ты своей благословенной рукой?

— Слова, угодные аллаху, — ответил шейх, улыбаясь и вытирая рукавом слезу, выкатившуюся из левого глаза. — И это как раз те слова, которые хороши для надписи, а не для произнесения вслух. Ибо святость изречения так велика, что наши грешные уста рискуют ее осквернить.

Обрадованный, хотя и слегка недоумевающий, я почтительно распрощался со старым мудрым муллой и с легким сердцем покинул его дом.

Тузар ждал меня у ворот с оседланными конями. Дело близилось к вечеру, а утром мы уже хотели быть в Джидде.

Мой верным боевой друг поинтересовался, сколько я заплатил за услуги шейха. Я сказал. А когда мы отъехали от Мекки на довольно большое расстояние и над пустыней стала сгущаться тьма, Тузар долго проклинал алчность священника и сетовал на мою расточительность и доверчивость. Видимо, он хорошо подсчитал, сколько лошадей и оружия можно приобрести на такие деньги. Остановившись возле колодца, мы переоделись. В своем привычном платье и вооружении было гораздо приятнее. Тузар, допустив невольное кощунство, сказал, что чувствовал себя в этом ихраме совершенно голым.

В Джидде, убогом небольшом городишке с кособокими глинобитными домами и кривыми, заваленными гниющим мусором улочками, нам пришлось провести целый день в ожидании корабля. Переправились на другой берег без всяких приключений, если не считать, что бессовестный кормчий содрал с меня три золотые монеты — последние мои деньги. Правда, у Тузара еще что-то оставалось на оплату постоя в караван-сараях, ну, а дальше... дальше мы надеялись, что аллах не оставит нас милостями своими.

Мои славные парни, истомившиеся в караван-сараях от скуки, очень обрадовались нашему возвращению. Им не хотелось больше ни часа задерживаться на этой опостылевшей стоянке. Кстати, их желание совпадало с моим. Я очень спешил...

Через две недели мы встретили купеческий караван из Каира, направлявшийся в глубь Эфиопии, чтобы обменять там аравийскую камедь (*сок аравийской акации, он же гуммиарабик*), шелковые ткани и дешевое железное оружие на шкуры львов и леопардов, на кожу носорогов, слоновую кость и высушенные целебные травы, в которых знахари из черных эфиопских племен разбирались лучше наших мудрых хакимов.

Нам удалось пополнить скудные запасы провизии. Для каждой лошади мы приобрели по несколько мер овса и по тугому тюку сена. Хотя людей в караване было вчетверо больше, чем в моем маленьком отряде, купцы, зная, с кем имеют дело, не осмелились спрашивать с нас никакой платы.

Дневной отдых мы проводили вместе, и вот тут-то и стала нам известна страшная новость. Купцы помалкивали, стараясь не вмешиваться в дела, которые не касались их барышей, а пожилой паломник-турок, шедший с караваном, пока ему было по пути, спросил:

— Не несут ли доблестные воины пыль священной Мекки на своих ступнях?

— Несут, несут, — ответил я.

— И, наверное, достославные черкесские всадники, посетившие Мекку, будут служить султану Селиму еще лучше, чем мелику Туманбею?

— Что ты сказал, несчастный?! И как ты не подавился своими необдуманными словами!

— Я никогда не говорил необдуманных слов, — спокойно возразил турок. — Не пристало зря болтать языком человеку, у которого есть женатые сыновья и который решил совершить хадж. Но мог ли я подумать, что мой высокодостойный собеседник не знает о недавних событиях в Египте?

— О каких событиях? Говори коротко и правдиво, если хочешь благополучно добраться до Мекки.

И паломник рассказал о новом вторжении султана Селима, о битве в окрестностях Каира и полном разгроме армии Туманбея. Турецкое войско наступало мощно и неумолимо. Оно было разделено по старинной традиции еще издавна упоминавшейся в ильм-ат-тафире — древней науке о толковании Корана — и в сунна-мусульманских преданиях на четыре непобедимых когорты с устрашающими названиями. Первой выступала часть под названием «Утро псового лая», вто-

рой шла часть «День помощи», третьей — под громовой рокот тулумбасов — «Вечер потрясения» и, наконец, четвертая имела наименование «Знамя пророка». Ей, кстати, даже и не пришлось ни разу вступить в битву.

Египет был завоеван турками, а мелик бежал на юг, к вождю одного из бедуинских племен. Паломник не мог знать, к какому именно вождю. Но это знал я. В моей памяти сейчас же возникло коричнево-красное, как копченая говядина, лицо бедуинского старейшины Шейх-Сеида — владыки многих десятков кочевий, разбросанных по редким оазисам Нубийской пустыни. Вспомнил я и и ношение Туманбея к этому полудикому пустынному льву, который посещал дворец монарха в качестве желанного гостя. Главный оазис вождя находился, как я слышал, где-то неподалеку от Луксора, и, значит, мой царственный дядя сейчас был гораздо ближе ко мне, чем если бы оставался ждать своего Мысроко в Каире. И, наверное, сейчас я ему был гораздо нужнее...

Еще несколько дней бешеной изнурительной скачки по желто-бурым пыльным дорогам, допросы случайных путников, поиски почти вслепую — и вот однажды утром с небольшой возвышенности, полого вздымающейся над долиной Нила, я увидел до полусотни шатров, много коней, верблюдов и... не меньше трех сотен вооруженных людей.

С расстояния двух полетов стрелы были отлично видны белоснежные бурнусы бедуинов и запыленные чекмени турецких вояк. Чекменей было вдвое больше, чем бурнусов...

Мы никак не ожидали встретить здесь, так далеко на юге, турецких всадников. Куда же так торопились воины султана Селима, по прозвищу Пьяница? Пока горькая догадка, подобно медленному утреннему рассвету, постепенно озаряла мой мозг, турки нас заметили. Они могли увидеть пока только меня и Тузара (остальные мои люди немного поотстали), и потому всего лишь десяток конных с обнаженными саблями поскакали в нашу сторону. Эта опрометчивость обошлась им дорого. Мы с Тузаром неторопливо повернули коней, сделали знак нашим парням и, пока турки достигли гребня возвышенности, наш маленький отряд отошел на половину полета стрелы и рассеялся среди редких островков терновника. Турки, храбро визжа, бросились вперед. Шестеро или семеро почти одновременно грохнулись наземь, пронзенные стрелами. Остальные трое даже не успели повернуть коней: мои джигиты мигом с ними покончили.

Лишь один турок, раненный в плечо, остался жив. От него мы узнали, что бедуинский владыка Шейх-Сеид выдал Туманбея. Гнусный предатель тайно сообщил туркам, где скрывается египетский монарх, и две сотни испаев — конных гвардейцев султана под предводительством сардара Джевдет-паши еще вчера прибыли сюда, уничтожили немногочисленных приближенных Туманбея, а его самого захватили в плен. Сегодня мелика повезут к султану в Каир.

Итак, моя догадка оказалась правильной.

Спасти Туманбея было невозможно. Оставалось лишь одно: напасть на конвой, убить как можно больше врагов и со славой погибнуть на глазах всеясного.

Мои товарищи согласились со мной. Да иного нельзя было и ожидать от этих добрых черкесских витязей. Мне пришлось еще удерживать их от немедленной атаки: слишком с большого расстояния увидели бы турки се начало. Я решил сделать быстрый дневной переход па север, найти удобное для засады место, выждать, пока испаи устроят ночной привал, и напасть на них врасплох, громко выкликая высокое имя нашего монарха. Вот тогда мы и сумеем продать свои жизни подороже.

Наскоро сотворив молитву над раненым турком, а затем прекратив его суетные мирские заботы, мы крупной рысью помчались на север. Скоро могла начаться погоня, но никто уже не мог бы указать ей верную дорогу, к тому же наше направление было, конечно, «наименее вероятным».

К заходу солнца мы оказались на берегу прозрачного родникового ручья, впадающего все в тот же Нил. Дорога в этом месте на довольно большое расстояние удалялась от великого водного пути, который сверкал под закатными лучами солнца, словно золотой меч Азраила. Ручейка поросли невысоким тростником, девять пальм, посаженных чьими-то трудолюбивыми руками, так и манили под благословенную сень зеленой стрельчатой листвы. Лучшего места для привала и не придумаешь. И это место должно было стать для каждого из нас последним привалом на дороге жизни. Последним и очень коротким. Ибо аллах не дал нашим лошадям, усталым и ослабленным, опередить турецкую конницу на такое время, которого хватило бы для безмятежного отдыха у чистого водного потока. Гораздо скорее, чем нам хотелось, увидели мы вдали облако пыли, поднятое сотнями копыт, и через мгновение вновь сидели в седлах.

Отъехав от ручья, мы укрылись за ближайшими холмами, глинисто-песчаные склоны которых были покрыты лишаями и пучками сухой верблюжьей колючки.

Турки успели к роднику Девяти пальм как раз к вечернему намазу. Мы слышали протяжный голос муллы, призывавшего испав к молитве, и сами помолились одновременно со спешившимися всадниками Джевдет-паши.

Потом, дождавшись того часа, когда ночной мрак уже окутывает землю, а луна еще светит вполсилы, мы шагом выехали из-за холмов, бесшумно приблизились к пальмам и осмотрелись. Лагерь испав утомился, было тихо, и только изредка всхрапывали кони да потрескивали сучья в кострах, возле которых мирно подремывали стражники. Основная часть испав лежала, конечно, в шатрах. В двух или трех из них, самых больших, поставленных поближе к центральным кострам, размещался, конечно, паша, его главные подручные и, как я правильно тогда предположил, его царственный пленник. Это ради него мы готовились стать в ту ночь шагидами (*мусульманский воин, погибший во имя аллаха и обретший рай*).

Мы тихо достали луки и стрелы, каждый наметил себе цель, затем по моей команде все одновременно прицелились — и двенадцать стрел и двенадцать тетив пропели короткую возвышенную песню. Вопли раненых и наши воинственные кличи быстро всполошили лагерь. Но еще быстрее, подобно смерчу пустыни, мы ворвались в самую середину испайского скопища и начали свою ратную жатву.

Дальше я буду говорить о нашем неслыханном ночном нападении словами Тузара. Теми словами, которые мой молчаливый друг призвал на помощь своему красноречию и ловко их выстроил одно к одному, как всадников в походной колонне. Слушайте:

*Не Мысроко ли конь — ой, дуней! —
чистых арабских кровей
копытами бил и топтал
растерявшихся сонных людей?*

*В левой руке Мысроко держал
длинный двуострый кинжал:
не желал он щитом прикрываться —
не он ли первым всегда нападал?*

*Ему на пути попался
могущий испай — он гордо держался! —
Но вот у врага в груди
копья наконечник остался.*

*Мысроко наш впереди, на саблю его погляди:
дамасская сталь, преграды не зная,
в бою никого не щадит.*

*А от Мысроко не отставая,
усердно врагам черепа разбивая,
трудолюбивый Тузар длинноусый
дорогу себе бердышом расчищает.*

Свой орэд — боевую песню — наш не очень удачливый гегуако Тузар пока еще не довел до конца. Когда он соберет в косяк все недостающие слова, он, при удобном случае, споет ее всю целиком. А пока я расскажу, как сумею, словами по возможности высокими — а только высокими словами и надлежит повествовать о бранных подвигах — конец этой истории.

Три брата Темиркановы среди нас были. В самую гущу испав дружно они врезаются, будто голодные волки в отару жирных баранов.

«Уо, адыге, бейте! — гремит над полем боя мужественный клич. — Рази наповал! Туманбей, Туманбей!!»

Юноша знатного рода Касеева падает прямо в костер, но, огнем охваченный, вскакивает и в предсмертном броске налетает на стену шатра из стамбульского полотна плотного. Горит шатер хорошо, и из него сардар турецкий выскакивает с криком, а следом за ним — бедуинский вождь, продавший мелика. Груда кровавых тел до него дотянуться мешает смертельному жалу сабли дамасской, сверкающей подобно голубой молнии.

Теперь каждый в одиночку бьется. Каждый тесным кольцом турок зажат.

Геройски братья Темиркановы погибают, белыми открытыми лицами смерть встречая.

Опора плеча моего, крепкорукий Тузар, рухнул наземь — о горе! — захлестнутый сразу тремя арканами.

Сквозь крики и стон и оружия звон с трудом я различаю приглушенный голос пленного Туманбея: «Мысроко, кан (*воспитанник*) мой! Бей! Слава!»

И с новой силой призывает ваш Мысроко соратников, но никто — о горе! — не откликается.

Вот и мой арабский иноходец спотыкается и, дроти-протейный, падает. Зато Мысроко ваш одним прыжком прорывается к застывшему от испуга предателю и острым лезвием сабли делит надвое копченое мясо его черного лица.

Ой, дуней! Хотелось еще с сардаром посчитаться. Но сзади на меня навалились гурьбой, к земле придавили, на руки и ноги ремней не пожалели.

Шлем с меня сбили, головой о землю ударили и свет в глазах погасили...

* * *

Связанный по рукам и ногам, я вскоре вернулся из того сна, в котором нет места сновидениям. Сквозь открытый проем шатра увидел я темно-синий полог шатра небесного, затканного серебряными звездами. У проема сидел, ярко освещенный луной, стражник с обнаженным ятаганом. Л рядом со мной лежал Тузар: он с тревогой вглядывался в мое лицо.

Мы не стали друг друга расспрашивать о таких пустяках, как ранения, которых, между прочим, не оказалось ни у него, ни у меня. Гораздо интереснее было послушать, о чем шумели турки, которые все еще никак не могли утомиться. Десяток глоток орали одновременно — и каждая свое. Проклятья, угрозы, причитания... Смысл отдельных выкриков доходил и до нас. Мы поняли, что трупы уже захоронены, что трупов было гораздо больше, чем этого хотелось бы туркам, что одни испай требовали нашей немедленной казни, а другие предлагали отложить

до рассвета: ведь тогда будут хорошо видны все подробности нашей мучительной смерти. Одни предлагали изжарить нас на медленном огне, другие — сварить живьем в больших медных котлах, третьи — изрубить на куски, начиная с рук и ног. Даже наш стражник высунул голову из шатра и, стараясь перекрыть других, предлагал что-то свое. Точно сейчас не помню, но, кажется, он мечтал увидеть нас посаженными на кол.

Вдруг раздались властные окрики, и шум прекратился. Негромко и неторопливо заговорил только один голос, принадлежащий, безусловно, паше:

— Вы что растягивались, как на собачьей свадьбе? Теперь осмелели? А у кого еще недавно тряслись руки и были поджаты хвосты?! Дюжина черкесских храбров перебила сорок пять турецких воинов... — Тут голос предводителя отряда повысился и стал раздраженным и гневным. — И поделом! Так вам и надо, шелудивым псам! Впредь будете меньше думать о жратве и грабежах, а больше о военных упражнениях. Что делать с пленниками — не ваша забота. Скорее всего я предложу им пойти на службу к султану: обучать своему ратному искусству таких олухов, как вы. Ну, а если услышу от них слова отказа, то вырву им языки, выколю глаза и брошу в пустыне. Ибо не поднимется у меня рука убивать таких героев...

— О аллах! — прошептал стражник. — Как справедлив и милосерден наш Джевдет-паша.

— А сейчас, — сказал напоследок сардар, — всем разойтись и отдыхать до восхода солнца.

И в лагере после некоторой возни воцарилась тишина.

Стражник наш, скрестив ноги и низко наклонив голову, спал сидя. Да и о чем ему беспокоиться, если оба пленника были крепко связаны и лежат беспомощные, как овцы, приготовленные на заклание! Ни до схватки, ни во время нее я ни разу не вспомнил о своем панцире, который на мне и сейчас. Почему о нем не подумали турки и не сняли его с меня, я могу объяснить лишь магическими свойствами этой бесценной реликвии. И только теперь, чувствуя, как давит твердая сталь на мои связанные руки, я, наконец, понял, почему удалось уцелеть мне и Тузару, сопровождавшему меня в Мекку. Наверное, и счастливая мысль о возможном побеге пришла в мою голову тоже неспроста... Дважды перекатившись со спины на живот, я оказался рядом со стражником. Потом я подогнул под себя колени и встал на них. Затем, сделав рывок телом, как танцор в удже или исламее, встал с колен на ступни. Я с трудом удерживал равновесие: ноги ведь тоже были связаны. Тузар, еще не зная, что у меня на уме, полз к стражнику, извиваясь подобно сказочному змею. В то время я несколько раз бесшумно подпрыгнул, чуть передвигаясь в сторону и выбирая нужное положение для броска, и — о судьба! — всей тяжестью бронированной груди обрушиваясь на голову стражника, защищенную, слава пророку, не шлемом, а только войлочной феской. Стражник сваливается набок, голова его бьется о каменистую землю и под тяжестью панциря трещит, как гнилой орех. Бедняга не успел даже пискнуть.

Что делать дальше? Тузар это знал лучше меня. Он подполз к бездыханному телу, зубами ухватился за рукоятку ножа, висевшего на поясе у турка, вынул его из ножен и, мотая головой, как лошадь, которую жальят слепни, перерезал ремни на моих руках. Не сразу мне удалось взять нож онемевшими пальцами. Пришлось еще разминать кисти. Когда кровь снова заструилась в жилах (а заодно и потекла из нескольких порезов, которые не мог не сделать Тузар, орудуя ножом, зажатым в зубах), только тогда я смог избавиться от пут свои ноги и своего друга.

В шатре не оказалось почти ничего, кроме дорожного хурджина с какими-то съестными припасами и бурдюка с верблюжьим молоком. Тут валялась еще тузаровская шапка со стальным верхом и кольчужной сеткой, закрывавшей с трех сторон шею. Тузар, очень обрадованный, сразу же водрузил на темя свой любимый головной убор, а потом вооружился ятаганом убитого стражника.

Нам удалось незамеченными пробраться до края лагеря, где отдыхали лошади. Некоторые из них оказались под седлом, только с ослабленными подпругами. Мы уже собрались вскочить на коней, однако аллаху было угодно послать нам еще один подарок. Послышались чьи-то шаги, и из темноты вышел, подтягивая шаровары, богато разряженный турок — один из приближенных паши. Почти столкнувшись с нами, он вытаращил глаза и открыл было рот, но железные пальцы Тузара уже сдавили его горло. Несколько мгновений турок трепыхался, как фазан в когтях у сокола, а затем плюхнулся на землю. Я чуть не закричал от радости, когда при этом турке обнаружилась моя любимая сабля, а на голове — мой шлем. Видно, оружие Мысроко ему настолько понравилось, что, даже выходя по нужде, он не захотел оставлять его на месте ночлега, как не оставил и кошелек, туго набитый золотом.

Больше всего на свете нам сейчас хотелось снова напасть на лагерь. Однако мы понимали: нельзя испытывать судьбу дважды в одном и том же деле и на одном и том же месте. Получив от аллаха все, что он хотел тебе дать, нельзя протягивать алчуную руку еще за одним куском.

На рассвете, уже далеко от родника Девяти пальм, мы воздали хвалу аллаху за мой чудодейственный панцирь, благодаря которому удалось нам совершить подвиги и уцелеть, а также за то, что наши товарищи погибли. Со столь громкой славой, о какой трудно было и мечтать.

Мы жалели лишь об одном: не довелось усладить свой слух отчаянными воплями испав, которыми они, наверное, разразились, обнаружив наше исчезновение, и не довелось усладить свой взор видом беснующего паши и ликующего Туманбея.

Уо-о-й, Туманбей, Туманбей...

И снова мы скакали впереди турецкого отряда, опережая его не более чем на промежуток времени между первым и третьим намазом. Через несколько дней у развилки дорог — одна из них вела в уже близкий Каир, а другая — к переправе через Нил и дальше — в еще не близкую Александрию у Тузара пала лошадь. Дороги в Каир, где мы могли на какое-то время затеряться, как пара кофейных зерен и мешке с фасолью, для нас уже не могло быть: Джевдет-паша сидел на хвосте нашего единственного коня. А великая река, плавно несущая в море желтые свои воды, текла совсем рядом. Мы смогли переправиться на другой берег, лишь когда увидели пыль, поднятую поредевшими сотнями Джевдета.

Не буду рассказывать о том, как мы добрались до большого портового города Александрии. Перед въездом в город, когда я еще раздумывал, как избежать ненужных подозрений турецкой стражи, нам встретился один из старых военачальников мелика Хазиз аль-Гури. Узнав меня, он раскрыл рот от неожиданности. Но еще больше удивился я, узнав, что Хазиз командует большим отрядом турецких всадников. Гневные слова о предательстве уже готовы были сорваться с моего языка и ужалить Хазиза в самое сердце, но он меня опередил: Не смотри на меня так, Мысроко! Ведь мы честно служили Туманбею, пока он был жив. Теперь над нами другой султан, потомок тех, у кого наши деды служили чуть более ста лет назад...

— Постой! Ты говоришь: «пока был...»

— Да. Теперь он мертв. Я только что из Каира. Позавчера мелик Туманбей был прибит гвоздями к воротам города, обращенным к северу, в сторону Высокой Порты.

Я крепко стиснул зубы и, кажется, впервые в жизни застонал. Да, ни дня лишнего не промедлил Селим-Пьяница. Поторопился покончить с соперником как можно скорее.

— А что бы ты сделал, Мысроко, с султаном, если бы исход битвы решился не в его пользу?

— Бросил бы на растерзание голодным собакам!

— Ну вот видишь! — усмехнулся Хазиз. — Поедем со мной. Жар полуденного солнца плохо располагает к беседе. Отдохнешь у меня дома, и там подумаем, что тебе делать дальше.

Ночь мы все-таки провели в богатом доме Хазиза аль-Гури, в доме, который турки не успели разграбить раньше, чем его хозяин дал согласие служить султану. Узнал я, что и многие другие наши знатные мамлюки договорились с турками. В тюрьму и на казнь тоже пошли многие. Ни тот, ни другой путь меня не привлекал. Несмотря на увещевания Хазиза, который советовал последовать его примеру и долго толковал о призвании черкеса к ратному делу и непригодности ни к торговле, ни к государственным делам, я твердо решил покинуть Египет. Покинуть навсегда и как можно скорее.

Хазизу было неловко передо мной, родичем Туманбея, и он снова и снова принимался оправдывать и объяснять свой поступок:

— Ты пойми, дорогой Мысроко, вот такую простую вещь: не гяуры завоевали наши города — этого не допустил бы аллах, а такие же правоверные мусульманы, как и мы с тобой. Значит, аллаху это было угодно. Мы не можем пойти против Его воли. И какая для нас разница, кто из мусульманских владык будет сидеть на троне и владеть этой желтой рекой и горами раскаленного желтого песка? В любом случае черкесское «башенное» войнство будет заниматься своим обычным делом и жить своей обычной жизнью...

Я упорно стоял на своем, хотя и не мог вести спор с таким же умением, с каким вел его хитроумный Хазиз. Язык мой не отличался ни проворством моих рук, ни остротой моих глаз.

— В таком случае, Мысроко, — сказал Хазиз, — я тебе помогу оседлать дорогу в Сирию. И уедешь ты от меня не с пустыми руками. Только не отказывайся от помощи и подарков. Послушайся меня хотя бы в этом. Послушайся хотя бы как старшего. Скажу тебе откровенно: после нашего расставания я хочу спать спокойно. Пожалей старика, не ссорь меня окончательно с моей совестью, которую ты, наверное, считаешь такой же гибкой, как эта бора маиса (*великолепная сталь*) — прекрасное творение дамасских кузнецов.

Хазиз снял с ковра тонкую прямую саблю без ножен, уверенно согнул лезвие в кольцо и вставил конец клинка в тыльную часть полый рукоятки, сделанной из массивного серебра. Получился пояс, в котором пряжкой служила рукоять сабли. Чудесная сталь тепло и мягко светилась искусно отшлифованной поверхностью. На ее голубоватой глади можно было легко различить крутые завитки благородного металла, скрученного и переплетенного с таким непринужденным изяществом, словно сделать это было не труднее, чем заплести женские косы.

При виде такого редкостного оружия настоящий воин забывает о своих горестях и печалях, о голоде или жажде, забывает о женщине и о том, что после солнечного дня неизбежно наступает лунная ночь....

— Как раз по твоему тонкому стану, — будто откуда-то издалека донесся до меня голос Хазиза.

Затем старый хитрец разомкнул кольцо сабли и ловко опоясал меня этим изумительным клинком, который послушно принял овальную форму, повторяя изгибы моего стана. Сабля и вправду оказалась точнехонько по мне — и в этом я увидел доброе предзнаменование. Сам аллах подсказывал незадачливому Мысроко единственно верное решение.

— Хорошо, Хазиз, — сказал я. — Придется принять твою помощь. Ты мне кажешься искренним. Я мог бы, как ты говоришь, оседлать дорогу и без твоего содействия. Просто было бы немного труднее, вот и все. Только почему ты думаешь, что я стремлюсь в Сирию? — вопрос этот я задал скорее из ложной гордости: не люблю, когда за меня решают другие. На самом же деле мой путь виделся мне по

морю в Тир или Сайду на восточном берегу Средиземного моря, оттуда — через невысокий левантйский хребет и плодородную долину Бекаа, а дальше один дневной переход — и я буду поить коня чистой водой речки Барада, посматривая на виднеющиеся издали минареты дамаской твердыни ислама — мечети Омайядов. Уверен, что меня приняли бы радушно в столице Сирии, и я бы занял там вполне достойное положение.

— Нет, не в сторону арабских земель стремится мое сердце, хитроумный Хазиз, а в сторону Кавказа, древней родимы наших предков...

Еще утром мне в голову не приходила такая мысль. Только сейчас и, наверное, опять по озарению свыше родилось в моей душе это неожиданное, но твердое намерение. Похоже, что невидимая рука пророка вела меня по дороге жизни.

Хазиз с удивлением посмотрел мне в лицо и быстро отвел взгляд. Кажется, в его глазах мелькнуло чувство тоски и зависти. Он немного подумал и сказал:

— А сделать это — попасть на Кавказ — тебе будет совсем нетрудно. Ты просто счастливчик, Мысроко. Завтра пойдет в Стамбул один корабль, а из Стамбула, после короткой остановки, он направится в Крым. На этом корабле отбывает важный паша, который везет крымскому хану какой-то срочный фирман от Селима. Я устрою тебя с Тузаром на это судно. Ведь я знаю посланца султана: познакомился с ним в Каире...

* * *

На другой день к полудню мы уже бросали последние взоры на тающий вдали желтый берег Мысыра. Стояла тихая погода, море было спокойно, и длинный турецкий каик ходко продвигался вперед, подгоняемый дружными гребками двадцати пар длинных весел. К вечеру налетел несильный левантиец, большой парус вздулся пузырем, и судно пошло быстрее.

Хазиз оказался верным своему слову. Он легко договорился с именитым турком и кормчим, которые с большой чуткостью отнеслись к его просьбе и... к звону его золотых монет.

А мне пришлось принять от Хазиза, кроме пояса-сабли, щит из кожи носорога, мушкет, сделанный в стране испанцев, богатый лук с тридцатью стрелами, и также новую одежду, включая халат атласный, чалму зеленую (сам я ее так до сих пор и не удосужился приобрести) и сапоги из телячьей кожи, завезенные из Франгистана. Тузар получил в подарок лук, попроще, чем мой, но тоже хороший, колчан со стрелами и пару прекрасно закаленных наконечников для копий. Кроме того, каждому из нас еще досталось по кабардинскому кинжалу и по мешочку денег: мне с золотыми арабскими диргемами, а Тузару — с серебряными турецкими пиастрами. Имея все это (включая тяжелый кошель, добытый нами в бою у Деянти палым), мы могли считаться довольно состоятельными людьми.

В Стамбуле мы простояли одну ночь и часть утра: здесь были выгружены некоторые ценности, составляющие боевую добычу турок в египетской войне, взяты на борт какие-то товары, запасы воды и провизии. На берег мы с Тузаром не сходили. Да и вообще избегали всяких разговоров даже со своими попутчиками. Слава аллаху, и важный наша тоже не искал нашего общества.

Вскоре мы уже благословляли пронизывающие ветры и суровые холода Ахына. Ветры и холода говорили нам и о близости родины, где, как мы это сразу почувствовали, конец кавказской весны ничуть не будет напоминать ним конец весны египетской.

Посланец султана Селима высадился в Кафе (*Феодосия*), а мы удачно попали на купеческий каик, идущий к адыгским берегам, и днем позже ступили на землю Тамани.

В Тамани, поразившей меня сходством своего названием с именем Туманбей, мы задержались ровно настолько, чтобы сделать необходимые покупки. На

разноголосом и разноликом базаре, где встречались чеканные носы грузин, круглые лица татар, курчавые головы евреев, раскосые глаза ногайцев, а нередко и красивые, смелые, добрые лица адыгов, мы купили лошадей. Я взял за довольно дорогую цену резвого и сильного жеребца гнедой масти. Тузару достался конь подешевле, но очень рослый и выносливый. Потом в лавке у одного армянина мы приобрели сшитые в Кабарде черкески: мне черную из тонкого сукна, Тузару — поглубже, серую. Наконец мы обзавелись шапками, бурками косматого войлока и адыгской обувью: на мои ноги мы нашли красные сафьяновые чевяки (*своеобразные кожаные чулки до колен, туго обтягивающие ногу, назывались еще тляхетенами*) и ваки (*нечто вроде кожаных калош, надеваемых поверх*) для них, а на ноги Тузара — чевяки попроще, из черной кожи. Кроме того, всего за два бешлика (*одна двадцатая часть турецкого пиастра*) Тузар купил себе пару шарыков из воловьей кожи и к ним войлочные голенища.

Верные своему правилу — отдыхать по-настоящему лишь в самом конце намеченного пути, мы в тот же день решили покинуть Тамань. Знающего человека расспросили о самой малолюдной и кратчайшей дороге к берегам реки Балк и в ранних вечерних сумерках уже нахлестывали коней.

Соления мы объезжали стороной, со встречными людьми не останавливались, не заговаривали, попутных обгоняли. На ночлег с удовольствием устраивались в лесу, где все было так для нас непривычно: не жалит знойное солнце, не скрипит песок на зубах, не сушит горло горячий ветер. Поистине благодать аллаха простирается над той страной, где всегда можно насладиться упоительной свежестью воздуха, густой тенью зеленеющих лесов, прохладой кристально чистых рек. Не надо возить с собой воду, не надо искать топлива для костра и корма для лошадей — все у тебя под ногами.

Шесть дней, которые мы потратили на дорогу от Тамани до твоего дома, Шогенуко, прошли совсем не заметно. И это были самые приятные дни на всем нашем долгом пути из Каира в Мекку, из Мекки — к подножию Ошхамахо.

ХАБАР ТРЕТИЙ,
*подтверждающий поговорку
о том, что можно спастись от чумы,
но погибнуть от иной, совсем пустяковой болезни*

Широким теплым крылом простерлась над Мысроко гостеприимная заботливость князя Жамбота. В честь почетного гостя устраивались молодежные игрища, пиры с музыкой и пением старинных воинственных песен, долгими пересказами древних легенд о могучих богатырях — нартах.

Дважды съездили на охоту и в полной мере потешили мужественные сердца свои травлей матерого медведя и свирепого выродка лесных чащ — клыкастого вепря. Всею душой предавался Мысроко веселой этой забаве смягчались резкие черты его сурового лица, когда лежал у его ног огромный медведь, поверженный короткий прикопанной саблей-джате (в отличие от обычной, ею можно не только рубить, но и колоть, что и сделал наш герой, столкнувшись вплотную с загнанным и взбешенным зверем). Он понимающе улыбался молодому уорку, заразительно хохотавшему после близкого и знакомства с медвежьими когтями, которые только что лишили парня нижней половины правого уха. И добрели глаза Мысроко, если он видел меткий выстрел из лука, стремительный бег коня или яростный напор дикого кабана, стремящегося вырваться из кольца облавы и жаждущего пролить при этом кровь вековых врагов лошади, собаки и человека. Шогенуко так и не узнал, кто отбил у него часть табуна, Это мог быть и старый пши Кучмазуко, и братья Тыжевы, а может, и молодцы из рода Куденетовых. Так или иначе, уже пора было отправляться в набег на чужие пастбища. Мысроко Тамби с готовностью присоединился к молодому князю. И все вышло как нельзя удачно: и погода стояла сухая, и ночь выдалась безлунная, и табун оказался большой, и, слава аллаху, не обошлось без хорошей стычки в темноте с уорками Куденетовых или Тыжевых. А может, и Кучмазуковых. Сотни четыре лошадей пригнали наутро к Шогенуковскому хаблю. По дороге еще прихватили отару чьих-то овец. Половина добычи по праву принадлежала Мысроко. Правда, гостеприимный князь хотел отдать своему гостю все, но тот не согласился: у этого набега было две головы, а не одна. Шогенуко из своей половины наделил своих уорков, а Тамби — ему осталось одарить лишь одного Тузара.

К этому времени люди Шогенуко успели соорудить для князя из Мысыра усадьбу по соседству с владениями их хозяина. С согласия других князей, Мысроко занял пустующие земли на речушке Куркужин. Из-за этих земель князья иногда спорили, и не потому, что нуждались в новых пастбищах и пашнях: незанятых угодий в Кабарде хватало. В те времена чего не хватало, так это крестьянских рук, которые могли бы обработать всю пригодную для пахоты землю, да скота, который мог бы съесть всю траву между Балком и Сунжей. Но признать право соседа на никому не принадлежащие угодья — это значило уронить свое благородное достоинство. А Мысроко Тамби — тут дело другое. Он здесь никогда не жил. Он ведь приехал из далекого и таинственного Мысыра.

Провожая своего гостя, который должен был теперь поселиться в собственном доме, Шогенуко до конца оставался щедрым и почтительным хозяином. По обычаю общепринятому, нельзя отпускать гостей без подарков. И шогенуковские пшитли (*крепостной крестьянин*) гнали для Мысроко вместе с его скотом, добытым в набеге, еще полсотни коней да полсотни коров и быков, да сотню овец, подаренных почетному гостю. Мало того, девяти семьям холопским, в которых мужчины пребывали в полной силе, а их старшие сыновья уже начали в мужскую силу входить, — этим семьям предстояло теперь навсегда остаться во владении князя Тамби. Везли они на нескольких арбах свой небогатый скарб, а на одной из телег — огромную общинную соху с непомерно массивным железным сошником, в ко-

тору требовалось запрягать четыре пары быков, а управлять сохой должны были трое мужчин.

Тузар уходил из шогенуковского хабля тоже не с пустыми руками. Получил он подношения от своего нового друга Биберда: кроме скота и пары высокорослых, под стать Тузару, лошадей, подарил ему добрый уорк подростка — унаута, слугу домашнего...

Нескольким семьям крестьян-вольноотпущенников (пшикеу) было предложено поселиться на земле нового шогенуковского соседа. В их числе оказалась и семья табунщика Хануха.

Быстро устраиваются на новом месте кабардинцы, издавна привычные к пожарам, грабежам и разорениям. За несколько дней они могут построить сообща целое селище. Одни рубят и возят лесной орешник, другие плетут из гибких жердей стены будущих мазанок, очажные трубы, ограды для скотных дворов и даже пчелиные улья, третьи месят глину — ее много на обрывистых речных откосах, четвертые носят воду...

И еще что крестьяне будут делать сообща, так это пахать землю, сеять, а потом убирать урожай.

Когда Мысроко Тамби принимал у себя первого гостя, а это был, конечно, любезный и добродушный сосед — пши Жамбот, то усадьба его почти не отличалась от шогенуковской. Само селение, правда, оставалось еще совсем маленьким. И на этот счет во время веселого застолья у князей состоялся деловой разговор. Они осуждали планы большого похода, который дал бы им большую добычу. Никто из них не сомневался в том, что очень скоро у князя Мысроко будет поистине княжеское состояние — тысячные стада и табуны, а также сотни пшитлей, живущих не в одном, а в нескольких, как у Жамбота, селениях. И потянутся тогда к новому князю уорки со всех концов Кабарды — молодые люди из благородных семей, нуждающиеся в достойном руководителе. В таком руководителе, который поможет им снискать громкую славу и богатую добычу.

А князь Шогенуко тоже не прочь приумножить свои богатства и сделать имя свое более громким, чем имена других пши. После некоторого раздумья он предложил неблизкий и довольно рискованный поход в Дагестан. Он сказал Мысроко, что затея эта не безопасная, но сулящая в случае удачи выгоды немало-важные. Мысроко охотно согласился. Он спросил, сколько всадников будут участвовать в набеге, и, узнав, что сорок человек готовы выступить хоть завтра, предложил не откладывать доброе дело, а выехать сразу же, как только Жамботу наскучит гостить в доме его нового соседа. Тогда Шогенуко весело улыбнулся и заявил, что если они будут ждать, пока ему надоест приятнейшее пребывание в гостях у Тамби, то, наверное, задуманный поход никогда не начнется.

И решено было выступить на следующий день к ночи.

— А теперь, — сказал Мысроко, — пришел час, которого я долго ждал. Наконец по праву хозяина дома я смогу отблагодарить моего молодого князя Жамбота за его доброту и высокопохвальное поведение. — Он сделал знак Тузару, и тот поднес к нему длинный, видимо, довольно увесистый предмет, упрятанный в войлочный чехол. — Здесь тот самый мушкет, принадлежавший Хазизу аль-Гури. — Мысроко не торопясь вынул из чехла это чудо — оружие, с которым в Кабарде еще почти не были знакомы. — Кстати, правильное его называть не мушкет, как говорят франги, а трабуко — это по-испански, ведь он и сделан был в Испании. Такое оружие не часто встречается даже у турецких пашей. Вот тебе еще роговая пороховница с меркой. А в этом мешочке — один батман (*турецкая мера веса, равная около 9 кг*) лучшего пороха из страны Инглиз (*Англия*). Его тебе хватит ровно на сотню выстрелов.

Жамбот старался не обнаруживать слишком явной радости, и только руки его выдавали немалое волнение ценителя, дорвавшегося до предмета своей стра-

сти. Чуть дрожащими пальцами он нежно поглаживал массивный восьмигранный приклад красного дерева, инкрустированный перламутром и слоновой костью, трогал изящно изогнутую «собачку» с кремнем в «зубах», отлитую из чистого золота.

— Испанские слова похожи на кабардинские?.. — пробормотал он. — У Шогенуко есть теперь трабуко...

— Подожди, Жамбот, — усмехнулся Тамби. — Это еще не все. О том, как я отношусь к благородным друзьям, тебе скажет некий голубоватый клинок, который полагается носить без ножен. Дамасские оружейники — дай аллах им здоровья! — были бы рады узнать, что плоды их непревзойденного мастерства иногда попадают в столь достойные руки.

Шогенуко побледнел и невольно затаил дыхание. Он, конечно, втайне надеялся, что некоторая часть оружия из завидного арсенала «египтянина» будет подарена ему, но такой щедрости не ожидал. Расстаться с клинком, за который любой князь был бы счастлив отдать сотни голов скота! Жамбот встал и хотел что-то сказать, но слов у него не нашлось и он только покачал головой.

А Тузар по знаку Мысроко взял кусок очажной цепи со звеньями, сделанными из железного прута толщиной с древко стрелы, и, держа цепь за один конец на вытянутой руке, подошел к своему князю. Мысроко резко поднялся со скамьи, взмахнул саблей — лезвие коротко свистнуло в воздухе, — и нижняя половина цепи с глухим звоном упала к ногам Тузара. Верхняя половина, оставшаяся в его руке, лишь еле заметно покачивалась. Дружный вздох восхищения огласил стены гостевой комнаты. Люди Жамбота многозначительно переглядывались и цокали языками. Биберд поднял с пола обрубленный конец цепи и прошептал:

— Как пару тростинок... Срез такой гладкий!..

Мысроко кивнул головой:

— А на жале клинка — никакой зазубрины. Вот так же легко Шогенуко будет рубить этой саблей шлемы врагов. — Он вручил Жамботу свой дар и как ни в чем не бывало сел на место и отпил воды из чаши. К его гостю положил возле себя саблю и тоже сделал несколько жадных глотков.

Слуги тотчас убрали столик-трехножку и внесли новый, с очередной переменной блюд. Среди прочей посуды на нем стоял серебряный кубок филигранной работы. Мысроко пододвинул его к Жамботу:

— Пить мармажей (*выдержанный в течение года-двух, а то и многих лет, род махсымы с медом*) будешь из него дома. А пока этот сосуд наполнен не хмельным напитком, а золотыми монетами. Пригодятся тебе для отделки оружия и конской сбруи. Ну да вы, здешние кабардинские воины, лучше меня знаете, как использовать расплавленный металл, в который у вас превращается каждая монета, попадающая к вам в руки. Ведь вы все еще не признаете денег, не привыкли чего-то покупать, а тем более продавать.

— Спасибо тебе за все, старший друг мой, — тихо сказал Шогенуко. — Я не заслуживал такой высокой чести — получить от тебя столь замечательные дары. Если мне удастся совершить подвиги, достойные того, чтобы о них был сложен хвалебный орэд, то гегуако обязательно упомянет в песне об огненном трабуко и стальном поясе-клинке, которых не имеет ни один из князей Кабарды.

— Пусть поможет тебе аллах достигнуть того, к чему стремится твоя благородная душа, — ответил Тамби.

— Я больше надеюсь на силу своих рук и мощь своего оружия, — не удержался Жамбот.

— Шогенуко, ах, Шогенуко, — укоризненно сказал Тамби. — Это про таких вот, как ты, сказано в Коране: «На сердце их и уши аллах наложил печать, а на глаза надел повязку». Мне бы сейчас разгневаться на тебя, но, видно, я плохой мусульманин и не могу этого сделать. Жаль, что у нас с тобой нет человека, который

читал бы нам Коран и разъяснял мудрость его аятов.

— Хорошо, Мысроко, — улыбнулся Жамбот. — Я обещаю тебе найти такого книгочея. А может, нам удастся захватить какого-нибудь абыза (*человек, умеющий читать и писать*) в набеге на аварские станы...

* * *

На следующий день к ночи, как и договаривались накануне, седлали коней, проверяли прочность упряжи, последний раз осматривали копыта лошадей, складывали в переметные сумы гомыло — походную непортящуюся пищу. Достаточно было взято и вяленых бараньих боков, и твердых, как камень, лепешек соленого сыра, и мешочков с голилем — просяной мукой с медом, удивительного блюда, сохраняющегося съедобным в течение десяти, а то и двадцати лет.

Не были забыты и мешки, и связки веревок для будущей добычи, а также куски белой ткани — джебына — на случай, если придется кое-кого хоронить в походе. У многих были с собой завернутые в тряпочку кусочки дерева, в которое ударила молния, — это предохраняло от дурного глаза.

Когда земля укрылась тремя черными, как душа предателя, покровами, двинулись в путь. Никто из посторонних не должен был видеть, в какую сторону отправляется отряд. И пусть каждая собака во всей округе уже знала точную дорогу и цель похода, но только никто не посмел бы обнаружить свою осведомленность.

Скакали, конечно, не придерживаясь никаких троп и наезженных путей, а напрямик — через травянистые реки, через лесистые склоны предгорий. Впереди ехал Биберд, который хорошо видел в темноте и лучше всех умел угадывать верное направление.

Прошло два дня и две ночи, и позади осталась переправа через Терек, где утонул один из всадников отряда, остались позади и пустынные равнины Талустановой Кабарды, позже получившей название по имени другого князя Геляхстаней, а еще позже — Малой. Еще через день и две ночи, когда Тамби и Жамбот были почти у цели своего похода и на рассвете увидели Сарыкум — диковинную гору из желтого песка, произошла редкая в таких случаях встреча: князя, едущие в набег, неожиданно столкнулись с князем, который возвращался из набега,

Шогенуко и его насторожившиеся уорки не сразу поняли, что за отряд движется им навстречу. Но вот князь издал тихое, чуть насмешливое «ах!» — и ухмыльнулся. Молодые уорки переглянулись, едва удерживаясь от смеха.

Как думаешь, Мысроко, кто это едет? — обратился Жамбот к старшему другу.

Я вижу группу всадников, а еще огромную арбу, на которой развалился толстый, как раскормленный вол, мужчина в помятой одежде. Он, кажется, ест кусок мяса. А кто он, я уверен, ты знаешь лучше меня.

— Сейчас, дорогой Мысроко, ты познакомишься с главным князем Большой Кабарды Берсланом Джанкутовым.

Воины встречного отряда, видимо, тоже узнали своих соплеменников и теперь без всякой опаски приблизились к Жамботу, который выдвинулся вперед, чтобы первым приветствовать «князя большой арбы», как потихоньку называли Берслана неутомонные остроумцы.

— Уэй! Молодой Шогенуко! — рявкнул хриплым басом князь Джанкутов. — Я тебя узнал еще издали. Ведь у меня глаза, как у голодной рыси!

— Да будет счастливым твой путь и достижимы его цели, добрый наш князь! — сказал Жамбот, спешиваясь и подходя к арбе.

— И тебе удачи... Не обидишься, если я не слезу с арбы, если у тебя нет ко мне большого разговора? Ведь не так уж молод я...

— Какие могут быть обиды! Но я не один. Ты слышал, наверное, о Мысроко Тамби?

— А-а! Так это он и есть, потомок египетских меликов? Придется слезать с арбы. — Берслан, кряхтя, приподнялся и ударил в ладоши. — Эй! Сами не знаете, что делать? — крикнул он своим приближенным.

Ему помогли спуститься на землю. Мысроко уже стоял рядом с Жамботом.

Берслан Джанкутов был высокого роста, широкоплечий, длиннорукий, но все эти качества как бы заслонялись поистине необъятным брюхом, мерно колымавшимся при ходьбе, при смехе и даже при разговоре. Пухлые щеки, начинаясь от самых глаз, заплывших жиром, спускались ниже подбородка и лежали на плечах. Мясистый нос крючковато нависал над верхней усатой губой, а толстая нижняя губа нависала над подбородком, покрытым редкой растительностью, сквозь которую просвечивали тугие жировые складки короткой шеи. На нем была простая, без газырей, черная черкеска, сильно засаленная на груди и на рукавах, и какая-то бесформенная шапка из хорошего серого каракуля. У пояса болтались богатый кинжал с необычно длинной рукоятью и кривой нож в серебряных ножнах.

Берслан приподнял указательным пальцем правое веко и открыл глаз пошире. Мысроко чуть не вздрогнул, ощутив на своем лице острый пронизательный взгляд умного и властного человека. Ему даже подумалось, что глаза у этого необъятного князя и в самом деле зоркие, как у голодной рыси.

— Пусть радость сопутствует тебе на земле Кабарды, пришелец из Мысыра, — пробасил Берслан.

— Пусть счастье будет всегда с тобой в дружбе, старший князь, — чуть поклонился, прижав руку к груди, Мысроко.

— Сядем, — предложил Джанкутов. — Ноги надо беречь. Вы, князь, гости моего привала.

Люди Берслана уже успели расстелить на земле несколько войлоков, разложить извлеченные со дна арбы не подушки — целые мешки с шерстью. А вот уже и вязанка дров снята с вьючной лошади, и веселый огонь вспыхнул под большим медным котлом. Двое парней ловко снимают шкуру с барашка из того внушительного стада, которое следовало за берслановским ополчением: Джанкутов и в походе не любил в чем либо себе отказывать. Потому и скрипела в обозе телега, где в тугой соломе покоились пузатые, глиняные сосуды с мармажем.

Возил с собой князь мед и орехи, сушеные фрукты и острые приправы к мясу. Даже походный курятник на колесах был у Берслана, и куры прилежно несли ему яйца. Не в пример другим князьям-воинам, относящимся к еде с пренебрежением, Джанкутов редко давал отдых своим крепким челюстям. Вот и сейчас у него была в левой, руке недоеденная баранья нога. Он первым сел на разостланную кошму, оперся локтем на подушки и продолжал трапезу, которой только что занимался в своей арбе. Сделав знак свободной рукой, Берслан промычал что-то приветливое. Очевидно, это означало приглашение садиться.

Мысроко и Шогенуко сели. На кошме тут же появилось деревянное блюдо величиной не меньше тележного колеса: на блюде куски вяленого мяса, сыр, лепешки. Перед каждым поставили по одной объемистой чаше, а рядом с Берсланом еще и глиняный сосуд — коашин — с налитком. Отбросив в сторону обглоданную кость, Берслан несколькими осторожными ударами рукояткой ножа ослабил пхамыф — деревянную пробку из негниющего дерева, и она вылетела из горловины коашина, увлекая за собой клочья желтой пены. Чувствовалось, что Джанкутов любил собственноручно распечатывать и разливать мармажей.

— Надо попробовать, не испортилось ли питье, — взволнованно прохрипел Берслан и опрокинул над своей раскрытой пастью сосуд, из которого можно было бы напоить трех лошадей.

Густая влага ласково булькнула и полилась непрерывной струей в самую широкую на всем Кавказе глотку. Было слышно, как благородное питье глухим водопадом обрушивается на дно Берслановой утробы. Выглотав, наверное, поло-

вину коашина, толстобрюхий князь стал наполнять чаши.

— Ахыном клянусь, подходящий мармажей, — сказал Берслан, вытирая губы рукавом черкески. — Теперь будем нить.

Мысроко Тамби и Шогенуко Жамбот отхлебнули из своих чаш и похвалили напиток. Берслан спросил у Тамби, случилось ли ему пить что-либо подобное в заморских краях? Мысроко отрицательно покачал головой и сказал, что пить хмельное в Египте совсем не приходилось и что он до сих пор еще не решил, совершает ли мусульманин грех, употребляя хмельную махсиму, или нет. Поговорили о Египте, о турках, о мусульманстве. Берслан заявил, что ислам, возможно, и лучшая религия в мире, но стоит ли спешить отказываться от своих привычных божеств? Сначала нужно добиться, чтобы кабардинские князья навели порядок на своей земле. И не грабили друг друга, не враждовали. Разве нет у Кабарды богатых соседей?

Мысроко с интересом выслушал речь Берслана, сопровождавшуюся громким чавканьем и отрыжками, подумал немного и сказал:

— Да, уважаемый князь, я заметил, что Кабарда ныне мало похожа на государство. Скорее — это большое военное селище, где много вождей и мало порядка.

Джанкутов снова подпер пальцем веко правого глаза и внимательно посмотрел на Мысроко.

— Верно говоришь. Сейчас это и на самом деле так. Но скоро будет по-другому. Мы каждому укажем на его место и поставим к стойлу, возле которого он может есть. Все будут послушны старшим князьям, — Берслан ударил себя в грудь бараньей ляжкой, — и не будет никаких споров и кровавых распрей. Скоро вся Кабарда узнает, кому кушать печенку, а кому жрать требуху. Уорки теперь станут разделяться по разным степеням. Самая высокая степень знатности, почти равная князю, — это тлектотлеш. Они, тлектотлеш, живут в своих собственных селениях, а в своей свите, как и князья, имеют уорков. К первостепенным я отношу и уорковдыженуго (*буквально: позолоченное серебро*). Они, правда, ниже, чем тлектотлеш, но если три поколения какой-нибудь семьи дыженуго совершают славные военные подвиги, то четвертое колено может быть возведено в степень тлектотлешей. К дыженуго будут причисляться знатные лица и даже князья, пришлые из соседних земель или отдаленных стран. Он» будут еще называться «кодзь» — прибавка...

Мысроко задумчиво и как-то уж очень спокойно посмотрел на Берслана, но тот сразу оговорился:

— К потомку египетских меликов это не относится. Родовое имя Тамбиевых будет стоять особо.

Мысроко хотел было спросить, что значит «стоять особо», но Берслан передышки не сделал, а продолжил речь об уорках:

— После дыженуго идут второстепенные: мы назвали их пшиш-уорками, или, это уже в мою честь, берслан-уорками. Эти дворяне живут при княжеских усадьбах, служат князьям и получают от них щедрые подарки. Сословие берслан-уорков тоже наследственное, но быть к нему причисленным может и достойный выходец из третьестепенных уорков. Третьестепенные носят почетное наименование уорк-шаотлехус и служат тлектотлешам. Требуется разделение и среди низкороджденных, черных людишек. Ну, тут все гораздо проще: свободные крестьяне — тлхукотли, которым предоставляется честь носить оружие и входить в военную дружину; крепостные — пшитли и наконец унауты — рабы. Вольноотпущенные крепостные — пшикеу — тоже могут иметь оружие.

Столь пространная речь, видимо, отняла много сил князя Джанкутова, и, чтобы восстановить их, он надолго приник к горловине коашина. (Чаша, правда, стояла рядом, но Берслан «по рассеянности» ее не заметил.) Дно коашина поднималось все выше и выше, пока не прекратилось бульканье животительной влаги.

Джанкутов оторвался от сосуда, посмотрел на него недоверчиво и отбросил в сторону.

— Эй! Кто там у нас за кравчего?! — сердито прохрипел князь. — Давай новый коашин. Не видишь разве, моим гостям понравился наш мармажей!

Гости приветливо улыбнулись Берслану и отхлебнули из своих чаш еще по одному глотку.

— Уашхо-каном (*бог неба*) клянусь, — гудел Джанкутов, — теперь каждому придется крепко запомнить свое место. Строптивых будем судить. Высший суд мехкем — не побоится иметь дело даже с первостепенными уорками, если они не оставят грабежи на кабардинской земле. Неужели, повторяю, вокруг Кабарды других земель нет?

— Как раз мы теперь на чужой земле... — сказал Шогенуко.

— Ха! Понимаю, к чему ты клонишь, Жамбот, — перебил Джанкутов. — Но торопиться вам некуда. Да и я сейчас, после нашей встречи, не спешу. То, зачем вы едете, скоро само к вам придет. Мне тут повезло... — Берслан высыпал в пасть пригоршню очищенных орехов. — Караван... тезиков, купцов, из... этой... Персии. Очень были богатые тешки... Князь прожевал орехи и запил их несколькими глотками мармажея, — Теперь эти тезики... очень бедные. Грузное брюхо заколыхалось от мощного утробного хохота.

С трудом отсмеявшись, Берслан объяснил:

— Так вот. «Само придет» — это, значит, погоня. Уверен, что персы уже собрали в кучу все шайки головорезов из здешних мест и скачут по моим следам. Если бы не вы, молодые мои друзья, то меня они все равно бы не догнали. Зато теперь они увидят дружину вдвое большую, чем рассчитывают увидеть. Вся добыча от стычки — лошади, оружие, пленные — ваша. А мне уже хватит. Очень был богатый караван: драгоценные камни, золото, кармазин — сукно ярко-алое, тонкое. В Астрахань везли. Да вот не довели. Уах-ха-ха!

Мысроко заметно повеселел:

— Что ж, я думаю, мы с Жамботом подождем немного.

— Ну как тут не подождать! — откликнулся Жамбот. — Надо только предупредить наших людей, пусть они...

— Уже предупреждены, — успокоил его Берслан. — Мои-то знают свое дело. Это такие сорвиголовы, что готовы на хвосте шайтана Хазас (*Каспийское море*) переплыть!

И действительно, дружинники двух отрядов уже успели и подготовить оружие и рассредоточиться таким образом, чтобы в любой момент оказаться в удобном для боя построении. И коней все держали при себе.

— А пока, — сказал Берслан, — ешьте мед и орехи и знайте, что не про меня придумана пословица: «Кто любит сладко поест, тот ни с кем не поделится». Уэй-хе-хе-хе! А что благородному человеку надо? Приятная беседа за хорошим столом да добрая слава... — в горле у князя что-то зашипело и забулькало, и вдруг полилась песня:

*Лопнула подпруга,
Тетива порвалась,
Так и есть — порвалась!
Сквозь мою кольчугу
Кровь ручьем струится,
Так и есть — струится!
У вождя шапсугов*,
Ой, клинок булатный,
Так и есть — булатный...*

** (когда-то многочисленное адыгское племя, жившее на Северо-*

Кавказском побережье Черного моря)

Песня осталась недопетой.

Из-за песчаной горы вылетел на разгоряченных конях отряд вооруженных всадников. Слишком поздно увидели наемники персидского каравана, что дружина кабардинского князя неожиданно разрослась и теперь раза в полтора превышает их «отряд возмездия». Воины трех князей были уже в седлах и рванулись навстречу. «Погоня», состоявшая из джигитов многих национальностей, зачастую не совсем понимавших друг друга, билась отчаянно смело, но не могла устоять перед натиском кабардинцев.

Многие уже корчились от ран на земле, между лошадиных копыт, а некоторым было уже все равно, чем закончится эта схватка и чем закончатся тысячи других кровавых побоищ, которым еще предстояло либо прославлять, либо осквернять кавказскую землю.

Джанкутов сидел на своей арбе и, что-то бормоча себе под нос, пускал стрелу за стрелой в гущу неприятельских всадников. Делал он это очень быстро и умело: почти все стрелы попадали в цель.

Жамбот увлеченно рубился на саблях с могучим длинноруким кумыком, впервые испытывая в бою гибкий дамасский клинок. Он сейчас с радостью смотрел, как после каждого удара отлетали от кумыкского щита стальные бляшки. Скоро и щит раскололся надвое, и верзила-наемник получил смертельную рану в крутую шею.

На Мысроко наседали сразу трое, но опытный витязь не терял хладнокровия. К тому же и Тузар пробивался к своему князю. Страшны были удары Мысроко, и если соперникам случалось перехватить спокойный взгляд грозного противника, то в глазах его они читали свою смерть. Одному из них Тамби отхватил ногу выше колена, и она повисла, застряв в стремени, тогда как сам всадник свалился с коня. Со вторым, столкнувшись вплотную боками лошадей, он разделался проще: отбросив щит, ухватил врага свободной рукой за пятку, рванул вверх и вышвырнул из седла. К третьему Мысроко не успел обернуться. И Тузар опоздал со своей длинной никой. А перед смертью краснобородый перс рубанул Мысроко по правой руке чуть ниже плеча тяжелым боевым топором. Было слышно, как хрустнула кость. Рука безжизненно повисла, и окровавленная сабля Тамби выпала из коченеющих пальцев и воткнулась в разрыхленную копытами коней землю. Это случилось под самый конец побоища, когда часть наемников уже поскакала прочь с поля сражения, а окруженные стали бросать оружие.

Тузар взял коня Мысроко под уздцы и отвел его к берслановской арбе. Тамби спешился без посторонней помощи и сел на то место, где совсем недавно делил трапезу, с Джанкутовым. К раненому подскочил княжеский лекарь, но Тузар отпихнул его в сторону. Верный спутник Мысроко, он и сам кое-чему научился в Египте и не доверял местным хакимам. Тузар осторожно снял с руки князя перчатку и наруч, подрезал ткань рукава и оголил рану. Из глубокого рубца, доходившего до раздробленной кости, хлестала кровь, и потому Тузар прежде всего перетянул кожаным шнуром руку повыше раны, залил ее медом и перевязал чистым полотном. Потом наложил на повязку пару дощечек и перевязал руку теперь уже вместе с дощечками. Пришлось еще снимать черкеску, расстегивать ремешки панциря и тоже снимать его. После этого черкеску надели снова, а руку, чтоб не висела, согнули в локте и привязали к туловищу широкой полосой ткани.

Все это время Джанкутов и Шогенуко добродушно посмеивались над Тамби, а тот улыбался и отшучивался. Лицо его было бледнее обычного, и на лбу выступили бисеринки холодного пота.

Подошел Биберд, поздравил Мысроко с почетной отметиной и сообщил, что ими захвачено сорок две лошади и двадцать семь пленных, не считая тяжело-раненых. Оружие шпажное, драгоценностей нет совсем. Съестные припасы тоже

дрянь. Вот только мешок с изюмом оказался на одной из вьючных лошадей...

— Изюм давайте сюда! — крикнул Джанкутов. — А все остальное пусть забирают Тамби и Жамбот. И пора ехать домой. Вот только выпьем на дорожку...

На этот раз Берслан не стал вылезать из арбы. Пил и закусывал изюмом, полулежа на своих любимых подушках. Мысроко он заставил не только осушить полную чашу, но и проглотить несколько комочков целительного медвежьего жира, смешанного с костным мозгом оленя. Это прекрасное снадобье Джанкутов извлек из неисчерпаемых недр все той же знаменитой арбы.

Вскоре обе дружины двинулись в обратный путь, оставив на месте схватки несколько тяжелораненых врагов, а с ними четверых легкораненых, способных похоронить десятка полтора убитых и позаботиться о своих беспомощных товарищах. Среди кабардинцев оказалось, лишь трое убитых. Их тела увозили с собой.

Мысроко нашел в себе силы снова сесть на коня...

* * *

Рана князя Тамби заживала быстро, но владеть своей рукой, как прежде, он уже не мог. В ожидании, пока его мощная десница нальется былой силой, Мысроко стал подумывать о женитьбе. Ему предстояло стать основателем нового рода кабардинских пши. В этом деле горячее участие принимал Шогенуко, много ездивший в гости по другим княжеским домам, где высмотрел наконец красивую девушку, полногрудую и крепкобедрую, стройную и высокую, какой и должна быть будущая мать новой фамилии. Выкуп за невесту — уаса — был очень велик, но Мысроко, наслушавшись хвалебных речей Жамбота, не стал колебаться. Сотню лошадей, шестнадцать пар ногайских быков, дорогое оружие и увесистый кошель с золотыми монетами получил отец невесты. Мысроко был очень доволен своей гуашей. Он даже полюбил ее сразу, как только увидел, и сумел разбудить в ней ответную страсть. Постоянно испытывая новую, не знакомую в прежние годы, радость, Мысроко стал реже грустить о больной руке.

Следом за своим обожаемым князем женился и верный Тузар.

Жизнь в усадьбе Тамбиевых текла спокойно и размеренно. Оставалось лишь удивляться, и как только Мысроко терпит эту безмятежность, как не озлобится от скуки? И продолжалась такая жизнь до тех пор, пока Жамбот не привез однажды к Мысроко толстенького сердитого человека средних лет с книгой под мышкой и бронзовой чернильницей у пояса. Были еще у него большая пачка редкой в те времена бумаги и гусиные перья.

— Друг мой больший, я выполнил свое обещание, — сказал Жамбот. — Помнишь, говорил, что найду тебе абыза?

— Я рад, дорогой князь, — улыбнулся Тамби. — Пусть любые обещания, которые когда-то будут даны тебе, выполняются так же хорошо. А что же он такой сердитый, этот грамотей?

— О люди! — вдруг горестно воскликнул абыз тоненьким скрипучим голосом. — Доколе пребывать вам во мраке невежества! Когда поймете вы божественную сущность письменности, когда будете благоговейно склонять головы перед премудростями науки?! Как устал я от высокомерного презрения знатных неучей. А ведь такие, как я, обладающие арабской, турецкой и даже русской грамотой, семь раз прочитавшие Коран и тем самым заслужившие блаженства эдема, должны пользоваться всеобщим почетом. А вместо этого меня, как раба, как безответного осла, гоняют от одного хозяина к другому и всюду надевают мне на шею тяжелое ярмо чужого невежества! И когда некоторым не нравится печаль моего лица...

— Ну хватит! — перебил его Жамбот и, обращаясь к Мысроко, добавил: — Если этого жалкого плаксу не останавливать, он будет скулить с утра до вечера.

Мысроко, судя по всему, не был задет гневными причитаниями абыза.

— Что-то в твоём лице, — спокойно обратился князь к обиженному судьбой грамотею, — есть и адыгское и турецкое. Кто ты?

— Добрый господин подметил правильно: мать моя была черкешенка, а родился я в гареме у знатного турецкого вельможи. Вырос в Истамбуле, обучался там в медресе. Меня посылали с поручениями в Крым, а оттуда поехал однажды с татарским пашой в Суджук-кале, но наш каик отнесло бурей южнее и прибило к шапсугскому берегу. Каик разбился о камни, паша утонул, а я и еще несколько людей спаслись, но попали в неволю к шапсугам. Они продали меня воинственным жанинцам (*адыгское племя*), которые не понимали даже, что такое Коран и за чем он нужен. Меня обменяли на жеребца, причем не очень хороших кровей. Потом снова продавали и меняли, и опять продавали... теперь я здесь. Надолго ли?

— Теперь надолго, — сказал Тамби. — Если это будет угодно Аллаху, тебе еще придется обучать грамоте моих будущих детей.

— О, хвала пророку! Кажется бедный Алим наконец-то попал в дом правого мусульманина!

— Да. И в этом доме можешь держаться с достоинством. Если, конечно, перестанешь говорить таким слезливым голосом. Вот так, Алим.

— Перестану, — деловито заявил абыз, и на лице его сразу появилась печать учености и некоторого высокомерия.

Жамбот погостил до следующего дня и уехал.

Мысроко позвал в свой хачеш Алима и поставил перед ним румский панцирь.

— В эту сталь я был одет, когда ходил в Мекку. Шейх сделал по моей просьбе надпись, но не раскрыл мне ее смысла. Говорил, что эти слова хороши только для надписи, но не для произнесения вслух. А я хочу их знать. Читай.

Ученый абыз склонился над панцирем. Губы его зашевелились. Затем Алим испуганно посмотрел на Тамби и с дрожью в голосе проговорил:

— Бывают и такие шейхи... Наверное, мой хозяин ему чем-то не угодил?

— Что здесь написано? Отвечай!

— Но... мне... Я бы тоже не хотел произносить такие слова вслух.

— Я жду! — Мысроко начал терять терпение.

Абыз обернулся на дверь. В гостевой комнате больше никого не было. И тогда несчастный Алим тихо прочитал на арабском языке две строчки, выгравированные в столице ислама.

Кровь ударила в лицо Мысроко. Он пошатнулся, прикрыл на мгновение глаза ладонью, затем непослушными пальцами правой руки ухватился за рукоятку кинжала.

— Лживый презренный шакал! — в бешенстве закричал Тамби. — Посмел... Посмел такое!

Лезвие кинжала легко вошло в глотку грамотея, умевшего читать по-арабски, по-турецки и по-русски. А так как он семь раз прочитал Коран, то и отправился прямехонько в кущи эдема, в вечнозеленые сады, орошенные потоками прозрачных вод.

* * *

Мысроко сразу поверил в истинность тех слов, что прочитал ему ученый неудачник. Перед взором Тамби в то же мгновение появилось морщинистое личико старого шейха со слезой, катящейся из левого глаза, и странной улыбочкой на злых губах. Именно в эту рожу предназначался удар кинжала. Именно к лживому шейху и относились яростные слова Мысроко, честного воителя, всегда такого спокойного и сдержанного. (Правда, если б Алим знал об этом перед гибелью, то ему, видимо, все равно умирать было бы не легче.)

Князь не жалел о содеянном. Он никому не мог позволить знать, что за «священное изречение» начертано на неподатливой стали панциря Аладина.

Мысроко положил эту реликвию египетских монархов в объемистый нед — сумку из телячьей шкуры, сел на коня и отправился куда-то вверх по реке. К вечернему намазу он вернулся без неда и без панциря. Намаз делать не стал, а лег на свою тахту и уставился неподвижным взглядом в потолок. У Мысроко сильно разболелась рука, а потом стала болеть грудь.

Вскоре всполошился весь дом: князь едва дышал. И жена, и слуги, и ближайшие соседи сделали все, что смогли: не давали Мысроко спать всю ночь, развлекали его песнями и танцами, стучали обухом топора по лемеху плуга, били в барабан, но все было напрасно. К утру Мысроко Тамбиев умер. Перед смертью он только усмехнулся и едва слышно пробормотал кабардинскую поговорку: «От чумы ушел — от поноса погиб...»

* * *

Никто не узнал причину его смерти. Никто не узнал, куда девался бесценный панцирь с золотым львиным ликом и золотыми заклепками и пряжками. А Мысроко не знал, что у него родится двойня — оба мальчика, крепкие и красивые.

Слово созерцателя

Интересную жизнь прожили Мысроко и Тузар. И хочется сказать о них шестым аятом из двадцать четвертой суры Корана: «Разве не окинули они земли своими взорами?»

А перед изумленными взорами созерцателя пронеслось множество интересных лиц и увлекательных событий, и далеко не каждое лицо и событие нашли свое место в трех наших первых хабарах.

Да и стараться втиснуть все подсмотренное и подслушанное а эти маленькие странички (вряд ли одного листка хватило бы на один пыж для мушкетного заряда) — дело совершенно безнадежное. И даже рискованное. Помните, как погибла бедная синичка, воронье захотев спасти яичко? С другой стороны — дело это просто лишнее, ненужное. Ну еще три-четыре кровопролития, ну еще десяток-другой (в лучшем случае) трупов, а в перерывах — несколько лишних ссор и споров да, наверное, парочка вежливых приятных бесед с песнями, подобными той, что пел Мысроко. Кстати, как вам понравился наш герой в роли чело-века, воспевающего собственные подвиги и при этом ничуть не боящегося погрешить против своей скромности? Созерцателя так и подмывало вмешаться и заставить его смущенно умолкнуть, но ничего не вышло. Вообще-то очень часто возникало искушение каким-либо образом повлиять на ход событий. То хотелось твердой мысроковской десницей расквасить нос Хазизу, то познакомиться с турецким султаном Селимом (говорят, его бабушка была черкешенкой), то шутки ради опрокинуть арбу толстобрюхого Берслана. А главное, от чего ныла душа, — крови уж больно много. Чересчур много. Но ничего не поделаешь. Других развлечений у сильных мира сего было не густо. Пришлось все оставить, как есть.

Не раз нам придется сталкиваться с далеко идущими последствиями мысроковского хаджа. Первое столкновение произойдет через долгие годы после смерти потомка египетских монархов.

За это время в горах растает куча снега величиной с Ошхамахо.

Пройдет век, и еще полвека, и еще четверть века... Магеллан со-

вершит кругосветное плавание. В Риме построят собор святого Петра. Пышным цветом расцветет пленительный век Чинквеченто, осененный гением Леонардо, Микеланджело, Рафаэля. Мир переменится, страны Европы будут и дальше двигать вперед науки, искусства (ну и армии тоже, без этого никак нельзя!), а Кабарда останется почти такой же, как и была. Разве только участься войны с заморскими грабителями, да появятся добрые, но надолго прерываемые связи с великим северным соседом. В середине шестнадцатого столетия от Р. Х. кабардинцы добровольно присоединятся к России, выдадут замуж за грозного царя Ивана княжну Темрюковну, дочь того самого Темрюка Идарова, что так отважно сражался с крымцами.

«И проходили попы хрестьянские, крестили пятигорских черкас», но мало в этом преуспели. Давление со стороны ислама окажется впоследствии куда мощнее...

Русским царям частенько будет не до «черкас». Тут Казанское ханство да Астраханское, там — большие хлопоты от крымских татар, а с запада поляки паки прут и паки со своими лжедмитриями окаянными, из полночных стран насканивают задиристые, как петухи, шведские венценосцы, а под боком, у себя дома, — крестьянские волнения.

А мир уже начнет понимать, что он круглый, что он вертится сам и сам же вокруг солнца вращается. Правда, земным владыкам будет еще далеко до понимания той простой истины, что самые громкие подвиги совершаются не под рев мортир и кулеврин, не в завоевательных походах и не при свете пылающих городов. Владыки земные, наверное, очень бы разгневались, если бы им сказали, что не их кровавыми деяниями будут восхищаться далекие потомки, а тихими трудами неких людей, при жизни не возносившихся на вершины славы.

Трудами, например, одного англичанина из города Стратфорда, человека незнатного и небогатого, сочинившего несколько историй про выдуманных им королей, принцев, дворян разных званий и даже слуг.

Или трудами однорукого бунтаря-правдолюбца, который за годы сидения в испанской тюрьме исписал ворох бумаги, поминая на каждом шагу странного джигита по имени Дон-Кихот.

Или трудами длиннолицего поляка, не нашедшего для себя более приличного занятия, чем разглядывание звездного ночного неба и рисование всяких кружочков и кривых линий.

...Век, еще полвека, еще четверть века... Мир подлунный оставался для Кабарды таким же, как и прежде, — ничуть не круглее. И он совсем не вертелся. И все с тем же упрямым постоянством, достойным лучшего применения, враждовали между собой князья.

ЧАСТЬ ГЛАВНАЯ

ХАБАР ЧЕТВЕРТЫЙ,

*подтверждающий, что ворон кружит там,
где лежит падаль, а уорк — где лежит богатство*

— Как ты меня напугала, проклятая змея! Ведь я чуть не наступил тебе на хвост! Жаль, что в нору, гадкая тварь, заползла, а то палка моя наготове... Теперь ты, наверное, смеешься над старым Адешем. Ну, смейся, смейся, подлая! В своей норе не то что змея, даже мышонок — герой. А мы еще посмотрим, далеко ли ты спряталась...

Адешем — бедный, но всеми уважаемый крестьянин, пшикеу, — больше всего любил разговаривать сам с собой или с лошадьми тлекотлеша Тузарова, чьи табуны все лето паслись на сочном разнотравье в верховьях реки Балк.

Лошади никогда не придирались к речам Адешема, не искали в них неудачных слов или кривого смысла, никогда не перебивали. Сам себя Адешем прерывал редко. А ведь среди людей, прежде чем сесть, надо осмотреться, а прежде чем сказать, надо подумать.

Расковыривая крепкой палкой нору в пологом и рыхлом каменисто-песчаном откосе, почтенный табунщик продолжал без устали поносить змею:

— Уж я доберусь до тебя, коварная гадюка! Мазитха, бог лесов, да Шумуц, бог всякого дикого зверя, не откажутся помочь бедному табунщику. Чуть не ужалила, а?! Да еще в такое время. Все лето прошло спокойно, уж сегодня мы собираемся гнать лошадей на Тэрч (*Терек*), в Тузаровское селище. А что, если б я получил смертельную каплю яда? Не видать мне тогда ни Тэрча, ни двух заработанных овец, ни жеребенка. Да кто знает, может быть, Каральби Тузаров подарил бы мне и жеребенка... — Палка наткнулась на что-то твердое, и раздался короткий приглушенный звон металла. — Э-э-й, змеиная гуаша! Уж не в железном ли доме ты живешь? — Адешем еще сильнее заработал палкой и отхватил широкий пласт песчаника. — Это что такое?! Так и есть: змеиный дом из железа. Клянусь златошетиной свиньей Мазитхи, сверху тут истлевшая кожа, а под ней — настоящий булат! Да ведь это панцирь! — Адешем ухватился рукой за край панциря и извлек его на свет божий.

Когда табунщик очистил стальную поверхность от песка и мелкой кожаной трухи, он так и сел, позабыв о змее, которой мог неосторожно прищемить хвост, причем не ногой, а другой немаловажной частью тела. Однако змея куда-то исчезла и больше о себе не давала знать. Адешем повернул панцирь, и ему прямо в глаза попали лучи утреннего солнца, отразившиеся от золотой львиной морды. Старик раскрыл рот, но заговорил не сразу, а после того, как пришли на ум подходящие слова. А они долго не приходили.

— Вот тебе и дом змеиной гуаши! Нет, не для гадючьего племени сработан этот булат. Наверное, много стоит такая вещь. Уж теперь Каральби обязательно подарит мне жеребенка чистых кровей. А овец даст из числа самых лучших. Может, еще и барана впридачу...

Старик от души поблагодарил Мазитху, которого он считал своим покровителем, и на всякий случай Емиша, бога домашних животных, затем облек панцирем свою тощую грудь.

— Ха! Сюда мне еще не достает золотого оружия. Да шлема на голову. А на ноги просятся сафьяновые тлях-стены вместо грубых шарыков с ноговицами — хурифа-лей, из шкуры бараньей...

Адешем поспешил к остальным табунщикам. Они с восхищением полубо-

вались панцирем и предложили старику тотчас же ехать к Тузарову: с табуном управятся и без Адешема.

Обрадованный старик быстро собрался и погнал своего смиренного, не привыкшего торопиться, коня вниз по реке, в сторону восхода. К середине дня он уже далеко углубился в обширные пространства дремучих лесов, сплошь покрывавших в те времена междуречья Малки, Баксана, Чегема, Череха и Терека. Реки тогда были полноводные, и даже через более мелкую, чем названные, через Куркужин всадник мог переправиться не в любом месте. А все потому, что большие широколиственные леса берегли воду...

Из-за недавних дождей брод через Баксан оказался глубже, чем обычно: вода доходила коню до середины груди. Адешем едва не вывалился из седла, когда его саврасый остушился на скользком камне и с трудом удержался на ногах.

— Этого еще не хватало, — пробормотал Адешем, переправившись на другой берег. — В этом панцире бултыхнешься в воду — так уже не выплывешь, клянусь златошестинной свиньей Мазитхи...

Густые сумерки легли на дорогу. Можно было переночевать и на берегу реки, но впереди показались заманчивые огоньки селения.

— Бабукей, — определил Адешем, — поищем ночлег у людей Хагура Бабукова.

Со стороны села скоро стали слышны музыка и веселые возгласы.

— Э-э, да там какой-то праздник или шумный кебжек (*веселая вечеринка с шуточными песнями*). А может, сам князь Алигоко Шогенуков приехал в гости к своему уорку-дыженугу? Для Хагура это большая честь. Нет, наверное, там свадьба... Да что гадать? Мешка не развяжешь — г что в мешке не узнаешь,... — и Адешем подстегнул коня.

Умное животное и без того прибавило шагу, чувствуя дразнящий запах свежего сена и предчувствуя желанный отдых

* * *

На просторном дворе Бабукова горели костры, медные котлы были уже сняты с огня и над ними клубились вкусные ароматы вареной телятины, пшенной каши и бараньего ляпса, приправленного луком и чесноком. Несколько парней раскладывали на трехногих круглых столиках куски горячего мяса и, сломя голову, неслись с этими столиками в дом, в гостевую комнату, ярко освещенную смолистыми факелами. А у костров оставался народец попроще — крестьяне. Они тоже веселились: на их долю хватало и требухи, и мослов, и даже ребер с пашиной. Хотя резать им пришлось своих же овец, а варить и жарить лучшие куски для важных гостей Хагура, тлхукотли были довольны. Ну не сегодня, так завтра зачешутся и у них левые бока — это значит получать скотину. Бабуков вернется, наконец, из очередного, набега с большой добычей (пока ему не везло), пригонит неисчислимые стада и каждого одарит щедро. А пока — сиди у костра, прихлебывай горячий жирный ляпе и отводи душу в беседе с приятелями.

Люди Хагура увидели всадника в панцире, когда он уже спешился. Кто-то принял у него поводья и повел лошадь к коновязи, а вся компания, сидевшая за ближайшим из костров, вскочила на ноги и замерла в нерешительности: кто такой пожаловал? Как будто и простой человек, а доспехи — княжеские.

Адешем усмехнулся:

— Что, не признали во мне такого же гуся, как и вы? Этот фазаний наряд, — он щелкнул пальцем по панцирю, на котором играли блики от пламени костра, — носить не мне, а моему тлектелешу Каральби Тузарову. Ну а теперь начнем снова и по правилам, — Адешем шагнул вперед и вежливо сказал:

— Гупмахо апши!

— Упсоу апши!

- Просим к нашему огню!
— Окажи нам честь — будь гостем!

Старший по возрасту, примерно одних лет с Адешемом, поднес табунщику деревянную чашу с махсымой. Адешем молча принял ее и выпил до дна. Самый молодой участник компании тут же наполнил чашу снова, и Адешем с поклоном вернул ее старшему. Теперь можно было садиться. Доску с разложенными на ней кусочками мяса, просяных лепешек и сыра пододвинули поближе к гостю.

Адешем неторопливо ел и пил, нисколько не смущаясь тем, что его сотрапезники как-то приумолкли и украдкой разглядывали панцирь. Потом, словно спохватившись, старший у костра осведомился у гостя, здоров ли он, как доехал, благополучно ли живет его семья. Адешем воздал хвалу богу жизни Псатхе и задал в свою очередь такие же вопросы. Потом назвал свое имя, сообщил откуда и куда едет. Бабуковцы тоже стали словоохотливее. Старший, по имени Бита, сказал, что их степенный уорк устроил пир по поводу возвращения шестнадцатилетнего сына в отчий дом. Мальчик с пяти лет воспитывался в семье одного уоркшао, а сегодня аталык (*приемный отец, воспитатель*) проводил своего кана к отцу. И проводил как полагается: парень явился в полном вооружении, на хорошем коне. За это Бабуков благодарит воспитателя, угощает его из своих рук. Бита помолчал немного, затем грустно добавил:

— А у нас теперь чешутся правые ладони: Хагур должен, по обычаю, одарить аталыка скотиной — не одним десятком быков, овец, лошадей, а кому, как не тлхукотлям, придется расплачиваться? Хотя бы помог ему, хозяину нашему, Ауш Гер, сделал бы для него удачным будущий набег на чьи-нибудь богатые земли...

— Нет, Бита! — возразил один из бабуковцев. — Говорят, сейчас — аллах самый сильный бог.

— Возможно, — согласился Бита. — Но лучше уважать всех богов, чем возносить молитвы одному, а других даже не помнить. Ведь остальным обидно будет. Недаром и в песне поется:

*Тлеши рукоять
его сабли держал,
Жало клинка
Ауш Гер направлял...*

— Эй, добрый человек! — раздался вдруг над ухом Адешема чей-то вкрадчивый голос. — Хозяин этого дома приглашает тебя переступить порог хачеша.

Слегка захмелевший Адешем встал и направился к распахнутой настежь двери дома. «Зачем это мое не самое важное степенство там понадобилось? — подумал табунщик. — А-а! Понимаю! Панцирь...» И Старый крестьянин переступил порог хачеша. И пожелал присутствующим приятной компании. Взоры хозяина и его главного гостя — воспитателя хагуровского отпрыска, сидевших у ярко пылавшего очага, взоры гостей менее именитых обратились на Адешема. Стало тихо. Смычок пхапшины (*народный музыкальный инструмент наподобие скрипки*) застенчиво взвизгнул на самой тоненькой из семи струн, и музыка оборвалась.

— Подойди сюда поближе, еще бли... — голос Бабукова прозвучал, к его собственному удивлению, как-то взволнованно и глухо, в горле запершило, и Хагур поперхнулся, не забыв, однако, сделать знак рукой, чтобы наполнили большую чашу. — Подойди. Чтоб тебя на каждом шагу твоего пути подстерегали... удачи! — он протянул чашу Адешему.

Тот слегка опешил от столь высокой чести, но виду не подал. Пенистый напиток был очень крепок, посудина, налитая до краев, очень вместительна, но Адешем выпил все до капли и вернул чашу хозяину после того, как ее наполнили снова.

— Садись. Теперь садись, незнакомый путник! — уже своим, высоким и чистым голосом нетерпеливо предложил Бабуков и сам пододвинул старику низенькую скамеечку.

Адешем, вытирая грубым рукавом кептана седые усы, подумал: «Панцирю, надетому на меня, предлагают сесть. Значит, придется сесть и мне». А вслух он сказал:

— Покровительство богов да пребудет над крышей этого дома!

Бабуков решил, что он уже достаточно осыпал милостями простого крестьянина; продолжать относиться к нему как к гостю не хватило терпения.

— Откуда на тебе эта бора маиса? Что ты собираешься делать с панцирем? Кто ты такой?

Табунщик спокойно выслушал вопросы, мудро проглотил обиду и ответил:

— Меня зовут Адешем. Я вольноотпущенный. Живу на земле Тузаровых, на правом берегу Тэрча. Панцирь хочу отдать Каральби Тузарову — главе рода. Ведь он мой тлектлеш...

— Где взял?! — повысил голос Бабуков. — Кто такой Тузаров и где живет, мы и без тебя знаем, — широкое лицо Хагура с маленьким кривоватым ртом и маленькими злыми глазами, похожими на тлеющие угольки, покраснело от возбуждения.

— Отвечу. Не думай, добрейший хозяин, что у меня есть причины молчать и таиться. Панцирь лежал под землей. И очень долго. Ведь кожа, в которую он был завернут, успела рассыпаться в прах. А место у нижнего края пастбищ на берегу Балка мне указала змея, посланная самим Шумуцем. Она повела меня за собой и уползла в нору. Я должен был последовать за ней, но слишком узок оказался проход. Пришлось раскапывать. Змея скрылась на седьмое дно земли, а оттуда был послан мне этот чудесный булат. Наверное, сам Тлепш его выковал. — Нельзя было понять: то ли балагурил старик, солидно поглаживая жиденькую седую бороденку, то ли всерьез верил в свои слова. — У-ой, дуней, велика была змея — длиною в семь хвостов бычьих... — Адешем опьянел еще больше, но глаза его не тускнели, а светились упрямым весельем.

— Пей, старик, еще! — сказал Бабуков. — Не стесняйся. А вот тебе хороший кусок жареного — это почечная часть, самая нежная...

Обратившись к аталыку, Хагур спросил его:

— Ну что ты на все это скажешь, любезный Идар? — по лицу Хагура не было видно, какой ответ пришелся бы ему по душе.

Но Идар, крепкий пятидесятилетний муж, отличался к тому же еще и крепостью ума. Он и без намеков догадывался, какие слова ждет от него Бабуков. Правда, Идар не любил лицемерить и сейчас тихо радовался тому, что и на этот раз его совесть останется чистой. Ведь именно то, что ему вспомнилось, едва лишь он увидел панцирь, и то, о чем он готовился рассказать, должно было и так понравиться крутолобому уорку.

— Бога-кузнеца Тлепша сюда не надо впутывать, — начал Идар. — Еще от своего деда слыхивал я о блестящем панцире с золотой львиной мордой и золотыми заклепками. Не думал, что когда-нибудь моим глазам доведется увидеть эту славную вещь. Панцирь привез откуда-то из Андолы (*так называли кабардинцы Малую Азию, которую они считали краем земли*) предок Тамбиевых. Давно, у-ой, давно это было. Из желудей, которые в ту весну упали на землю, теперь выросли дубы в три обхвата. Говорят, панцирь сделан из чудодейственного булата: не берут его ни пули, ни стрелы, ни острые клинки. А принадлежал он в старину...

— А принадлежал он, — с горячностью перебил Бабуков, — владыкам Мысыра! Я тоже знаю эту историю. И почему сразу не догадался, что вижу тот самый панцирь?!

А Адешем сонно кивал головой, уже, казалось, не понимая, о чем идет речь.

Взгляд сердитых глаз Хагура случайно остановился на табунщике, и уорк недовольно поморщился:

— Влейте в него еще чашу мармажея!

Снова повернувшись к аталыку своего сына, Бабуков продолжил:

— Князь Шогенуков Алигоко рассказывал, что его пра-пра-пра... уже и не знаю, какой там дед, был близким другом Тамбиева и рассчитывал получить панцирь в подарок. Но Тамбиев неожиданно умер, а панцирь пропал. Бесследно исчез, будто Псыхогуаша (*богиня (или княгиня) воды*) спрятала его в своих водяных владениях. И вот нашелся. Надо отдать его пши Алигоко.

— А Тамбиевы не начнут спор? — осторожно спросил Идар. — Два рода у них, людей, правда, немного...

Бабуков презрительно улыбнулся:

— Спорить с князем? Да еще с таким сильным? Нет. Владеть по праву бесценным панцирем может только высокородный пши. А Тамбиевы — не князья. Пусть и называются особыми тлектотлешами, но все равно — не князья...

Вдруг Адешем встрепнулся и поднял голову:

— Я везу панцирь Тузарову. Я нашел, я и везу...

— Снимайте с него панцирь! — приказал Хагур: Адешем не сопротивлялся. Сухонькое его тело обмякло, стало каким-то пустым и воздушным. Старого крестьянина вынесли из хачеша...

— Что с ним делать? — хмуро спросил уорк.

— Только убивать не надо, — ответил Идар. — Лучше надеть на спящего какую-нибудь кольчугу, а утром посадить на его клячу и тихо проводить домой. Не осмелится лошадиный предводитель рассказывать своему Тузарову о панцире.

— Благословенна твоя мудрость, любезный Идар! Бабуков заметно повеселел.

Уорк взял в руки панцирь, долго им любовался, потом поставил на скамеечку.

— Нет, на меня он не годится, хоть я и ношу имя Хагур (*в переводе с кабардинского — «тощий волк» [или пес]*), — Бабуков с досадой хлопнул себя тяжелой ладонью по толстому и тугому животу.

Быстро менялось настроение у хозяина праздничного застолья. Теперь его голову, и без того непривычную к частому посещению светлых и высоких мыслей, одолевали мрачные раздумья.

Шогенуков богат, но и скуп до безобразия. Немного имел Хагур выгод от верной своей службы князю. Медленным взором прошелся Хагур по углам гостевого покоя: глиняные стены потрескались, потолок закоптился и просел; на старом цветном войлоке висят две простые сабли в дешевых, обтянутых кожей ножнах, кабардинское ружье без всяких украшений, да пистолет — дорогой, правда, но почему-то неспособный пробить даже обыкновенную кольчугу; тахта застелена протертым до дерюжной основы ковром; деревянная и медная посуда на полках у очага — вся разномастная, выщербленная, поцарапанная. Вот тебе и дыженуго — «позолоченное серебро»... Золотом нигде не пахнет, а серебра — всего только и есть, что на колпачках газырей да на рукоятке кинжала. Может быть, получив от Хагура драгоценный панцирь, пши Алигоко наконец расщедрится? Одарит богатым оружием, одеждой, скотом? Наверное, так и будет. Он должен воздать своему уорку по его великим заслугам! И должен вдобавок отпустить в далекий и долгий самостоятельный набег, поможет при этом своими людьми... Несметную добычу смог бы тогда захватить Бабуков... Скорей бы... А то и крестьянские дворы совсем оскудели. Еще немного и уорк заберет у своих людей последнее. А где брать потом? Да, вовремя подвернулся этот старик, тузаровский табунщик. Завтра же Бабуков повезет панцирь князю. А не направить ли дальнейший путь Адешема в царство мертвых? Одним низкорожденным меньше — что за горе?! Нет, пожалуй,

не стоит. За кровь придется платить: опять где-то доставать скотину. Да и одной скотиной не обойдешься — подавай этому Каральби Тузарову, да раздуется его живот и высохнут ноги, еще и унаутку с унаутом! Из числа лучших притом...

О том, чтобы подстеречь табунщика где-то в лесу к тихо, незаметно от него избавиться, — такая мысль в голову Хагура и не приходила. Не в обычаях кабардинца скрывать пролитую кровь. Можно грабить, можно убивать: за это придется расплачиваться — или своим достоянием или своей кровью. Но прятать мертвое тело, замечать следы — значит, навлечь на себя неслыханный позор, уронить в зловонную грязь свою шапку. Трусливого предательства никто не простит, даже те, кому ты верно служишь. А уж народ-то обязательно сочинит такую песню, за которую тебя будут проклинять твои же собственные потомки.

— Э, Хагур, э-э! — Идар дотронулся до плеча Бабукова. — О чем задумался, свет ты наш?

Хагур как бы спохватился, и запоздалая улыбка чуть смягчила его хмурое лицо.

— Я задумался о том, почему это музыканты перестали играть? — он повернулся к трем бедно одетым людям, скромно притихшим в уголке гостиной. — Эй, вы, нечаянно рожденные! А ну веселей!

Один из музыкантов ударил крепкими ладонями в барабан, второй запиликал длинным смычком, похожим на лук, только с тетивой из конских волос, по семи струнам пхашины, третий начал извлекать пронзительные резкие звуки из коротенькой свирели. Бабуков с раздражением отметил про себя, что даже музыканты его не очень искусны, а орудия их ремесла дешевы и грубы.

* * *

Адешем проснулся на рассвете. Добрый старик Бита, в хижине которого он ночевал, предложил ему на завтрак чашку кислого молока, ломоть пасты и несколько кусочков холодной баранины, припасенной со вчерашнего пира. Адешем уже начал есть, когда вдруг обнаружил на себе кольчугу. Кусок стал ему поперек горла: закашлялся тузаровский крестьянин. Глазами, полными слез, он с вопрошающим укором посмотрел на Биту. Бита сочувственно вздохнул и тихо проговорил:

— Ты видишь, Адешем, я — живой. Значит, не под моей крышей тебя ограбили.

— Я пойду к Бабукову, — объявил табунщик. Пошутил он, наверное.

— Бабуков не умеет шутить, — грустно сказал Бита. — Не ходи.

— Но ведь этот панцирь — для Тузарова! И куда мои глаза смотрели? Поистине верно говорится: что толку от зрения, когда разум слепнет!

— О-о! Мармажей у Бабукова крепок...

— Как же мне забрать панцирь?

— Да как ты его теперь заберешь? Хагур хочет отвезти панцирь князю Алигоко. Не ищи силу сильнее себя.

— Ну тогда Тузаров найдет силу слабее себя. Все ему расскажу. Где мой конь?

— Может, погостишь еще? Что так торопиться?

— Должен торопиться, — Адешем встал и пошел к выходу. — Счастья и благополучия твоему дому. Поеду.

— Постой, дорогой гость! А стоит ли говорить твоему тлекоглю о случившемся? Ведь если арба опрокинулась — тебя же первого и придавит!

— Тузаровская арба не опрокинется.

— Так пусть гладкой будет твоя дорога, пусть конь твой ни разу не споткнется и не потеряет ни одной подковы, а в конце пути — да ожидает тебя удача, достойная доброго и мужественного человека!..

Селище Тузаровых располагалось на правом, более высокой берегу Терека. В этом месте самая большая река Кавказа делилась на несколько широких рукавов, которые были сравнительно не глубоки и потому не представляли особой преграды для всадника. На той стороне тянулись вдоль кромки извилистого берега густые лиственные леса, недавно одевшиеся в осеннюю позолоту.

А в сторону восхода, напротив, леса не росли: здесь, насколько хватал глаз, простиралась чуть всхолмленная равнина, богатая сочным разнотравьем. В Малой (Затеречной) Кабарде дожди шли пореже, чем в Большой, примыкающей к Главному Кавказскому хребту, но их было вполне достаточно, чтобы травы могли расти до глубокой осени. И сена удавалось накопить столько, что его дотягивали до первой весенней зелени. Ну и, конечно, земля эта давала щедрый урожай проса.

Седобородый Каральби Тузаров, бодрый и сильный мужчина, мог быть доволен своей жизнью. В доме хватало всякого добра и хорошего оружия. На пастбищах — сотни отличных лошадей и тысячи овец. Даже крестьяне тузаровские имели прочный достаток, а их жены исправно рожали здоровых мальчиков и девочек. Вот только у самого Каральби ясноглазая его гуаша умерла очень рано, успев подарить мужу только одного сына. Зато парню теперь двадцать два года, и он достойный наследник своего отца. Канболет и в скачках не знает себе равных, и стреляет лучше всех — хоть из ружья, хоть из лука, и силу имеет такую, что быка валит наземь. Сейчас у старого Каральби одно на уме — найти для сына хорошую невесту и дожидаться появления внуков. Пусть их побольше будет, этих внуков; если аллах обделил детьми Тузарова-старшего, так, наверное, не должен обидеть младшего.

Каральби вышел со двора и неторопливо зашагал к берегу реки. Там сейчас Канболет: пошел поить белого шолоха — это конь старого тлехотлепа — и своего любимца — настоящего хоару, которого отец подарил сыну пять лет назад еще же-ребенком. Что-то долго не возвращается джигит. Солнце уже село. Скоро совсем стемнеет. Каральби спустился по глинистой тропинке к самой воде. А вот и Канболет — чуть ниже по течению. Кто это с ним? Адешем вернулся? Почему один? И откуда у табунщика кольчуга?

Канболет увидел отца и, чем-то взволнованный, быстро направился к нему: — Отец! Прошу тебя, выслушай Адешема. Он привез такую новость!

Каральби нахмурил густые косматые брови: не слишком ли большую горячность проявляет парень?

Однако, услышав подробный рассказ табунщика, и сам Тузаров разволновался не меньше его. Он прекрасно знал, о каком панцире идет речь. Знал гораздо лучше Бабукова. Ведь не предок этого «тощего волка», а пращур самого Каральби везде и всюду, по чужим землям и далеким морям сопровождал хозяина старинной реликвии египетских меликов. Знал Каральби и о том, что панцирь принадлежал когда-то царю царей, Солнцу Востока — Саладину, а до него — славному, но неудачливому повелителю инглизов Мелик-рику, в груди которого билось не человеческое сердце, а львиное. Знал Каральби о том, как этот панцирь был освящен в Мекке и поэтому стал неизмеримо драгоценнее.

— Нет, не Бабукову, погрязшему в диком язычестве, владеть панцирем, — твердо сказал Каральби. — Эта священная сталь должна прикрывать грудь правого мусульманина.

Канболет нетерпеливо теребил поводья двух лошадей, топтавших за его спиной: когда, когда же будет сказано решающее отцовское слово!

— Хагур собирается везти панцирь князю Шогенукову, — вспомнил Адешем. — Да, да! Как я сразу об этом не сказал.

— Вот оно что? — Тузаров строго взглянул на табунщика. — Старый человек,

а не можешь отделить просо от шелухи. Тебе вообще не следовало останавливаться на бабуковском дворе. Переночевал бы в лесу.

Адешем скромно наклонил голову и кротким тоном сказал:

— Не думал я, что в доме уорка могут обидеть или обворовать бедного человека.

— Хитер старик! — усмехнулся Тузаров. — И как только от его длинного языка до сих нор голова не пострадала? Ну ладно. Теперь скачи побыстрее к Нартшу и Шужею. Пусть седлают коней и едут сюда. Скажи, чтоб взяли с собой трех-четырёх человек. Кольчугу оставь. Канболет вернет се Бабукову.

Пока ожидали тлхукотлей, известных своей честностью и мужеством, Каральби удостоил наконец сына вниманием и пересказал ему тот старинный хабар, что передавался в роду из поколения в поколение. Случай для этого, что и говорить, был самый подходящий. Канболет слушал, боясь проронить невольное восклицание, боясь кашлянуть или вздохнуть. Щеки его то покрывались румянцем, то неожиданно бледнели. Глаза, похожие на две большие, но еще не дозревшие темно-серые сливы, смотрели не мигая, губы чуть подрагивали. Закончил Каральби так:

— Теперь ты понимаешь, почему знаменитый панцирь должен принадлежать Тузарову? Ибо — аллах свидетель — велики заслуги родоначальника нашей фамилии. У нас на него гораздо больше прав, чем у Шогенуковых. Тамбиевы — не в счет. Не сумели сохранить ни религию своего героя-предка, ни княжеское достоинство. Оба их рода вялы и малоподвижны.

— Если бы отец позволил мне самому отбить панцирь... — застенчиво проговорил Канболет.

Голос Тузарова-младшего, грубоватый и низкий, никак не вязался с его нежным лицом, так легко выдававшим все чувства: добрые, чуть задумчивые глаза, обрамленные густыми ресницами; прямой нос, не короткий и не длинный; губы — как у девушки, розовые, слегка припухлые; подбородок — плавно закругленный, на нем и щетина пробивалась лишь на третий день после бритья; черные усы — их кончики уже немножко свешивались ниже уголков рта — были еще юношески мягкими и пушистыми.

Каральби нарочито бесстрастным взглядом окинул фигуру сына: ладный парень — широкие плечи, выпуклая грудь, тонкий стан... Невелик, правда, ростом, зато сколько легкости в движениях, сколько стремительной силы в руках и ногах! Он всегда успеет ударить дважды, прежде чем сам получит хоть один удар. Каральби вдруг подумалось, что если бы Канболет превратился в коня, то из него вышел бы такой хоара, какому не было бы цены. От этой мысли Тузарову стало и смешно и немного стыдно, но все равно приятно. Он позволил себе улыбнуться и сказал сыну:

— А я и не собираюсь гоняться за «тощим волком», который на самом деле очень упитанный. Панцирь носить тебе, ты его и добывай. Мне уже поздно. Учти, однако, что впервые ты облачишься в знаменитые доспехи на следующий день после женитьбы.

Канболет покраснел и кивнул головой.

— Слушай еще. Хагура надо обязательно перехватить по дороге к Шогенукову. Если он поспеет к своему князю, тогда прощай панцирь. Что у тебя с собой? Так... Ну, этого достаточно.

Хотя недалеко и ненадолго отлучился джигит от своего дома, но основное оружие привычно держал при себе: на поясе — кинжал и сабля, на голове, под шапкой — мисюрка — прикрывающая темя своеобразная стальная тарелочка с прикрепленной к ней кольчужной сеткой-бармицей. Конь был под седлом, а к седлу приторочено добротное ружье — эрижиба.

Сверху раздался лошадиный топот, и конь Канболета весело заржал, встре-

чая четырех всадников, спускающихся к реке. Впереди ехал на рослой широкогрудой лошади огромный человек лет тридцати пяти с невероятно массивным торсом и крупной головой на короткой и толстой шее. На лице его тоже все было крупным и массивным — и нос, и губы, над которыми воинственно топорщились рыжие густые усы, и надбровные дуги, и серые широко расставленные глаза, и выпирающие скулы, и крепкая нижняя челюсть с коротко остриженной бородой. Вот только имя у него было Шужей, что, как известно, означает «маленький всадник». Спутники его были помоложе и особенными приметами своей внешности не отличались. Вес они спешили и подошли поздороваться с Тузаровыми.

— Почему не взяли Хамишу? — спросил Каральби. Шужей вместо ответа на вопрос сердито засопел, а его задушевный друг Нартшу, любивший подшучивать над немногословным товарищем, рассмеялся и сказал:

— Лучше спроси, Каральби, почему наш кроткий Шужей не погладил Хамишу *(это распространенное и в наше время имя означало в переводе на русский язык «волк-медведь»)*. Однако теперь, словом «ха» называют не волка, а собаку. Волк стал обозначаться словом «дугуж», что значит просто «серый») своей мягкой ладошкой. Шужей говорит: «Седлай коня!», а этот «волк-медведь», любопытный, как кошка, спрашивает: «Куда едем?» Тогда Шужей, который не любит отвечать на подобные вопросы, приказал ему оставаться дома.

— Ладно! — махнул рукой Канболет, — справимся и впятером.

Каральби взял поводья своего коня у сына и сказал:

— Теперь поторапливайтесь. Удачи вам.

Тузаров поднялся на высокий откос и провожал взглядом всадников, пока они не переправились через речную долину и не скрылись в темных лесах по ту сторону реки.

Возвращаясь домой, он думал: а не стоит ли завтра на рассвете поехать к большому князю Кабарды Курго-ко Хатажукову и рассказать ему все? Ведь этот вероломный Шогенуков может напасть на тузаровский дом, когда узнает, что панцирь уплыл из его рук, еще не коснувшись их. А Кургоко мог бы предупредить возможный набег...

* * *

«Сказав «догону», вслед за солнцем не иди», — говорят в народе. Но Канболету как раз и надо было идти на заход солнца и нагонять упущенное время. Селение князя Алигоко лежало в стороне от дороги, по которой Адешем скакал от Бабукея к Тереку, но если двигаться напрямую, то к Тузаровым Шогенукей гораздо ближе, чем к Бабуковым. Канболет надеялся еще, что вряд ли Хагур отправился в путь сегодня утром, после обильного застолья. Скорее всего даже, он поедет к Шогенукову завтра.

Узкими лесными тропами Канболет и его люди ехали всю ночь. Перед самым рассветом миновали стороной алигоковское селище. Там было тихо и спокойно. Судя по всему, никакие гости сюда еще не заявлялись.

Маленький отряд Канболета продвинулся десятка на полтора ружейных выстрелов вперед по дороге, где следовало ожидать скорого появления Хагура Бабукова. Краденый панцирь, конечно, будет при нем.

Солнце, вслед за которым пошел вчера Канболет, уже начало подниматься у него за спиной, но дорога оставалась пустынной. Ее отлично видно: она тянется вдоль опушки леса, между сплошной стеной деревьев и чуть покатыми склонами травянистой возвышенности.

Здесь, за островком высокого терновника, и устроили засаду.

Канболет с наслаждением вдыхал бодрящий утренний воздух и любовался окрестностями. Да-а... В очень красивом месте должна была вспыхнуть ожесточенная мужская драка. Прямо под кронами столетних дубов, начавших ронять

свою багряно-желтую листву на еще зеленую травку, бойко выбросившую новые свеженькие побеги после первых, еще теплых, осенних дождей. От этой травки и все необозримое плоскогорье кажется только что выкрашенным в чистую сочную зелень. И великий, сверкающий под утренними лучами солнца Ошхамахо будто пододвинулся вплотную к этому плоскогорью и мирно теперь покоится на плоской вершине ближайшего холмика.

Канболет вдруг вспомнил, что до сих пор не сообщил друзьям о цели поездки. И едва он успел это сделать, как вдали показалась группа всадников. Они ехали размеренной крупной рысью и, видимо, не очень торопились.

— Восемь человек, — небрежно бросил Нартшу. — Я думал, будет больше.

Канболет немного подумал и распорядился:

— Нартшу, мы выезжаем с тобой на дорогу. Остальные пока останутся в кустарнике. Шужей! Следи внимательно, сам выберешь время, когда удобнее всего будет вмешаться вам троим... Все-таки жаль, что Хамишу не взяли...

Бок о бок с Нартшу Канболет не спеша выехал на дорогу и остановил коня.

Хагур с Идаром, скакавшие впереди, первыми увидели незнакомых джигитов, преграждающих им путь. Впрочем, Бабуков, знавший Каральби и сейчас встретивший молодого человека, так на него похожего, сразу понял, с кем имеет дело. Однако решил не подавать пока виду.

— Эй! Кто там стоит на пути Бабукова, а значит, и на пути князя Алигоко?

Взяв в правую руку кольчугу, висевшую у него на луке седла, и поднимая руку вверх, Канболет зычно прогудел своим раскатистым басом:

— Я тот, кто каждому хочет вернуть свое: Тузарову — панцирь, а Бабукову — его ржавое имущество.

Хагур побагровел от гнева:

— Этот подтелок с голосом быка слишком самоуверен! Я боюсь, что его отец скоро останется без наследника.

— Ты лучше бойся, как бы твой сын слишком рано не вступил в наследственные права, — не удержался насмешник Нартшу.

(Всадники Бабукова стали полукругом позади Хагура и Идара.)

Шогенуковский уорк терпением не отличался, и вот уже тяжелый бердыш с остро отточенным лезвием полетел в голову Канболета. Молодой Тузаров легко увернулся и послал своего коня вперед. Хагур успел лишь до половины вытащить саблю из ножен: в воздухе просвистела старая кольчуга и со страшной силой хлестнула Бабукова по лицу. Полуослепший от крови, залившей глаза, со сломанным носом и разбитыми губами, он повалился на шею лошади. Второй раз Канболет хлестнул уже лошадь, но прежде чем она понесла почти бесчувственного седока, ловко сорвал притороченный к седлу полотняный мешок с панцирем. Идар, воин, убеленный сединами, чуть замешкался, с удивлением наблюдая за действиями столь неожиданного наступательного оружия, как ржавая кольчуга, и тут же был наказан: Нартшу вихрем пронесся мимо него, захлестнул по пути арканом и сбросил на землю.

Свита Бабукова злобно завопила и всей гурьбой, мешая друг другу, кинулась на Канболета. А он вертелся среди врагов волчком, размахивая все той же кольчугой и подставляя под удары сабель мешок с панцирем: сталь гулко звенела, лошади возбужденно ржали, Канболет громко смеялся, увлеченный азартом боя. Нартшу попался сильный соперник: с трудом удавалось отражать удары его клинка. Не помогала и хитрость, которая часто выручала Нартшу в подобных случаях. Бабуковец угадывал все обманные движения и ложные выпады, а ведь надо было как можно скорее от него отделаться, от этого верзилы вислоусого, и прийти на помощь Канболету. Нартшу забыл в пылу схватки о Шужее и еще двух парнях. Ах, как вовремя они выскочили! Ах, как приятно звучит голосочек Шужея — совсем, как у медведя, которого некстати разбудили:

— Э-ге-гей! Оставьте и на нашу долю! Сами всех не перебейте!

— А Канболет, глядите, еще с чьей-то морды содрал кожу! Нартшу на всю жизнь это запомнит! Ну, а ты, вислоусый, на-ка, получай! Плечо разрублено до кости — не скоро возьмешь оружие в длинные свои руки. Может, и голову заодно снести? Ладно, живи!..

Канболет неожиданно поднял коня на дыбы, развернул его назад и столкнулся лицом к лицу с молоденьким безусым парнишкой, который уже отвел руку для удара саблей сплеча.

— Придется мальчику щеголять с хорошей шишкой на темени, — сказал Канболет, уворачиваясь от клинка и в то же мгновение опуская мешок с панцирем на голову юнца. Парнишка сник, выронил саблю и медленно вывалился из седла. И снова Канболет круто развернул коня, но работы для него уже не было: этот ужасный Шужей с Нартшу и еще двумя тузаровскими людьми опрокинули одного бабуковца вместе с лошадьё, другого «ошеломили» ударом алебарды по его толстому шишаку, а третий сам концом сабли нечаянно зацепил по шее последнего нераненного товарища — грузного мужчины с черной бородой — и в отчаянии бросил оружие.

— Мне нравится, что никто не убит, — сказал Канболет.

Узкие хитрые глаза Нартшу весело блеснули при этих словах.

— Если в следующий раз наш молодой Тузаров будет сражаться не мешком, а женским платочком, то, пожалуй, он никого и не ранит.

— Хватит болтать! — рявкнул Шужей. — Надо собирать оружие.

Нартшу подошел с сидящему на земле Идару и снял с него аркан, а заодно и кинжал, и саблю, и зеркало — маленький нагрудный щит. Старый воин молчал, мрачно насупив брови. Шужей вертел в руках шишак, давший трещину от удара его алебарды, и тяжело вздыхал:

— Испорчен. Жалко. А ведь как раз на мою голову. У этого вот... кто его носил... такая же хорошая большая голова, как у меня.

Обладатель «большой хорошей головы» сам снял с себя оборонительные доспехи и начал помогать раненым. К нему присоединился и единственный счастливчик, который вышел из драки без единой царапины. Вислоусому и длиннорукому верзиле перевязывали плечо, чернобородому — шею, а тому джигиту, которого Канболет хлестнул кольчугой, обтирали лицо и прикладывали к коже мягкие тряпочки, смазанные медом.

— А где же Хагур? — спросил Тузаров и посмотрел вокруг. — Я должен вернуть хозяину его вещь.

— А вон там, на склоне холма, на зеленой травке, — откликнулся Нартшу. — Лежит, отдыхает...

Канболет увидел стоящую вдалеке лошадь, рядом с ней — и правда — лежал на земле Бабуков. Канболет поехал к нему.

Спешившись, он присел на корточки у головы уорка. Сплошная рана... Канболет вынул из-за отворота черкески кусок ткани и стал осторожно вытирать кровь. Порезов и ссадин было очень много, но все — неглубокие. Губы в трещинах, носовой хрящ сломан, а вообще — ничего страшного. Главное, глаза целы.

— А? Что? Как?

— Как? — переспросил Канболет. — А так. Подтелок забодал твоих быков. Только не беспокойся. С тобой был сын, что ли? Все живы.

— Почему? Вас только двое было?

— Нет, пятеро. Срамота...

— Ничего. Твои люди сражались хорошо. Почти все ранены.

Бабуков оттолкнул руку Канболета и приподнялся на локте. Увидел, как к нему бежит, задыхаясь, сын.

— Кольчугу свою заberi, — сказал Тузаров. — Хочешь, помогу тебе надеть?

— Прочь! — прохрипел Хагур. — Довольно с меня позора!
— Шлем свой ты где-то обронил, а твой бердыш и коня мы забираем на память.

— Замолчи, именем Зекуатхи (*бог плодов и дороги*) тебя заклинаю! Лучше убей!

— Оставайся с миром, Бабуков. Да будет аллах к тебе милостив.

Канболет вскочил, не касаясь стремян, на коня, подхватил поводья хагуровской лошади и поскакал к своим друзьям. Те уже были готовы двинуться в путь.

Нартшу, сверкая белозубой улыбкой, крикнул на прощанье:

— Не обижайтесь, доблестные бабуковцы! Оставшийся путь до селения пши Алигоко вам придется проделать пешком. Но для вас это будет нетрудно: вы пойдете налегке, не обремененные тяжестью оружия!

Только вернувшись домой, Канболет увидел наконец знаменитый панцирь. Сын отдал отцу мешок, порезанный в нескольких местах лезвиями ударявших по нему сабель, и коротко отчитался:

— Мы все целы. У них раненые есть. Пригнали восемь лошадей.

Тузаров кивнул головой и стал развязывать мешок. Канболет вдруг растерялся на мгновение, побледнел: а вдруг отец скажет, что не стоило рисковать из-за такого сомнительного приобретения...

Грубая ткань скользнула на пол. В свете факела и пламени очага голубоватым сиянием блеснула благородная сталь и засверкал рельефными выпуклостями золотой львиный лик.

Теперь отец побледнел, а щеки сына вспыхнули жгучим румянцем.

Глаза старшего Тузарова задержались на двух строчках старинной надписи: каждая строка — длиной с рукоять кинжала. Каральби вздохнул:

— Надо обязательно найти человека, который прочтет нам эти святыя слова, начертанные в самой Мекке... А пока я все-таки съезжу к Хатажукову Кургоко...

ХАБАР ПЯТЫЙ,
*доказывающий справедливость того изречения,
что волк жеребенка режет — на тавро не смотрит*

Алигоко Шогенуков, словно разъяренный зверь, упустивший добычу, метался по своему просторному, богато украшенному хачешу:

— Беспомощные бараны! Дали себя остричь! Дали обломать себе рога!! Тузаровский мальчишка, чтоб ему захлебнуться собственными соплями, увез панцирь!

Пристыженные стояли у дверей Идар и Хагур. Бабуков, с еще не засохшими ссадинами на лице, с пустыми, ничего не выражающими глазами, покусывал израненные губы, и капельки крови текли по его подбородку. «Он этого так не оставит, алчный пши, — думал Хагур. — Еще много крови прольется из-за мысырского панциря...»

«Пусть побеснуется, — думал Идар. — Он ведь не Шибла (*бог грома и молнии*), и его «молнии» нас не сожгут. Он даже непохож на барса, с которым любит, чтоб его сравнивали. Острый длинный нос, маленькие глубоко посаженные светло-коричневые глаза, тонкогубый рот, редкие, но острые зубы — ну точно шакал. Так и есть — шакал. Даже брови и усы какие-то грязно-бурые, цвета шакальей шерсти...»

По вискам князя струился обильный желтоватый пот. Он тяжело плюхнулся на скамью, снял белую войлочную шапку с меховой опушкой понизу и обнажил голову. Затем вынул платок и осторожно промакнул темя, покрытое кустиками коротко и неровно остриженных волос и пятнами полусохшей коросты. Из-за этой неприятной хвори Алигоко не мог брить голову, из-за нее же он получил в народе прозвище Цацха — Вшиголо-вый.

Шогенуков передохнул немного, надел шапку, и снова под сводами гостевой комнаты, называемой — на новый лад — «кунацкой», зазвучал резкий, дрожащий от гнева голос хозяина дома:

— Чтоб ваши ноги стали хрупкими, как тростинки! Отдали мой панцирь — и при этом никто не был убит! Никто! Ни одна скотина! — брызгал слюной Алигоко. — Каких наград вы после этого ждете от своего пши? Пара коровьев лепешек — вот достойная вам награда... На ваши ослиные головы — вместо шапок...

Идар скрипнул зубами, а Хагур глухо застонал и с трудом выдал из себя:

— Хватит, князь... Надо в дорогу собираться. Мне жизни не будет, пока я не увижу панцирь на твоей груди!

— И он меня еще учит! — зло усмехнулся Шогенуков. — Сам знаю, что пора «в гости» к Тузарову. Идите, собирайте людей побольше. Возможно, к нам Мухамед Хатажуков присоединится. У меня встреча с ним сегодня.

Облегченно вздыхая, уорки быстро покинули дом князя.

Встречу со своим приятелем Мухамедом, младшим братом большего князя Кабарды Кургоко Хатажукова, Вшиголовый отложить не мог. В условленном месте на берегу Баксана их ждал знакомый, торговец-татарин из Суджук-Кале. Они намеревались продать ему, как это уже не раз делали, несколько девушек и ребят-подростков.

Да, торговля людьми считалась хотя и не похвальным, но вполне законным промыслом. Впрочем, к любым торговым сделкам почти все кабардинские князья относились в то время с презрением. Даже лошадей они стеснялись продавать. Большинство из них лишь обменивало коней, иногда и унаутов, на оружие, на дорогие ткани, на серебряную посуду. Не каждый князь знал цену деньгам. Монеты, отчеканенные в Турции и других странах, были для большинства просто золотыми и серебряными кружочками, которые можно плавить, ковать, делать из них

филигранные женские украшения, оклады, для кинжальных и сабельных ножен, бляшки для поясов и конских уздечек.

А Шогенуков торговать не стеснялся. И цену деньгам знал преотлично.

Как правило, ни один князь не ведал, сколько там у него овец или коров, сколько зерна или овощей выращивают крестьяне на его земле. Больше того: не знал, сколько в точности земли принадлежит ему и сколько его крестьянам.

А Шогенуков умел вести счет своим богатствам. И он знал, что даже тощего ягненка, мерку проса и горшочек меда можно превратить в деньги. В те самые деньги, которые пши Алигоко очень любил. Он чаще других: встречался с татарскими мурзами и оборотистыми купцами, побывал однажды в Крыму. Видел он там, в Бахчисарае, роскошные дома знатных ханских сановников и понял, как много значат деньги. Главное, он понял, что надо иметь очень много денег, очень много золота. И Шогенуков стал одержим редкостной для этих простодушных доморощенных князей страстью — страстью накопительства. О! Шогенуков не был простодушным, и курдюк у него отрос порядочный. Ему еще не особенно отчетливо представлялось, как он использует в будущем груды накопленных монет. Когда он задумывался об этом, в его воображении возникал пышный Бахчисарай с белокаменными степами, мраморными бассейнами и тенистых садах, тяжелые златотканые одежды вельмож, яркие ковры, оружие, оправленное в золото и усыпанное драгоценными камнями; в его ушах звучали непривычная, но сладостная музыка, льстивый хор восторженного славословия и нежные голоса прекрасных обитательниц гарема. А еще Алигоко надеялся, что деньги помогут ему (пока не знал он, правда, каким образом) стать большим князем Кабарды. Не любил он Хатажукова. И не только за то, что Кургоко был избран большим, но и за то, что Кургоко действительно превосходил других князей по уму и с достоинством носил свою шапку.

С младшим братом Кургоко — Мухамедом — Шогенуков дружил. У него нашлось много общего с этим спесивым и несдержанным человеком. Мухамед тоже был равнодушен к заманчивому блеску золотых монет и тоже недолюбливал брата, хотя и старался это скрывать. Мухамеда и Алигоко сближал еще возраст — обоим недавно минуло по тридцать семь лет.

Хатажуковы имели еще одного брата — Исмаила. Этот был средним — на три года старше Мухамеда и на пять лет моложе Кургоко. Болезненный и мало-мощный, он увлекался, будучи ревностным мусульманином, лишь чтением Корана и душеспасительными беседами с заезжими грамотеями из Крыма и Турции. Братья, такие же, как они себя считали, правоверные, относились к Исмаилу один со снисходительным сожалением, другой — с притворным сочувствием: вся сила в ученость уходит... Княжеское ли дело в китабах копать?

Готовился принять ислам и Алигоко. Только он, конечно, и не думал тратить время на изучение арабской грамоты. С него достаточно было и того, что он отлично знал язык крымских татар, таких же стойких мусульман, как их покровители — турки. Потом можно будет запомнить несколько изречений из Корана, две-три короткие молитвы — и делу конец.

Пока Крымское ханство имеет влияние на Кабарду, принятие ислама для Шогенукова будет нелишним, если он хочет стать главным князем.

Алигоко снял с опорного столба кольчугу, еще новую, поблескивающую тонкими стальными звеньями, и впервые без удовольствия надел ее на себя. Узнав о панцире Мысроко, князь потерял покой: он знал, что не успокоится, пока столь драгоценная вещь не попадет в его цепкие руки. Ведь эта — нет, не драгоценная, а бесценная — вещь сулила ее обладателю неслыханное богатство и, наверное, огромную власть. При этой беспокойной мысли в душе князя тяжелым хмельным дурманом начинала клочкотать злоба, дыхание становилось прерывистым, а на тонких бледных губах пузырилась горячая пена.

О, Тузаровы! У-у-у, Тузаровы!..

Всю дорогу до Баксана Алигоко-Цацха ехал молча, не глядя по сторонам. Временами он вырывался вперед, и мерный топот без малого двух сотен копыт, и сухой скрип дюжины тележных колес звучали все глуше и слабее, и когда почти совсем затихали, нетерпеливый пши с досадой сдерживал коня.

К заходу солнца Шогенуков вместе со своей внушительной свитой и десятком невольников был уже на месте. Здесь, у замшелой каменной глыбы высотой в три человеческих роста, его ждали Мухамед и Абдулла — известный по всему Кавказскому побережью татарский купец.

— С благополучным прибытием, — равнодушным тоном приветствовал младший Хатажуков своего приятеля. — Надеюсь, путь твой не был ничем омрачен?

— Мой путь начнется только сегодня. С этого места, — с загадочной многозначительностью ответил Шогенуков.

Мухамед ухмыльнулся:

— Так ты не случайно прибыл сюда с целым войском!

— Ладно, Мухамед! Об этом после. — Алигоко подошел к торговцу, заговорил с ним по-татарски:

— Мир тебе, купец. Я верю, что аллах по-прежнему благословляет твою торговлю и ты в состоянии платить хорошие цены.

На сморщенном, как сушеная груша, личике старого Абдуллы появилась хитрая улыбка, обнажившая несколько черных гнилых зубов.

— А я верю, что твои дела, любезный пши, тоже идут хорошо, — тоненьким голоском начал купец, — и ты по-прежнему в состоянии предложить товар, который стоит хороших денег.

С трудом сдерживаясь, чтобы не плюнуть, Алигоко бесцеремонно смерил взглядом удивительную фигуру купца. При длинных и тонких руках, тонкой шее и тонких кривых ногах Абдулла имел круглый объемистый живот. С левой стороны, над широким шелковым поясом, его живот оттопыривался далеко вперед: Алигоко знал, что там, за отворотом стеганого халата, лежит большой кошель с деньгами. Абдулла засунул туда же, за пазуху, чубук, предварительно вытряхнув из него погасший пепел, и засеменил к шогенуковским арбам — смотреть живой товар. Князь пошел следом за ним. Наверное, думал он, этот торгаш мог бы поспорить своим брюхом со знаменитым Берсланом Джанкутовым. Ведь как давно жил Берслан, а вспоминают о нем до сих пор. И в первую голову вспоминают не о том, что этот князь был сказочно богат, что разделил народ и благородно рожденных на сословия, а о том, что он тот самый пши Берслан, у которого «брюхо, как студень». До чего же непочтительными бывают эти народные гегуако... Им только попадись на язык!

Мухамед уже закончил свои торги с Абдуллой и теперь прислушивался к переговорам купца с Алигоко. Князь, чувствовалось, спешил и, против обыкновения, не слишком рьяно отстаивал назначаемые им цены. Нетерпение Шогенукова передавалось и Мухамеду. Интересно, что затевает его приятель? Не грабить же пузатого торгаша? У Абдуллы сильная охрана, да к тому же на всем его пути — адыгские кунаки. Алигоко и Мухамед — тоже его кунаки. И дают ему провожатых, которым приказано в случае чего действовать именами своих князей. Кроме всего прочего, Абдулла — родственник грозного Алигота-паши, крымского сераскира. Не дай аллах рассердить Алигота. Все адыгские племена знают, что этот паша — внимательные уши, подозрительные глаза и загребущие руки самого хана.

Некоторые девушки-невольницы тихо плакали, мальчики-подростки сидели насупившись. Шогенуков и купец утешали их (слезы портят красоту) рассказами о сказочной жизни во дворцах Крыма и Турции, о богатых одеждах и веселых развлечениях. Мальчикам пророчили будущее знаменитых воинов, скачущих на

чистокровных арабских жеребцах и рубящих головы врагов золотыми саблями. И успокоить большинство продаваемых, как скот, унаутов не составляло особого труда...

— Хорошие девушки, — сказал Абдулла, звеня монетами. — Одну из них я подарю знаменитому родичу Алиготу-паше. — Произнося это имя, торговец важно задрал голову и замер, чуть прижмурился глазами.

Мухамед, подавляя гримасу брезгливости, рассмеялся:

— Ты всегда так говоришь, Абдулла. Скоро в гареме твоего родича жен будет больше, чем имел Сулейман ибн-Дауд!

Купец обиделся:

— Нехорошо смеяться над тем, кто платит вам гораздо щедрее, чем другим князьям.

— Ну хватит пустых речей, — с деловитой торопливостью сказал Алигоко. — Купцу пора ехать. Да и мы тоже не собираемся оставаться здесь и играть в альчики.

— Если у вас что-то еще будет, так знайте: я немного задержусь у Тамбиевых, тех, которые живут на реке Балк, — птичьим своим голоском пропищал Абдулла.

Шогенуков отвел Мухамеда в сторону, поближе к шумному речному потоку, и рассказал ему о найденном тамбиевском панцире, так вероломно вырванном у него из рук обнаглевшими Тузаровыми.

— Присоединяйся ко мне, друг, — предложил Алигоко. — Хоть у тебя людей втрое меньше, половина... нет, три четверти добычи — твои. Разумеется, кроме моего панциря.

Мухамед сразу же согласился. Панцирь... Ну, там видно будет. Мало ли что может случиться в разгаре резни. Шогенуков тоже не бессмертен... Панцирь... Мухамед вдруг стал чуть рассеянным, задумчивым. Он вспомнил о добром отношении Кургоко к Тузарову Каральби. Вспомнил еще, что старший брат и так недоволен им, Мухамедом, за его увлечение торговыми сделками. Как оправдываться потом, после набега на Тузаровых? А стоит ли именно сейчас мучить голову свою такими неприятными мыслями? Уж лучше подумать, когда дело будет сделано. И вообще пусть Алигоко думает больше: это его затея. Он хитрый, как шакал, выкрутится. Мухамед искоса взглянул на едущего рядом с ним князя: острый нос хищно выдается вперед, рот приоткрыт, видны острые редкие зубы. «И морда у него шакаля», — с удовлетворением определил Хатажуков.

Сам-то Мухамед красив и в глубине души гордится своей внешностью. Все братья Хатажуковы красивы. Глядя на них, любой знающий человек сказал бы: «Вот настоящие кабардинские лица!» А в чем особенность кабардинского мужского лица? Тот же знающий человек ответил бы: «А в том его и особенность, что никаких особенных отличий в нем нет. Глаза большие, темно-карие, с правильным разрезом, скулы и надбровные дуги не выпирают, но и не сглажены, нос прямой, средней длины, губы не тонкие и не толстые, подбородок не выдающийся, но и не скошенный, брови и усы обычно черные, густые, кожа белая с румянцем — все в этом лице не крупно и не мелко, не грубо и не слишком мягко, все соразмерно и четко».

Отклонения в те или иные стороны, разумеется, встречались. (Самый близкий у нас образец — Алигоко Вшиголовый). А вот братья Хатажуковы, отец и сын Тузаровы, Идар и его кан — бабуковский сынок — являли собой носителей истинно адыгского облика. Естественно, что двух совершенно похожих лиц (если речь не о братьях-близнецах) быть не может. Ибо каждое лицо аллах метит особой печатью. А краски для каждой печати добываются и смешиваются из забот жизненных, больших или малых; из характера человеческого, доброго или злобного; из путей-дорог, легких или трудных; из любви, счастливой или безответной; из со-

вести, чуткой или глуховатой.

Если на лице Кургоко можно было сразу различить печать доброты, мужества и тревожных раздумий, а на лице Исмаила — такой же доброты в сочетании с непонятным беспокойством и неустойчивостью характера, то на лице Мухамеда давно уже застыло выражение себялюбивой надменности, чванливо-капризного упрямства и жестокости.

Когда Мухамед подумал о старшем брате, он вспомнил и среднего. Исмаил всегда навевал на него тоску своими благочестивыми рассуждениями. Приходилось терпеть, делать вид, что внимательно слушаешь, и мечтать при этом: «Хоть бы ты подавился, зануда несчастный!»

Мухамед решил сначала, что ему просто почудилось: позади раздался громкий голос Исмаила:

— Остановитесь! Стойте, говорю!

«Что за шайтан! — досадливо поморщился Мухамед. — Только о нем подумал, как он уже тут!»

Алигоко и Мухамед остановили коней. Ехавшие за ними всадники — тоже. Но Шогенуков сделал Хагуру знак, чтобы все продолжали путь.

— Мы вас догоним, — сказал князь. — Шагом поезжайте.

Подъехал Исмаил. И лошадь и всадник тяжело дышали. Из-за спины Исмаила выглядывал мальчик лет девяти, сидевший на крупе коня.

После взаимных приветствий Исмаил спросил строго:

— Куда это вы направляетесь? Не к Тузаровым ли? Алигоко обнажил в насмешливой улыбке свои зубы: — Это Коран учит задавать такие «скромные» вопросы?

И без того бледное лицо Исмаила побледнело еще больше:

— Ни Коран и ни адыге хабзе не учат зубоскалить, когда говоришь со старшими. А задаю вопросы не я, а Кургоко — большой князь Кабарды. Это он послал меня...

— А откуда Кургоко узнал... — не выдержал было Мухамед.

Исмаил метнул на брата гневный взгляд:

— Помолчи! С тобой дома поговорят. А тебе, князь Шогенуков, велено передать вот что. Никаких споров, а тем паче резни с Тузаровыми не затевать. Старый Каральби был сегодня у нас. Кургоко знает о панцире. Ты понял?

Шогенуков задумчиво посмотрел по сторонам. Его отряд уже скрылся за поворотом лесной дороги. С Исмаилом тоже никого не было, если не считать мальчика. Уклоняясь от ответа, Алигоко сам задал вопрос:

— Ты что, Исмаил, один приехал?

— Да, мне пришлось выехать так поспешно! Не стал никого собирать. Боялся, не догоню тебя.

— А этот парнишка?

Исмаил простодушно улыбнулся:

— Да ведь это Кубати, сын Кургоко. Бегал в лесу с детьми своего аталыка, отбил от них, заблудился. Герой! Увидел следы медведя и пошел зверя искать со своим кинжальчиком и детским луком. Чуть стемнело — следы потерял. И хорошо, что потерял. На дорогу он сумел выйти, да топал не в ту сторону. В это время я на него и наткнулся. Завезем его к аталыку на обратном пути. Кстати, Алигоко, наш брат просил тебя приехать к нему... Куда это люди твои подевались?

— Послушай, Исмаил, — тихо сказал Шогенуков. — Ты умный и добрый. Я тебя очень уважаю. Можно с тобой поговорить как с мужчиной?

— Говори... — Исмаил недоуменно пожал плечами.

— Попросить я тебя хочу об одной услуге... Просьба совсем пустяковая...

Скажи брату, что ты нас не догнал, не нашел.

— О, аллах! Что я слышу?! — возмутился Исмаил. — С каких это пор лжи-

вость языка стала признаком мужских достоинств? Не шутишь ли ты, Алигоко?

Алигоко покраснел: нет, не от стыда — от злости.

— Я не шучу, — сказал он сквозь зубы. — Разве тебе не хочется получить щедрый подарок?

— Теперь меня еще и подкупаю?! — задыхаясь от возмущения, крикнул Исмаил. — Кубати! Закрой уши! Тебе не надо знать, до какой низости могут опускаться мужчины!

— Послушай, брат! — снова вмешался Мухамед. — Что тебе стоит выполнить нашу просьбу?

— Заговорил снова, мерзкий барышник?! И для тебя мужская честь не дороже кумгана, который ставят в нужник?

— Не слыхал я еще таких оскорблений, — прошипел Алигоко, обращаясь больше к Мухамеду.

Младший Хатажуков, способный в припадке ярости терять голову, подъехал к брату вплотную и заорал:

— Потихе, бабская твоя душонка! Что ты понимаешь в мужской чести? При виде крови у тебя в штанах мокро становится!

— Неслыханно, — упавшим голосом пробормотал Исмаил. — Это старшему...

В воздухе просвистела плеть и задела слегка по красивому лицу Мухамеда. Исмаил замахнулся и второй раз, но в то же мгновение тяжелый кулак брата, одетый в кольчужную рукавицу, вломился ему в левый висок. Исмаил уже не почувствовал, как он летел вниз головой с коня на землю, как хрустнули его шейные позвонки, и не услышал, как пронзительно, словно раненый медвежонок, закричал Кубати.

Мухамед спешил и в оцепенении застыл над братом. Хотел проглотить какой-то колючий комок, но это ему никак не удавалось — в горле было сухо.

Вдруг прозвучал отчетливый голос Алигоко:

— Не догнал нас Исмаил, не нашел. Мы ничего не знаем.

— А этот? — хриплым голосом спросил Мухамед и показал на своего и Исмаила родного племянника.

Шогенуков пересадил мальчика на холку своего коня. Кубати был теперь, после первого потрясения, присмирившим и безучастным.

— Оттащи убитого в лес. — Алигоко не старался подыскивать более мягкие слова. — Недалеко, на несколько шагов, чтобы труп можно было легко найти.

Мальчишку я пока подержу.

Выйдя опять на дорогу и садясь на коня, Мухамед спросил снова:

— А с ним что? Шогенуков спокойно сказал:

— Абдулла... Он ведь немного задерживается у Тамбиевых...

— Ага! — кивнул Мухамед. — А насчет?..

— Насчет Исмаила? Разве не все ясно? Исмаил встретился с Тузаровским сыном, стал требовать у него панцирь, поссорились, ну и... Канболет его... Мы ведь наткнулись на Исмаила, пока он был еще жив, правда? Вот перед смертью он сам нам это все и рассказал.

— Это хорошо, но только...

— Только теперь нам нельзя оставлять Канболета в живых. Верно?

— Да. Над ним уже занесен неотвратимый меч Азраила (*ангел смерти*). И этот меч — я! — напыщенным тоном изрек Мухамед, чувствуя, как его сердце переполняется жгучей злобой.

Сейчас он люто ненавидел не только ничего не подозревавшего Канболета. Подобно всякому жестокому и высокомерному себялюбцу, совершившему подлое убийство, он готов был возложить вину за свое преступление на кого угодно — на всех Тузаровых, на Алигоко, на Абдуллу, на маленького Кубати, на покойных

предков и на неродившихся потомков. Жажда мести вспыхнула в его душе и зло-вещим пламенем заплескала в глазах.

Теперь он должен был в слепой ярости, в ненасытном безудержном порыве убивать и убивать без конца — резать, рубить, колоть: чем больше крови, тем нестерпимей стремление проливать ее снова и снова, будто кровь новая покроет и заставит забыть старую.

Проницательный Алигоко отлично понимал состояние своего приятеля и тихо радовался: с этого дня Хатажуков-младший может стать, сам того не подозревая, цепным псом князя Шогенукова. И такому псу цены нет, думал Алигоко Вшиголовый, только обращаться с ним, шайтаном зубастым, надо будет очень умело и осторожно.

* * *

Возвращаясь от Кургоко Хатажукова, старший Тузаров, в сопровождении дюжины всадников, ехал прибрежным Надтеречным лесом и был уже недалеко от брода — напротив собственной усадьбы.

Осеннее послеполуденное солнце, ярко светившее с чистейшей лазурной эмали высокого неба, изливало на лесные заросли и лужайки нерасчетливую щедрость — видно, последнюю в году. Лес с его густыми широколиственными кронами, все лето хранивший прохладную тень, к середине осени сбросил багряно-золотистую парчу сухой листвы, стал свободным, прозрачным, и теперь каждое дерево — вековой ли дуб или молоденькая ольха — от корней до верхушки было облито теплым прощально-ласковым светом.

Каральби держал наготове ружье, заряженное мелкими кусочками свинца и кремня: поближе к реке, в облениховых и терновых рощах, водились фазаны. И вот уже первый краснохвостый и синегрудый щеголь-петух, шумно вспорхнув чуть ли не из-под самых копыт лошади и гулко хлопая крыльями, взвился вверх. Каральби не успел даже вскинуть к плечу свой длинноствольный «алей»: фазан уже нырнул в чащу кустарника. «Собрался стрелять, так ни о чем другом не думай», — сердясь на самого себя, пробормотал Тузаров. Л думал он сейчас не о дичи, а о недавнем разговоре с большим князем. Кургоко принял старого тлекотлеша по-дружески, выслушал внимательно. Говорил, что не допустит никаких кровавых бесчинств из-за панциря, будь он хоть весь из чистого золота и весь испещрен аятами — стихами из Корана. Но как избежать споров и взаимных обид? Не лучше ли устроить веселый праздник со скачками, стрельбой и другими игрищами, где каждый сможет показать свою силу, отвагу, ловкость? Пусть все желающие примут участие в состязаниях, и панцирь будет наградой самому смелому и искусному, тому, кто лучше всех владеет конем и оружием.

Каральби Тузаров не очень охотно, но все же согласился с Хатажуковым. Каральби, он не из тех, у кого гордость переходит в высокомерие, а любовь к редкому оружию — в жадность. А еще он был уверен, что победителем в состязаниях все равно станет его сын Канболет. (Кажется, Хатажуков надеялся на победу брата своего младшего.) Князь переговорит еще с Шогенуковым, за которым он без промедления послал Исмаила, и тогда будет назначен день праздника.

Еще один фазан поднялся в воздух, но Тузаров и на этот раз не выстрелил: только взглядом проводил стремительный полет радужной птицы. Нет, явно не для охоты предназначал аллах нынешний день...

Каральби выехал на круглую поляну (за ней оставался еще один перелесок, а там — пологий берег Терека и широкий брод), выехал и удивленно вскинул брови — целый отряд вооруженных людей на потных усталых конях. Догадаться, что это за всадники, было нетрудно: конечно, шогенуковские люди. Да вот и сам Вшиголовый, а с ним младший Хатажуков. Удивительно одно: почему Исмаил не догнал их? Каральби приготовился к неприятному разговору о панцире, к разговору,

который должен был закончиться все-таки спокойно. Шогенуков поедет к большому князю и...

И все получилось совсем по-другому. С лицом, перекошенным от ярости, черным вихрем налетел на почтенного тлекотлеша Мухамед.

— Где твой выродок?! — заорал он. — Отвечай, ослиная падаль!!

За всю свою долгую жизнь Каральби ни разу не приходилось слышать, чтобы хоть кто-нибудь подвергался столь чудовищному оскорблению. Он почувствовал смертельный холод в груди, хотел что-то сказать, но губы его онемели, челюсти свела судорога. «Вот уж поистине, — думал Тузаров, с трудом втягивая воздух сквозь намертво стиснутые зубы, — саблей ранят — заживет, ранят языком — не заживет». Мухамед не стал ждать ответа на свой вопрос и взмахнул саблей. Но и сабельной ране не суждено было зажить: кончик клинка, казалось, чуть задел по ничем не защищенному горлу — из разрубленного кадыка фонтаном брызнула кровь. Раздался запоздалый, неприцельный выстрел из ружья, которое Каральби держал поперек седла; колючая дробь, нарезанная ножом, попала в чью-то лошадь — и та отчаянно заржала. И этот выстрел, и конское ржание были словно сигналом к началу схватки. Люди Тузарова, видя, как их хозяин медленно валится набок и падает на землю, закричали страшными пронзительными голосами и обнажили сабли. Им, окруженным с трех сторон, приходилось очень худо. Правда, нападающие, мешая друг другу, лезли в самую гущу и потому не могли использовать свое шестикратное преимущество. Некоторое время тузаровские джигиты успешно противостояли мощному, бестолковому натиску.

— Бей их! Бе-е-й!! — надрывался Мухамед, протискиваясь со своим конем в первые ряды атакующих.

Самый спокойный из всех участников побоища князь Алигоко стоял в стороне, на дороге, ведущей к броду, и держал наготове лук со стрелами: никто не должен был уйти отсюда живым. Сынишку Хатажукова — Кубати — он поручил пока заботам Хагура. Мрачный дыженуго с кое-как подсохшими ссадинами и царапинами на лице, с мучительно болевшим свернутым набок носом и не рвался в бой. Сына своего держал при себе. (Не много славы от этой позорной резни.) Сегодня утром он вдруг понял, что больше нет в его душе чувства почтительного преклонения перед князем. Бабуков и удивился этому, и слегка перетрусил, и даже разозлился: сначала на самого себя, а потом и на князя.

Крики людей и звон металла не ослабевали, хотя из десяти тузаровских людей осталось только шестеро. Дрались они так, как можно драться лишь последний раз в жизни, — мстили за подло убитого Каральби, мстили за свою близкую смерть. Уже семь трупов из отряда Вшиголового валялось под копытами их коней. Но держаться под напором такой массы всадников становилось все труднее. Лишь одному медведеподобному рыжеусому Шужею, казалось, все было нипочем. Массивный бердыш, который он вертел над головой легко, будто сухую хворостинку, то и дело обрушивался на шлемы врагов страшнейшими по силе ударами. Шужей все время стремился пробраться к Мухамеду, а тот с не меньшим рвением — на встречу, но сумятица схватки не позволяла им сблизиться. А тут еще старый Адешем, быстрый и пронырливый, случайно оказался как раз между Мухамедом и Шужеем. Размахивая легкой джатэ — прямой и короткой «колчанной» саблей, он задел ею храп хатажуковской лошади. Раненое животное резко взвилось на дыбы, а сабля Мухамеда, которая должна была разрубить пополам старика, со свистом рассекла воздух. Мухамед потерял равновесие и сильно завалился на правую сторону. Адешем вплотную столкнулся с грозным противником, обхватил его за шею руками и вместе с ним полетел на землю.

— Ха! — весело рывкнул Шужей. — Высокомерного орла в ловушку завлекла сова!

Мухамед, вскакивая на ноги и стряхивая с себя щуплого Адешема, который

сразу отлетел на несколько шагов, выхватил левой рукой из-за пояса пистолет и прицелился в Шужея.

— Подожди! — крикнул Шужей, слезая с коня. — Попробуем в пешем бою. Я тоже возьму саблю!

Но тут грянул выстрел, и рыжеусый пелуан (*великан, силач*) покачнулся, закашлялся. На его груди, чуть повыше сердца и чуть левее стального нагрудника, стало расплываться по серой ткани черескос темно-красное пятно.

— Адешем... — сильным голосом позвал он. — Скачи скорей... Канболету расскажи... Бери лошадь. Постарайся... быстро... Этому зубоскалу Нартшу, другу моему, передай...

Что хотел передать Шужей единственному человеку, которому он прощал все насмешки, осталось неизвестным. Мухамед ударил его саблей. Рубанул еще раз, уже лежавшего на земле. Затем еще дважды, уже мертвого... И не заметил младший Хатажуков, как старый Адешем проворно взгромоздился на крупного и рослого шужеева коня и, пользуясь тем, что теснимые с трех сторон тузаровцы были теперь прижаты к самому лесу, скрылся за деревьями. Это заметил Алигоко, но стрела, пущенная им с риском задеть кого-то из своих, пролетела мимо. Обозленный, он громко закричал:

— Кончайте скорее! Что вы там копаетесь, как ленивые коты!

Но его никто не слышал. Двое оставшихся в живых тузаровцев сдаваться не хотели. Откуда и силы брались! Вот упал, сраженный Мухамедом, еще один, а последний сам ринулся в атаку и успел, весь израненный, прихватить с собой в царство мертвых еще какого-то шогенуковского уорка.

Стало тихо. Каждый, наверное, задумался на мгновение о том, что произошло на этой солнечной лесной поляне, только что перепаханной конскими копытами и политой кровавым дождем.

Алигоко не позволил людям слишком долго предаваться размышлениям.

— Долго возились, — прозвучал его раздраженный голос. — Наших убито сколько? Девятнадцать! Клянусь Псатхой, если так побеждать, то некому будет делить добычу!

Над поляной послышались горестные вздохи, стоны и причитания уорков, потерявших сегодня родичей и друзей.

Мухамед, осматривающий рану на морде своей лошади («ничего страшного, слава аллаху...»), резко повернулся:

— Закройте всем рты! Тише! Не льют слезы по мужчинам, которые погибли в бою.

— Правильно! — отозвался Шогенуков. — Сейчас надо быстро, без лишних разговоров похоронить убитых и ехать дальше. Поход еще не кончен. Это была не битва, а ее начало. На том берегу Тэрча — проклятое тузаровское гнездовье. Старого ворона мы уже убили и теперь надо поскорей добраться до молодого, пока он еще ничего не узнал и не успел подготовиться.

— Тогда отложим похороны! — крикнул Мухамед. — Тут большинство язычников. Их погребальные костры да разные там обряды — слишком долгий таурих (*легенда, сказание [Заимствовано из тюркских языков]*).

— А по-мусульмански быстрее? — спросил Алигоко.

— Еще бы! — ответил Мухамед. — Закопать в землю и прочесть молитву. Для похоронного обряда в походных условиях достаточно и этого, — князь сознательно кривил душой: ему уже не терпелось добраться до Канболета.

Раздалось несколько негодующих возгласов, но Алигоко сумел успокоить недовольных:

— Новая одежда лучше, чем старая. Вот так же и новая религия. Даже я, ваш князь, решил перейти в мусульманство. И те, кому этого мало, пусть всю жизнь грызут старые, обглоданные кости. А сегодня слушать князя Хатажукова,

делать все, что он прикажет.

Когда были засыпаны неглубокие могилы воинов из отряда Алигоко, младший князь Хатажуков, взявший на себя обязанности муллы, заявил:

— Я по-арабски знаю из Корана немного, но этого хватит, нам на всех. — С трудом придав своему лицу какое-то подобие благочестивого смирения, он торжественно возвестил:

— Бисмилляхи рагмани рагим! *(Во имя бога милостивого, милосердного! [араб.])*

(При этих таинственных, жутковатых словах невежественные уорки, погруженные во мрак язычества, испуганно переглянулись и присмирели, придавленные гнетом чужой, недоступной мудрости.)

— А дальше так. Помнится, есть вот такая подходящая к нашему случаю молитва:

— Мы дали тебе Кевсерь... Э-э... значит, им, — Мухамед показал пальцем на могилы, — дадут Кевсерь. Это что-то такое хорошее, кажется, река в раю. Дальше. Обращаемся со своей молитвой к аллаху и приносим ему жертвы. Ненавидящие аллаха погибнут так, что от них не останется и следа. Все. Аминь.

(Уорки снова переглянулись, теперь уже слегка сбитые с толку и разочарованные.)

— Все? — спросил Шогенуков. — Ну и ладно. А то солнце скоро сядет.

— А с ними что делать? — Это хмурый Бабуков подал голос. — С тузаровскими... Так оставлять нельзя.

— И не оставим, — усмехнулся Алигоко. — Сказано же, «погибнут так, что от них не останется и следа». Как ты считаешь, Мухамед? Бросим в Тэрч и делу конец? И я так думаю. Тогда приказывай...

Несколько своих людей, в том числе и бабуковского сына, Алигоко отправил домой: они должны были отогнать лишних лошадей, и своих и чужих, и отвезти добытое оружие в княжескую усадьбу.

Когда начали переправляться на другой берег, день уже подходил к концу. Багровый диск заходящего солнца отражался в одной из тихих протоков реки — было похоже, что там опустили в воду боевой щит, покрытый горячей кровью.

Ехавший позади всех Бабуков с мальчиком на крупе коня вдруг громко вскрикнул, еще громче закричал Кубати. Все остановились и повернули головы. Лошадь Бабукова, отпрянув в сторону, сделала несколько торопливых шагов вниз по течению и неожиданно с головой ушла под воду. И тогда люди увидели, чего испугались животное и ее седоки: в воде плыла к берегу большая черная змея.

Лошадь скоро вынырнула, мощное течение понесло ее к середине реки. Ни Хагура, ни Кубати не было видно.

— Утонули, — сказал Шогенуков и вздохнул — то ли сочувственно, то ли облегченно.

— Будет им Кевсерь, — пробормотал Мухамед и на всякий случай добавил:

— Бисмилляхи рагмани рагим.

Старый вояка Идар побледнел, как саван — джебын, но не произнес ни слова. Он пристально вглядывался вдаль, по течению реки. Один раз ему показалось, будто там, возле излучины, где русло делает поворот, вынырнула чья-то голова. Может, мальчик не утонул? О Хагуре и думать нечего — куда ему в тяжелом вооружении... Скорее всплывет утонувшая подкова! Жаль Бабукова. Хоть и грубоватый был человек, да и головой пользовался больше для того, чтоб носить шлем, а не разум, все-таки он имел некоторое понятие о чести. Не в пример этим князьям...

Идар тронул пятками своего коня и последовал за отрядом, продолжавшим переправляться через Терек.

«Кевсерь... Кевсерь, — повторял он про себя. — Лучше быть живым на зем-

ле, на берегу Тэрча, чем мертвым в эдеме, на берегу Кевсеря...»

ХАБАР ШЕСТОЙ,
*напоминающий, что птичка малая
бывала причиной снежного обвала*

— Канболет! Где Канболет?! — кричал Адешем, вихрем врываясь во двор на мощном коне Шужея. — Хозяина! Скорей найдите мне хозяина!

Таким возбужденным и встревоженным старика еще никогда не видели, и потому его необычное беспокойство быстро передавалось людям, оказавшимся в этот час возле дома Тузаровых.

— Что случилось, дедушка? Говори, не терзай наши души! — всполошились женщины.

— Адешем, что за хабар у тебя за щекой? — деловито спросил кто-то из мужчин.

— Плохая новость, — неожиданно тихим голосом, почти шепотом, ответил табунщик. — Такая новость все равно что чума и пожар, да и то если они приходят вместе... Где Канболет? К нам приближаются пожар и чума... Пожар — это младший Хатажуков, бешеный Мухамед, а чумой называется Алигоко Вшиголовый, — Адешем помолчал немного, тяжело вздохнул и вдруг выкрикнул пронзительно, с болью:

— Каральби убит!! Все, кто был с ним, убиты! Да где же Канболет?!

Тихо стало во дворе. Все замерли, будто сговорились и по команде затаили дыхание. Одна из женщин горестно завопила, но тут же осеклась под колючим осуждающим взглядом Адешема.

Высокий длинноногий парень по имени Хамиша, тот самый, что вызвал гнев Шужея за свое любопытство, на этот раз ни о чем не спрашивал. Он подошел к коновязи, вскочил на своего крапчатого коня и поехал со двора. Обернувшись к старику-табунщику, сказал спокойным бесцветным тоном, будто ничего особенного не произошло:

— Канболет и Нартшу на охоту поехали. Говорят, в лесу, выше по реке, волчье логово кто-то видел. Я их верну, — Хамнша хлестнул лошадь и погнал ее галопом.

По-настоящему вооруженных мужчин, которые могли считаться полноценными воинами, в селении теперь оставалось два десятка человек. Простые крестьяне, носившие только кинжалы и не имевшие ни сабель, ни луков, ни оборонительных доспехов, в расчет не принимались.

Никаких планов предстоящей схватки — а в том, что она скоро будет, никто не сомневался — мужчины не обсуждали. Они лишь немного поспорили, как быть: выезжать навстречу княжеской полусотне или оставаться на месте. Решили остаться, потому что лошади оказались не у всех. Адешем хотел было предложить воинам разделить на две части и подождать нападающих, укрывшись с одной стороны — за конюшней, с другой — за высокой сапеткой-амбаром, а потом, когда шогенуковские всадники влетят во двор, неожиданно броситься на них с двух сторон сразу. Хорошо бы еще отдать все луки — их имели четыре джигита — тем парням, у которых нет лошадей, да послать эту «пехоту» с большим запасом стрел на крышу дома. Табунщик грустно усмехнулся своим мыслям: крепкий ляпс (*мясной отвар, бульон*) варится в твоём закопченном котле, пшикеу, вот только никто не согласится его отведать. Слыханное ли дело, чтобы воинственные петухи учились драться у селезня криволапного? Прятаться от врага за какой-то конюшней? Только женщин смешить! Лезть на крышу? Греться у трубы вместе с кошками и шипеть сверху, когда настоящие мужчины делом будут заняты? Слишком, говоришь, много врагов? «Мужчина не спрашивает, сколько врагов, а спрашивает, где они». Вот так, старый ты мерин Адешем, обычно и дерутся уорки храбро, отчаянно, но

бестолково и глупо, кто во что горазд. Конечно же, все они погибнут и, наверное, знают об этом. Однако никто не осмелится сейчас высказать мало-мальски здравое слово: предложить такой способ драки, при котором можно и отразить нападение и сохранить хотя бы половину жизней. Надменная мужская гордость не выносит подозрения в трусости; да что там в трусости — в простой осторожности! Такое подозрение хуже смерти, а к смерти вообще надлежит относиться с небрежной презрительностью.

Так что помолчи, Адешем, и лучше соберись с последними силами: ведь ты тоже не захочешь остаться в стороне от этого нового бессмысленного побоища...

Наступившие сумерки пришли вместе с холодным ветром из-за реки, первым по-настоящему осенним ветром, который уже нес в себе новые звуки и запахи. Потянуло терпким ароматом увядающих лесов, свежестью только что выпавшего в горах снега; ветер доносил и еле слышную переключку журавлиной стаи, невидимо пролетавшей где-то в недоступной вышине; страстный гортанный рев оленя с лесистого берега Терека — этот рев возвещал о начале осенних свадебных битв; а вот совсем близко прошумела мягкими крыльями целая туча диких голубей и опустилась за селом в поле, недавно разрешившемся от бремени обильного урожая проса. Уж так заведено в природе — все одно к одному. Среди людей — тоже... Все — одно к одному. И люди, собравшиеся на подворье Тузаровых, сейчас прислушивались совсем к другим звукам. Мерный топот коней они сначала как бы почувствовали всем своим существом, потом услышали и — почти одновременно — увидели силуэты приближающихся всадников. До берега было недалеко — расстояние одного ружейного выстрела. Кстати, у защитников тузаровского дома имелось всего одно ружье и в этот вечер из него был сделан всего один выстрел.

Родич старого тлекотлеша, грузный и медлительный Бот, сорокалетний мужчина с окладистой густой бородой, только что закончил долгую процедуру зарядания тяжелого русского самопальника и уложил массивный граненый ствол на перекрестие сошек. Три всадника, скакавшие впереди, уже покрыли половину расстояния между берегом и домом. Бот поднес тлеющий фитиль к запальному отверстию. Раздался оглушительный грохот. Запахло порохом и горелым волосом. Бот потрогал свою опаленную бороду и, бросив наземь громоздкое оружие, подошел к своему коню.

А в это время один из всадников шогенуковского отряда все ниже и ниже клонился набок, пока наконец не вывалился из седла. И уж так распорядилась судьба, что человеком, поймавшим свинцовую птичку своей грудью, оказался добрый Идар. Он еще утром хотел отговорить пши Алигоко от его жестоких намерений, но по мягкости душевной не рискнул высказать те слова, которые могли рассердить князя, подпортить ему настроение. Перед смертью Идар успел подумать о том, что теперь он вознагражден сполна за свою скромность...

А у дома Тузаровых уже началась кровавая свалка. И трудно было разобрать, кто нападает, а кто защищается. Падали под копыта лошадей смертельно раненные тела, раздавались хриплые выкрики, лязг металла, конское ржание. Бешеный Мухамед черным смерчем вертелся в гуще боя и, нанося удары направо и налево, орал страшным голосом:

— Где Канболет?! Тузаровский щенок! Выходи, не прячься!

Медлительный Бот, бормоча угрозы в подпаленную бороду, стремился встретиться лицом к лицу с Хатажуковым, но это ему долго не удавалось. Под ударами его длинной сабли навсегда спешили еще два шогенуковца, пока он не увидел прямо перед собой сверкающие звериной яростью огромные глаза Мухамеда. Боту показалось, что эти жуткие глаза вдруг начали увеличиваться, расти — вот они уже, как две желтые тыквы, как два серых мельничных жернова, вот они закрыли собой все небо, стали угольно-черными, потом подернулись зыбким мут-

но-розовым туманом. Бот ощутил на своем лице дыхание горячего ветра и почувствовал, как его грузное тело обрело легкость надутого меха и полетело куда-то ввысь, в мелодично звенящую пустоту. Сила и быстрота оказались на стороне Мухамеда. И уж если его клинок прогулялся по лицу противника, бесполезно приглашать лекаря.

Число сражающихся стараниями Хатажукова и двух-трех искусных в своем деле тузаровцев уменьшилось наполовину, а Канболет не появлялся.

Еще чудом оставался жив Адешем, обязанный своим везением рослому коню Шужея, который, отличаясь особой воинственностью, то и дело взвизывал на дыбы и бил чужих лошадей копытами. Неожиданно для Адешема у него снова произошло столкновение с Хатажуковым. Шужеевский конь грудью налетел сбоку на изящного чистокровного жеребца Мухамеда и повалил его на землю вместе с всадником. Изрыгая страшные проклятия и отплевываясь кровью от больно прикушенного языка, Хатажуков вскочил на ноги. Князь не помнил себя от бешеной ярости. Он не стал снова садиться на коня, а погнался за пролетавшим мимо стариком, догнал его в три прыжка и рывком выдернул из седла, как пучок травы из земли. Маленькая джатэ выпала из правой руки Адешема.

— Ах ты, рванный шарык! — скрежетнул зубами Мухамед. — От кого? От какого-то навоза я, князь, дважды терпел позор! — Хатажуков тряс табунщика, словно тряпичное чучело.

— Потерпишь и в третий раз, — прошептал Адешем и плюнул князю и глаза.

Хатажуков взвыл в отчаянной тоске и с силой швырнул старика на землю. Адешем откатился к плетню и затих — похоже было, что навсегда. Князь взмахнул саблей и бросился к нему, но вдруг в его шлеме что-то гулко звякнуло, ноги подломились в коленях, и он медленно опустился на землю.

Главный виновник всей пролитой сегодня крови Алигоко Вшиголовый, верный себе, и на этот раз не утруждал себя участием в побоище. Дождавшись того момента, когда тузаровцев оставалось всего пятеро, да и они должны были вот-вот погибнуть, Шогенуков решил начать поиски панциря: молодой тлекотлеш, скорее всего, оставил его дома. «Мухамед справится тут и без меня», — подумал князь и, перескакивая через трупы своих и чужих людей («своих опять больше», — отметил он про себя), направил коня прямо к дверям хачеша. Только он спешился, как двери распахнулись, и из гостиной вылетела какая-то высокая девушка. Не обращая внимания на Алигоко, она подбежала сзади к Хатажукову, поднимавшему в это мгновение саблю над неподвижным Адешем, быстро подобрала самопальник Бота, размахнулась, ухватив ружье за ствол, и со звоном обрушила тяжелый приклад на голову князя. Затем она отшвырнула самопальник в сторону и склонилась над стариком.

Впервые за последнее время Шогенуков, не без удовольствия наблюдавший за посрамлением сообщника, испытал необычное чувство. Сейчас им владела не злоба, не раздражение, не страх и вечное недовольство окружающими — сейчас ему было радостно и почему-то приятно. Но к новому чувству примешалась, разумеется, и неистребимая жажда обладания тем, чего он не имел, а имели, на зависть ему, другие. И теперь ему захотелось увезти отсюда не только драгоценный панцирь. Однако на первом месте был все-таки панцирь — и Шогенуков поспешил на поиски.

Адешем открыл глаза и увидел склоненное над ним красивое женское лицо.

— Очнулся, дедушка? — услышал он ласковый голос. Адешем едва слышно проговорил что-то непонятное.

— Что ты сказал, дедушка? Какая «арба»?

— Арба, говорю, все-таки перевернулась. И виноват во всем я.

— В чем ты виноват?

— Это кто тут со мной? А-а, Нальжан!

— Да, да, это я! Узнал?

— Узнал, — вздохнул старик. — Вот видишь, Нальжан, и маленькая птичка стала причиной снежного обвала...

— При чем здесь какая-то птичка?

— Это я — птичка.

— Оттащить бы тебя отсюда...

— Постой, Нальжан, наклонись пониже, — строго сказал Адешем, — о новом хозяйском панцире знаешь?

— А кто о нем не знает?

— Можно подумать, что Каральби каждую свою новость торопится поскорей сообщить всем женщинам, — усмехнулся старик.

— Нам не надо сообщать, — обиделась Нальжан, — мы и так все узнаем.

— Где лежит панцирь, тебе известно?

— А как же иначе? Разве не я слежу за порядком в доме?

— Значит, в доме... Найдет его шакал вшиголовый, найдет...

— Да о чем мы с тобой болтаем, старый ты ребенок! — возмутилась Нальжан. — Тут бойня кругом, наши почти все убиты... Ты встать можешь?

— По мне как будто конница проскакала, шевельнуться не могу...

Нальжан громко заплакала. Взяв Адешема под мышки, она поволокла его к амбару.

Острая боль вдруг пронзила спину старика и отозвалась в груди. Черная завеса упала на его лицо, и больше он ничего не чувствовал.

...Мухамед Хатажуков с трудом приподнялся на четвереньки и сел, мотая головой. А в голове будто шумел водопад и стучали копыта девяти лошадей.

— Что это было? — сердито прохрипел князь и снял шлем, на котором оказалась небольшая овальная вмятина. — Камень упал с неба?

Хатажуков встал на ноги и огляделся. Силы быстро возвращались к нему, он снова был готов к бою, но схватка уже закончилась.

— Эй, зажгите факелы! — крикнул Мухамед. — Не видно ни шайтана, совсем темно стало!

Мертвыми телами завален весь двор. Тузаровские люди перебиты все до одного. От нападающих осталось меньше половины.

Мухамед вырвал факел у одного из своих всадников и поджег плетневую ограду («будет посветлее»): сухие ореховые прутья загорелись ярким пламенем.

— Где Вшиг... где пши Алигоко? — спросил князь. Ответить ему не успели. Шогенуков появился в дверях хачеша. Он был мрачен.

— А-а! Мухамед? Живой? Понимаешь, нигде нет панциря! Надо поискать в другой части дома. Хатажуков злобно ощерился:

— Да уж, конечно, ты его заработал честно, этот панцирь!

— Но ты, мой любезный друг, еще честнее заработал шишку на темени, — ядовито огрызнулся Алигоко, приближаясь к Хатажукову.

— Шишку! — прогремел Мухамед. — Жаль, что все они убиты! Я бы тому, кто рубанул по моему шлему... я бы из него жаруму (*блюдо из требухи*) сделал и собак накормил!

Из темного амбара бесшумно выскользнула Нальжан и попыталась незаметно скрыться, но.. Шогенуков увидел ее, круто свернул в сторону и встал на пути у девушки. Нальжан остановилась, вызывающе посмотрела князю в лицо.

— То, что вы воюете со стариками, я уже знаю. Может быть, воюете заодно и с женщинами? — в глубоком грудном голосе Нальжан звучали откровенные нотки презрения и гнева.

Шогенуков побагровел от унижения, но, стараясь не подавать виду, что его задела слова женщины, с нарочито добродушной издевочкой обратился к Муха-

меду:

— Дорогой князь Хатажуков! Ты слышал, в чем нас обвиняют? А разве мы причинили хоть какой-нибудь вред здешним женщинам? Нет, не причинили. Я правду говорю, князь? Зато одна из них уже нанесла некоторый ущерб моему другу и брату Мухамеду, нисколько не считаясь с его высоким достоинством и священной неприкосновенностью его княжеской головы. А ведь эта голова...

— Постой! — грубо оборвал сообщника Мухамед. — Ты что там мелешь?!

— Вот видишь, что ты наделала, невоспитанная женщина! Разве можно так неловко обращаться с оружием? Ведь из него стреляют, а не дерутся, как дубиной. Теперь пши Хатажуков из тебя жаруму сделает...

Мухамед приблизился к Нальжан вплотную и с довольно непристойным интересом оглядел ее с ног до головы.

— Это она... меня? — процедил сквозь зубы бледный Хатажуков.

Нальжан смело встретила взгляд бешеных глаз кровожадного пши.

— Скорблю о том, что слабых моих женских сил не хватило на более сокрушительный удар.

— Уо! Вот что разговор! — притворно восхитился Алигоко. — Ничего, девушка, твоих слабых женских сил хватило на то, на что не хватило сил еще ни у одного мужчины. И это я говорю как верный друг нашего высокородного пши.

Мухамед промычал что-то нечленораздельное и закусил губу. «Схватить бы его за глотку, этого верного друга», — подумал он.

— Но я думаю, он из тебя не будет делать жаруму, если ты нам скажешь, где твой хозяин спрятал новый панцирь. Скажи, не стесняйся. Ведь Каральби в нем больше не нуждается. Правда, Мухамед? Ты подтвердишь мои слова?

Мухамед вдруг захохотал, будто ему пришла наконец в голову удачная мысль, и рванул платье на груди у Нальжан:

— А не прячет ли она панцирь под своей одеждой, а? Надо проверить.

Он властно обхватил женщину, стал шарить по упруго налитому здоровому телу. Вот и отомстил он ей. Месть была подлой, но зато, как считал спесивый князь, единственно возможной. В первое мгновение, услышав треск рвущейся ткани, Нальжан окаменела от ужаса, но быстро пришла в себя, с силой оттолкнулась от Хатажукова, кулаком наотмашь ударила в лицо Вшиголовому, который пытался ее задержать, и бросилась со всех ног к отдельно стоящему домику, где обычно принимались почетные гости.

Алигоко пошатнулся, а Мухамед, увидев, как хлещет кровь из длинного носа приятеля, злорадно засмеялся.

— Ладное — спокойно сказал Шогенуков, — далеко не убежит. — И раздраженно добавил: — Панцирь искать надо. Все перевернуть! Дом разнести по кусочкам!

Все перевернули, а панцирь не нашли. Искали в главном доме, на мужской и женской половинах, искали в маленьком гостевом доме, искали в домах уорков и зажиточных крестьян. Собрали все наиболее ценное, погрузили на две большие подводки оружие, ковры, посуду, сундуки с одеждой. Панциря нигде не находили. Огонь с горящего: плетня перекинулся на конюшню, оттуда — на крышу тузаровского дома. Было светло, как днем (взошла к тому же луна), и шумно, как на торговом перекрестке.

Отчаянно голосили обезумевшие от горя женщины, ржали перепуганные лошади, с пронзительными криками носились осиротевшие дети...

Князя решили, что панцирю больше негде быть, как только на самом Канболете. Оставаться в чадном дыму пожарища, среди проклятий и причитаний, среди крови и трупов, чтобы поджидать здесь Канболета, — мыслимое ли дело?! Но как поступить, если ни в коем случае нельзя оставлять в живых младшего Тузарова? Там, в лесу, лежит мертвый Исмаил... Вину за его смерть можно возло-

жить только на мертвого.

— Отъедем к броду, подождем на берегу, — предложил Алигоко. — Оставим здесь десяток людей — пусть похоронят убитых. Сожгут их, что-ли, по-язычески, ведь им не очень понравился твой, Хатажуков, мусульманский обряд.

Так и сделали. Возле спуска к широкому броду было, конечно, поспокойнее, хотя и сюда доносились приглушенные крики женщин. «Как мало нас осталось, — тоскливо подумал Алигоко, — восемь человек тут да десять там. Скорей бы они кончали с похоронами... Если этот юный громила наскочит раньше времени и будет с ним хотя бы трое-четверо здоровых вооруженных парней, то не поздоровится в лучшем случае половине из нас. А в какой половине окажусь я сам, еще неизвестно».

...Чуть выше по течению реки послышался конский топот, а затем свистящее пение двух стрел. Одна из них пролетела над головой Алигоко, другая вонзилась в шею пожилого хатажуковского уорка.

— Да брось ты факел и реку! — зашипел Алигоко на своего ратника, стоявшего у арбы с награбленным добром.

Запоздал княжеский приказ: прилетели еще две птички со смертельными жалами — одна застряла своим острым клювом в кольчуге дружинника, другая впиалась прямо в висок того парня, что держал факел. Парень опрокинулся навзничь, на кучу сложенных вещей, выронил факел и от него тотчас же вспыхнула в арбе подстилка из сухого сена. Шогенукову показалось, что сумрак за пределами их освещенной огнем стоянки стал еще темнее, непрогляднее, и тем ужаснее было внезапное появление трех грозных всадников.

Кажется, не растерялся только один Мухамед.

— Теперь я доберусь наконец до тузаровского щенка! — заорал он и поднял на дыбы своего коня.

Канболет встретился с князем вплотную, встретились в воздухе клинки двух непримиримых, хотя почти и не знакомых друг другу, врагов. Кто-то подскочил было сбоку к Канболету, хотел помочь князю, но быстрый, как вспышка молнии, удар Тузарова, нанесенный им не глядя, на слух, — и неосторожный дружинник полетел с коня с удивленным, а заодно и разрубленным наискось лицом.

— Не лезьте сюда! — крикнул Мухамед. — Я сам... Я убил матерого волка, убью и молодого! И-и-эх!! — каждый раз, когда Мухамед опускал саблю, он думал, что вот уж этот удар и будет последним, но снова и снова его клинок натыкался на стальную преграду — твердую и одновременно упругую.

Канболета никто не учил такому приему. Он лишь сейчас верным своим чутьем понял, что если встречаешь удар особой редкостной мощи, каким обладал Хатажуков, то отражать его надо не грубо, а мягко: в точно угаданное мгновение спружинить, чуть отдавая саблю назад. Иначе либо клинок сломается, либо сабля вылетит из руки, как бы крепко ты ее не держал. «Что это он про волков? — подумал Канболет. — При чем тут волки, я не понимаю...»

— Ну держись, проклятый! — хрипел Хатажуков. — Отправлю я тебя вслед за родителем! На дно Тэрча!

— Так, значит, это ты убил моего отца?! — догадался наконец Канболет.

— И тебя убью! — тяжело дыша, крикнул князь. — И твой панцирь тебя не спасет!

— Эй, Мухамед! — вдруг заверещал Алигоко из-за горящей арбы. — На нем нет панциря! Куда он его дел?!

С новой силой всколыхнулась в душе Канболета хлесткая волна ненависти. Но она не ослепляла юношу, не опьяняла и не выводила из равновесия, на что, вероятно, рассчитывал Хатажуков, с беззастенчивой наглостью признаваясь в своем преступлении.

— Не-ет, ты меня не убьешь, — тихо загремел спокойный бас Канболета. —

И никого ты больше не убьешь. Сам сейчас будешь убит! — и в голосе Тузарова было такое невозмутимое хладнокровие, словно для него не составляло никакой разницы: вести ли неторопливую беседу или биться в жестоком поединке.

«Этот разъяренный буйвол не уступает мне в силе, — думал Канболет. — И страха нет в его глазах. Одно только бешенство. Вот оно-то его и погубит...»

— Держись, паршивый щенок!! — бесновался Хатажуков.

— Держусь, держусь! — насмешливо отвечал юноша.

Хамиша и Нартшу тоже сумели сократить численность врагов и теперь против каждого из них оставалось по одному противнику, не считая вшиголового храбреца, непонятно чего выжидавшего под прикрытием горящей арбы. Он держал в руке заряженный пистолет, направляя ствол в сторону вихрем кружившихся Канболета и Хатажукова. Было похоже, что князю очень хотелось увидеть, чем закончится эта схватка, а уж потом выстрелить.

Мухамед ничего не мог сделать с тузаровским сыном и это приводило его во все большую ярость. Впервые князь почувствовал смертельную опасность, а затем совершил ту единственную оплошность, которую, как охотник в засаде, подстерегал Канболет. Этот взмах княжеской сабли был с самого начала неверным. Канболет увидел, что удар рассчитан на обязательное столкновение с его клинком, и если в последний момент сделать обманное движение, то лезвие хатажуковской сабли лишь рассечет воздух. Канболет поднял, как и полагается, навстречу свою саблю, но перед самым столкновением ловко убрал ее из-под удара, сделал быстрый короткий взмах и сплеча рубанул по княжескому шлему. Мухамед, неестественно выпрямился в седле и замер. Глаза его вылезли из орбит и сразу стали бессмысленными и тусклыми. Канболет нанес еще один сокрушительный удар — шлем треснул, глаза бешеного пши залились кровью.

Алигоко прицелился получше — теперь он дождался своего часа, но тут лошади, впряженные в арбу, на которой разгорелся настоящий костер, в панике рванули и понеслись, не разбирая дороги, к обрыву. Конь Шогенукова испуганно шарахнулся в сторону, грянул выстрел — и пуля взвилась в ночное небо. Нартшу в это время выбил из седла тяжело раненного противника и бросился на помощь другу, но было поздно. В грудь Хамиши уже вошло острие клинка. Нартшу сцепился с последним дружинником из княжеской свиты, а Канболет не спеша направил коня к Шогенукову.

И тогда хитрый и неглупый князь сделал то, что можно было объяснить лишь припадком отчаянной трусости. Он с криком развернул лошадь и ударился в постыдное бегство. И поскакал он не в сторону тузаровского дома, где еще оставалось десять всадников, а прямо к броду (видно, помутился изворотливый ум Вшиголового). Канболет стал преследовать врага.

Не надо было Шогенукову так торопить и нахлестывать коня, пока тот по брюхо в воде переходил реку. На другой берег бедное животное выбралось совсем обессиленным, и Канболет нагнал князя на самой опушке леса.

Уже рассеивался предрассветный сумрак, и Канболет увидел, как остановивший измученного коня Алигоко пытается трясущимися руками разомкнуть на себе какой-то блестящий пояс. Тузаров вложил саблю в ножны, взял плетень и резко хлестнул ею по бледной шакальей морде князя. Алигоко взвизгнул и запрокинул голову, закрывая лицо руками. Его блестящий пояс с тихим мелодичным звоном распрямился в стальную полосу и упал на землю.

— Ах, вот оно что... — пробормотал Канболет, проворно нагнулся и, не слезая с коня, поднял старинный дамаский клинок. — Вот каким оружием владела эта подлая и трусливая гадина!

— Не убивай меня! — крикнул Шогенуков. — Это ведь не я убил твоего отца и не я поджег дом, а младший Хатажуков! Он хотел найти панцирь.

— А ты, конечно, ни в чем не виноват? — горько усмехнулся Канболет, сги-

бая в кольцо тонкую драгоценную саблю.

— Нет такой вины, за которую князя можно убить! — Лиловый рубец, пересекавший его левую щеку, сочился кровью.

— Если бы ты не оказался таким жалким трусом, я бы не посмотрел на то, что жизнь князя считается неприкосновенной, и поступил бы с тобой так же, как и с твоим кровожадным сообщником. А теперь проверим, хорошо ли будет служить мне эта арабская сталь.

Канболет сорвал шапку с головы Алигоко и подбросил ее вверх; дамасский клинок тоненько свистнул, и наземь упали две половинки щегольского головного убора донельзя посрамленного князя.

Шогенуков глухо застонал, будто получил новый удар плетью.

— А теперь убирайся вон! — рявкнул Канболет. — Поторопись, пока я не передумал!

Долго уговаривать Вшиголового не пришлось — он тронул коня и скоро исчез в лесу.

Канболет вернулся к реке и стал вглядываться в тот берег, начавший слегка проступать сквозь легкую пелену предутреннего тумана, плывущего над водой.

Он еще надеялся, что Нартшу уцелел и, возможно, переходит сейчас через реку. И в самом деле — он услышал чей-то голос, обрадовался, но тотчас же понял свою ошибку. Канболет увидел силуэты девяти верховых: каждый вел за собой в поводу одну, а то и две лошади, навьюченные каким-то грузом.

— Здорово дрался этот последний их парень, — сказал один из вса/1 пиков.

— Да все они, малокабардинцы, дерутся сильно, — ответил ему другой.

Хорошо, что мы с арбы весь этот хабыр-чабыр перегрузили на лошадей. Снесло бы ее течением и опрокинуло, — сказал третий.

— Воды в Тэрче прибавилось, — заметил кто-то еще. — Наверное, ночью прошли дожди в верховьях.

Остатки княжеского отряда приближались. Каждое слово ясно и отчетливо разносилось над тихой рекой. Канболет отъехал чуть ниже по берегу и укрылся за облепиховыми зарослями.

— Надо бы князя догнать...

— Догони зайца в лесу!

— Больше я не служака Вшиголовому, — решительно заявил кто-то из уорков.

— Я тоже хочу перейти к другому князю... Сыт на всю жизнь сегодняшними зверствами!

Всадники вступили на берег и, не задерживаясь и не оглядываясь, начали быстро удаляться от реки.

«Пожалуй, и мне пора в путь, — подумал Канболет. — Вот только куда?.. На отцовское пепелище? Нет, мне там делать нечего. Да и чем я смогу утешить осиротевшие семьи! И кто сможет утешить меня? Уж, конечно, не Кургоко Хатажуков, который скоро узнает о смерти своего брата. Большой князь, оглушенный и ослепленный горем, не услышит голоса рассудка и не скажет справедливого слова. Мы теперь с ним кровники...»

Канболет вывел коня на первую попавшуюся лесную тропу и поехал шагом, опустив поводья и низко склонив голову. «Отец бы еще жил долго... А какие были хорошие друзья Нартшу, Шужей, ох, несчастье, несчастье! И не каменное ли у меня сердце? Почему оно не истекло кровью и не затихло навек?»

Долго так ехал молодой Тузаров, не замечая ничего вокруг. Уже наступило солнечное утро, в ветвях деревьев весело пересвистывались беззаботные синицы и зяблики.

Вдруг конь остановился и тихонько заржал. Канболет очнулся, как от глубокого сна, и поднял голову. В нескольких шагах сбоку от тропы он увидел маль-

чика, сидящего на корточках возле тела какого-то мужчины. Чутье воина сразу подсказало Канболету, что этот мужчина мертв. Мальчик вскочил и выхватил кинжал. Канболет спешил.

— Не надо, дружок, — сказал он, подходя поближе, — кинжал тебе не понадобится.

Канболет рукавом черкески утер слезы на мальчишеском лице.

— Ты и так весь мокрый... А дождя, кажется, не было. У тебя горе? Это твой отец?

У мальчика задрожали синие от холода губы и он громко всхлипнул.

— Говори что-нибудь. Я сегодня тоже потерял отца...

— Это мой дядя, — мальчик наконец заговорил. — Это Исмаил Хатажуков, брат моего отца.

— А твой отец?..

— Кургоко!

— Вот, значит, как... А кто нанес твоему дяде этот удар в висок?

Мальчик умолк, настороженно глядя в глаза Канболета.

— Не хочешь говорить, паренек? Понятно. Ты не знаешь, с кем имеешь дело, с врагом или другом. А ты не бойся. Я всем на свете мальчикам — друг.

— А еще ты кому друг? Шогенукову или... или Тузаровым?

Канболет изумленно охнул:

— Да ты вопросы задаешь, как взрослый! Сколько тебе лет?

— Девять.

— Возраст немалый. Ты уже многое должен понимать. Ну, а имя свое ты от меня не скроешь?

— Нет, не скрою. Я — Кубати.

— Хорошее имя. Ну, а теперь, Кубати, тебе нужно срочно обсушиться у костра, а то заболеешь. Наш разговор мы еще продолжим. Но прежде всего вынесем твоего дядю из леса. — Канболет поднял тело Исмаила, вышел с ним на дорогу и положил труп между колеями от тележных колес. — Здесь его подберут и увезут домой еще до полудня. А для нас с тобой, Кубати, здесь место не совсем подходящее. И сушняка нет, чтоб хороший огонь развести. — Канболет вскочил в седло, наклонился к мальчику, подхватил его за пояс и усадил на коня впереди себя.

Канболет отъехал подальше от дороги, выбрал лужайку с хорошей травой — здесь мог пастись конь — и остановился. На краю поляны оказалась небольшая сухостойная березка — как раз то, что было нужно. Канболет перерубил ствол толщиной с оглоблю одним ударом седельного топорика и случайно заметил вспыхнувший в мальчишеских глазах огонек немомого восторга. Тогда он отбросил топор и легко стал переламывать ствол голыми руками, упираясь в него коленом: знал, что тем самым вызовет еще большее восхищение Кубати. Не любившему хвастаться Канболету сейчас было немножко стыдно, однако он нарочно старался произвести на парнишку отрадное впечатление. Зачем ему это нужно, Канболет пока еще не смог бы объяснить даже самому себе.

Потом, сидя у костра вместе с продрогшим Кубати, Тузаров повнимательнее пригляделся к сыну большого князя Кабарды. «Глазенки у мальчика умные, уп-рямые... — думал Канболет. — Тоже мой кровник...»

— Так кто же убил твоего дядю? Или ты не знаешь?

— Знаю! — со злостью выкрикнул Кубати. — Мухамед его убил. Как дал кулаком...

— Мухамед?! Твой другой дядя? — удивился Тузаров. — Ну и дела... Клянусь пророком, не ожидал!

— Они с Шогенуковым поехали убивать младшего Тузарова. Убьют его и потом скажут, что это — за Исмаила.

— Постой, маленький джигит. Ты видел, как Мухамед проломил висок Ис-

маила?

— Только я видел, да пши Алигоко.

— А почему они решили мстить за Исмаила Тузаровым?

— Да потому! Они будут говорить, что Исмаила убил сын Тузарова...

Постепенно мальчик рассказал все. Он вспомнил слово в слово разговоры князей, описал подробности резни на лесной поляне. Канболет узнал, как погиб и как был «погребен» его отец, Кубати рассказал о переправе через Терек — как появилась страшная змея, испугавшая лошадь, как утонул Хагур, а он, Кубати, выплыл к берегу. Всю ночь он плутал в лесу, и только на рассвете случайно вышел на то же самое место, где был убит дядя Исмаил.

— Они думают, наверное, что я тоже утонул, — закончил Кубати, — А если бы не утонул, не знаю, что бы со мной сделали. Кажется, какому-то Абдулле хотели отдать.

— Да-а, мальчик, жеребенка волк задрал — на тавро смотреть не стал...

— Ты отвезешь меня домой?

— А давай-ка мы лучше поедem на охоту! Подстрелим косулю или оленя, зажарим на костре мясо и поедим как настоящие мужчины! Согласен? Я ведь знаю, что ты очень голоден, только не признаешься в этом, держишься молодцом!

— Согласен! — Кубати торопливо поднялся на ноги.

— А твоя одежда высохла?

— Уже давно!

Сегодня им дважды повезло. Сначала они, едва отъехав от места привала, поймали оседланную лошадь.

— Это бабуковская! — обрадовался Кубати. — Тоже, значит, выплыла!

— Вот и прекрасно, — сказал Канболет. — Садись на нее. погоди! я только подкорочу стремяна.

Потом они увидели, как реденький подлесок неторопливо пересекает грациозный гордец — олень с красивыми ветвистыми рогами. Канболет быстро прицелился и спустил тетиву. Кубати изумленно всплеснул руками — хоть расстояние до цели было очень далеким, стрела попала оленю прямо в шею.

Снова горел костер, снова паслись на лужайке стреноженные кони и снова юноша и мальчик, оба повзрослевшие сегодня на несколько лет, вели беседу у огня.

— Как бы ты, Кубати, поступил с Мухамедом, если бы он оказался в твоей власти?

— Убил бы! — не задумываясь, ответил мальчик.

— А с человеком, который в честном поединке зарубил Мухамеда?

Кубати откусил, кусочек горячего, чуть недожаренного мяса, немного помедлил и сказал не очень уверенно:

— Ведь он все равно мой кровник...

— Ну, а если Мухамед убил отца этого человека, перерезал всех его друзей и родичей, сжег и разграбил его дом, что тогда?!

Глаза Кубати испуганно расширились:

— Н-не знаю... Ведь все равно кровник. Он меня убьет, если не я его...

— Нет, умненький мальчик Кубати. Он тебя не убьет. А вот если он повезет тебя сейчас к отцу, то твой отец уж обязательно его убьет, как только увидит. Понял?

— Ты Канболет Тузаров?

— Я же говорил, что ты не глуп. И я не хочу быть твоим кровником. А хочу я вот чего. Хочу показать тебе дальние страны, всякие чудеса в заморских землях. Хочу сделать тебя сильным и мужественным, научить метко стрелять, ловко владеть конем и саблей. Хочу добыть тебе богатое и красивое — всем на зависть — снаряжение, а уж потом привезти тебя к отцу. Я буду очень рад, если ты сам согла-

сишься поехать со мной. Подумай, а я пока начну мясо коптить нам на дорогу.

«Интересно, — задал себе вопрос Канболет, — знакомо ли княжескому сынишке слово «тлечежипшакан»? *(за кровь воспитанный)*

— Канболет, — тихо позвал мальчик. Шогенуков говорил про какой-то панцирь... Захватил он его?

— Нет, мой кан. Панцирь опять куда-то исчез. Не знаю, почему они не смогли найти его в доме. Загадка! Я тебе потом расскажу много интересного про эту диковинную вещь.

— А где сейчас Шогенуков? Он...

— Он жив, шакал вшиголовый. И очень жаль, что я... Сейчас он, наверное, у твоего отца и, как обычно, поганит свои уста и уши собеседника грязной ложью...

* * *

Старый Хатажуков встретил пши Алигоко за оградой усадьбы и не предложил ему въехать во двор. Большой князь уже знал о том, что произошло на берегах Терека. Только судьба Исмаила была ему неясна. Закусив губу, чтобы не закричать, не разразиться грубой бранью и проклятиями, он молча слушал брызгавшего желтой слюной Алигоко.

— Да! Да! Я говорю истинную правду! — кричал Шогенуков. Исмаила тоже убил Канболет! Мы нашли его смертельно раненным, он сам рассказал, как это было. А в том, что утонул мальчик, не виноват никто!

Рядом с Кургоко стоял, поддерживаемый двумя парнями, старый уорк — воспитатель Кубати. Он уже успел, в знак неутешной скорби, отрезать себе левое ухо и выдрать изрядный клоч волос из бороды.

— Я тебя знаю, лукавый хищник, — глухо проговорил Кургоко. — Всеми виной твои вероломные затеи...

— Не говори так, высокочтимый! Я поймаю тузаровского зверя и сам приведу его к тебе на аркане! Клянусь предками, и...

— Оставь в покое своих предков. Ты уже достаточно опозорил их родовое имя. А Тузарова мы разыщем сами. Можешь не затруднять себя! И никогда, — Хатажуков возвысил голос, — слышишь, никогда не появляйся вблизи моего дома! На совете князей тебе тоже делать нечего! Мы еще решим, достоин ли ты носить княжеское звание... А теперь уходи. Уходи скорее, слышишь или нет?!

Глаза Шогенукова сузились, рубец от тузаровской плети налился кровью.

— Ну хорошо, добрый князь Кургоко, — прошипел он сквозь зубы. — Благодарю за ласку. Может быть, еще встретимся...

Слово созерцателя

И снова кровь... И всюду кровь — на каждом повороте дороги, на каждой удобной для драки поляне...

Кровь праведная и неправедная, кровь героев и трусов, кровь невинных и кровь преступников...

А чаще всего льется кровь простых крестьян, не имеющих ни малейшего отношения к распрямам князей и уорков.

И там, где падает на землю капля дворянской крови, тут же проливается полный котел крестьянской.

Но разве низкорожденному дано право раздумывать, стоит или не стоит пускать в ход обнаженную сталь? Не его ума это дело. Голова ему дадена для того, чтоб он мучил ее заботами о благополучии князя, о богатстве княжеского дома и пышности его пиров, а также для того, чтобы сложить ее в том месте и в то время, какое укажет князь.

И низкорожденные люди, вежливые и воспитанные, стеснялись

отказать в помощи своему «родному» князю, когда у того возникает желание разгромить селище и угнать скот другого князя. По первому зову благороднорожденного хозяина они шли проламывать черепа таких же, как правило, очень вежливых и хорошо воспитанных крестьян из соседних земель.

Холопская кровь всегда стоила дешево. Зато кровь князя не имела цены — она была священной.

Так уже повелось в Кабарде, что простой воин, столкнувшись на поле брани с неприятельским князем, не имел права его убивать, даже спасая собственную жизнь. Можно было отражать удары, но ни в коем случае не наносить ответные. Ведь князь — это даже не человек, а существо почти божественное.

Стать виновником гибели князя гораздо страшнее, чем погибнуть самому. Ибо «кровь убитого пши наполняет собой всю глубину ущелья, и в эту мрачную бездну даже взор ворона могильного устремляется с леденящим ужасом».

Взоры вашего созерцателя тоже не всегда оставались беспристрастными. На его глазах (отчасти и не без его желания) погибли два князя. Однако мрачные бездны ущелий не заполнились их кровью. Может быть, потому, что таковых не оказалось поблизости? Правда, впоследствии молва утверждала, будто Тэрч всю ночь нес к далекому Хазасу не воду, а кровь Хатажуковых, но прямых свидетелей этого зрелища не нашлось.

А вскоре по всей Малой Кабарде, затем и по Большой стал ходить еще один жуткий хабар, который пересказывался остороженьким шепотом.

Обманутая хитрым Адешемом змея приплыла к терским берегам, потопила (ни больше ни меньше) сорок всадников из отряда Шогенукова, потом, в разгаре битвы у тузаровского дома, заползла в хачеш и унесла на дно реки бесценный чудодейственный панцирь, из-за которого и пролилось так много крови.

От этого панциря — уж лучше бы ему сгинуть без следа! — еще у многих будут болеть головы.

Он снова пропал, но теперь ненадолго: на каких-то семь лет. И от предчувствия новых неприглядных зрелищ тошно и тоскливо становится на душе созерцателя.

ХАБАР СЕДЬМОЙ,
дающий (кроме всего прочего) представление о тех
богословских спорах, которые родили печальную
кабардинскую поговорку «Племянник
явится — и заплачет Псатха»

В междуречье Баксана и Чегема весна — гостя ранняя и веселая.

С южных покатоств плавной холмистой гряды, что тянется от Кабардинской равнины до балкарских ущелий, снег сходит прямо на глазах. И не успевают мутные ручейки талой воды сбежать со склонов вниз, как на солнечных пригревах начинают проклевываться упрямые побеги сочной травы. Еще не успеет подсохнуть земля, а лесистые пространства предгорий покрываются легкой полупрозрачной кисеей свежей зелени. Сразу же после равноденствия наряжаются в белорозовые свадебные платья ветви диких яблонь и груш, алычи и боярышника.

Чистым и радостным, молодым и невинным кажется мир, когда ранним весенним утром смотришь на него с округлой вершины горы Махогерсых. И всего довольно в этом мире: вот бесконечные кущи лесов, состоящие из дуба и чинары, ореха и кизила — плодов полным-полно, хватит и человеку, и птице, и зверю; вот широкие открытые склоны плоскогорий — к лету здесь поднимается, лошади по брюхо, буйное разнотравье — нет лучших угодий для всякой жвачной живности; вот многочисленные родники, речки, мощные горные потоки — хватит, чтобы напоить половину человечества и еще с половины смыть грязь; вот земля, способная родить столько хлеба, чтобы никого не оставлять голодным; вот солнце, которое светит с одинаковой силой каждому одушевленному существу...

Сюда, на пологие склоны Махогерсыха, испещренные множеством тропинок, каждую весну, в месяц бараньего мора (*апрель*), приходили крестьяне из разных селений. Многие добирались издалека, с самых окраин Кабарды. Одни ехали на арбах целыми семьями, другие — верхом, а большинство применяло самое простое и надежное средство передвижения — собственные ноги.

Махогерсых — гора, поросшая с одного бока лесом, а с другого только травой, — была святым местом. Здесь наши предки издавна воспевали и задабривали своих богов, вымаливая для себя удачи и благополучия. А боги — грубые деревянные изваяния, установленные на деревянных же, высотой с человеческий рост, столбиках, молча внимали горячим просьбам и выполняли их нечасто и как-то невпопад. Случалось, они обрушивали свои милости на человека, который не слишком и заботился о собственном благосостоянии, а порой отнимали и без того слишком тощий бэрчет (*изобилие*) у добросовестного бедняги, который больше всех жертвовал богам: уделял им часть скудных семейных припасов, развешивал шкуры животных на деревьях, лил на землю махсыму. И тогда бедняга задумывался: может, он обделил вниманием кого-то из богов? Ведь богов много, а они, как известно, обидчивы и ревнивы. Нелегко угодить всем вместе и каждому в отдельности.

Главный бог — это Тхашхо, великий бог неба. Но ведь еще есть Псатха — бог жизни. Пожалуй, он считает себя главнее. С другой стороны — это знает любой ребенок — если бог грома Шибла рассвирепеет, то и Тхашхо с испугом ищет себе на небе местечко, где бы спрятаться!

Нельзя пренебрегать и такими важными тха, как Созереш — бог домашнего очага и болезней, Тхагаледж — бог плодородия, Зекуатха — покровитель путников и воинов, находящихся в походе. А можно ли забыть божественных княгинь Хадэгуашу — покровительницу садов — и Псыхогуашу — хозяйку рек и властительницу дождей! А попробуй — о горе! — не ублажить бога мелкого скота Амышы и бога крупного скота Ахына, чьим именем называется даже море Черное!

Есть и другие боги, но один из них — особенный. Это — Мазитха, который ездит верхом на огромной дикой свинье с золотой щетиной. Огненноусого Мазитху, бога лесов и охоты, почитают еще и за то, что он покровительствует бесплодным женщинам и только он может помочь их горю.

В эту весну в междуречье пришло гораздо меньше народу, чем в былые годы. А ведь когда-то, вспоминали старики, людей на Махогерсыхе бывало так много, что опоздавшим приходилось по нескольку дней ждать очереди, пока помолятся и принесут свои жертвы одни, потом другие, затем третьи...

Теперь на пологой поляне у вершины горы без труда разместились все паломники. Горело всего три десятка костров и закипала вода всего в тридцати котлах. Первые шкуры коз и овей, натянутые на распялки, уже висели на высоких шестах или ветвях ближайших деревьев. Кое-что из внутренностей забитых животных закапывали в землю и поливали теплой кровью.

Громко и поначалу нестройно звучала музыка. Пронзительно и высоко взлетела к небу песня свирели, глуховато, но мелодично зазвенели струны, сухо и отчетливо рассыпался по Склону дробный перестук деревянных, окантованных медью, трещоток, отбивающих танцевальный ритм. Этот танец в честь бога жизни исполнялся только супружескими парами. Каждая танцующая пара по очереди приближалась к деревянному Псатхе, кланялась и отходила в сторону. Танец назывался «тха великому» — «сандрак».

Некоторые женщины исполняли сандрак с обнаженной грудью, что должно было свидетельствовать об их особой твердости в вере и сердечной преданности великому тха.

Музыка не смолкала с утра и до полудня. Песнопения, обращенные к разным богам, звучали с небольшими перерывами одно за другим.

Часть мужчин и женщин потянулась и лес, развешивая на деревьях подарки Мазитхе, — тут были старые, покривившиеся от времени стрелы, ржавые накопники от копий, треснутый стальной шишак, изношенная одежда, разная домашняя утварь — ничего не жалко для любимого бога.

Кто-то затянул, а остальные подхватили старинную песню:

*Уо-о-о, Мазитха, бог лесов —
Это твое звание!
Лишь твое, тха, звание!
Страшен вид твоих усов
Краснопламенных,
Жгучих, пламенных.
Кроны вековых дубов
Ты к земле склоняешь,
Как траву, склоняешь.
Грозной поступью шагов
Горы содрогаешь,
Скалы сотрясаешь.
Ложь твоего покров —
Шкуры склонов столетних.
Твои стрелы — из стволов
Старых деревьев крепких,
Кизиловых, крепких.
В честь тебя дымится кровь,
Напиток богоугодный,
Тха, тебе угодный!
Мы заклали семь козлов
С шерстью снегоподобной,*

*С белой, снегу подобной.
Дорогих твоих даров
Бесплодные жены просят,
Чрева наполнить просят.
Сребротелый, бог из богов,
Ты знаешь, под сердцем что носят,
Витязей будущих носят.*

Когда поклонники Мазитхи вышли из лесу к голой вершине Махогерсыха, они увидели человека верхом на коне, который что-то сердито кричал и, кажется, вовсе не собирался молиться, танцевать сандрак или приносить жертвы. Да и потом — где это слыхано, чтобы к самому Псатхе подъезжать верхом?!

Толпа людей, внимавших нежданному всаднику, была слегка растеряна.

— И не стыдно вам, адыги, поклоняться деревянным чуркам! — кричал, приподнимаясь на стременах, сердитый пришелец. — Ведь сколько раз объясняли вам, что нет бога, кроме аллаха, а Магомет — это его пророк, которого тоже надо чтить! Аллах, только аллах — истинный и единственный бог! Вы что, хотите остаться дикими язычниками? Почему не желаете идти за великими народами — за Турцией, например, и другими странами, которые указывают правильный путь? Не раз пожалеют неверные о том, что они не захотели стать мусульманами, — так сказано в священной книге Коране. Вам, идолопоклонникам, кумиротроителям, гореть после смерти в аду, если вовремя не одумаетесь! — Пришелец перевел дыхание, вытер пену со своих тонких синеватых губ и с новой силой обрушился на толпу:

— Забудьте своих смешных божков, они не годятся даже для детских сказок.

Вперед выступил бедно одетый старик с жиденькой седой бородой на сморщенном лице.

— Подожди, сынок, — надтреснутым, но звучным голосом сказал он. — Ты очень спешишь, наверное, потому и не спешил, когда начал говорить с людьми.

— Я не спешил, чтобы меня все видели, — незванный гость слегка смутился.

— Хорошо, хорошо, — успокоил его старик. — Так мы тебя и в самом деле лучше видим и слышим. Так вот что я хотел спросить у тебя, сидящего на коне: человек имеет соль, да еще сыр, да еще мясо, а потом ему предлагают какой-то новый, совсем не известный припас — пусть даже очень хороший, но разве должен этот человек отказаться от всего, что имел до этого? Мы не против твоего аллаха и готовы почитать нов...

— Остановись! Пи слова больше! — гневно перебил старика беспокойный гость. — Сравнивать Истинного и Всемогущего с какими-то съестными припасами! С овечьим сыром! О, аллах, велико твое долготерпение! Только мои по-детски простодушные соплеменники могли додуматься до такой ереси!

В толпе, в которой при первых словах неожиданного проповедника начал было подниматься негодующий ропот, теперь слышались смешки (ха, овечий сыр!). Люди заметили и то, с каким искренним огорчением встретил пришелец наивные слова старика, и хоть небезобидны были речи мусульманина, но что-то в них было и чуточку забавного.

— Вы должны меня слушать, — продолжал мусульманин. — Раньше я был простым тлхукотлем. Аллах помог мне перейти в сословие уорк-шао-тлхус. Но я еще стану муллой и буду тогда вне всяких званий. Даже князья не погнушаются сидеть со мной за одним столом! Я и теперь уже — еджаг, почти мулла: духовники из Крыма разъяснили мне смысл священного учения. Адильджери мое имя. Я состою в свите самого Кургоко Хатажукова и знакомлю его уорков и простых дружинников с премудростями ислама.

Всадник был неплохо одет — черная черкеска с газырями, войлочная высокая шапка с меховой опушкой понизу, на ногах — сафьяновые тляхстены, правда, сильно поношенные. Кинжал и сабля — добротные, но скромной отделки. Лицо тридцатилетнего мужчины с тонким прямым носом, рыжеватыми бровями и усами бывало, наверное, и приятным, но сейчас его портило злое выражение светлокариых презрительно сощуренных глаз.

Вперед вышел коренастый средних лет человек, державший в руке требуху только что разделанного барана.

— Однако я не понимаю, — прогремел он густым и сильным басом, — почему я должен выгонять из дому своих гостей, когда ко мне во двор въезжает новый гость?

В толпе раздались одобрительные возгласы.

— Ты мне тут адыге хабзе не припутывай! — И без того полнокровное лицо Адильджери стало еще краснее. — Аллах — к нему в гости! Да как ты язык свой не проглотил, богохульник!

— Никогда меня не называли богохульником, — с печальным достоинством ответил мужчина, задавший вопрос ретивому проповеднику, — и не знаю, чем я заслужил такие грубые слова, даже если они и сказаны человеком, который вдруг стал называться уорк-шао.

— Ты, ты... — задохнулся правоверный Адильджери. — С кем ты говоришь?!

— Не надо бы так, Адильджери! — послышался голос из середины толпы, и к всаднику приблизился пожилой тощий крестьянин. — Ты бы лучше похорошему со всеми... — говоривший очень стеснялся и смотрел куда-то вниз и в сторону.

— Э-э! Да здесь мой дядя! — то ли возмутился, то ли обрадовался мусульманин.

— Ну да, — все так же виновато пряча глаза, ответил крестьянин. — И твоя тетка тоже...

— Ах, и тетка тоже!

— Адильджери, миленький! — одна из женщин осмелилась вмешаться в споры мужчин. — Все мы рады, что ты стал таким большим человеком, но разве нельзя было остаться таким же добрым, как раньше.

— Хабала! — племянник сурово, как если бы он был намного старше, а не моложе, окликнул дядю. — Ты забыл нашу последнюю беседу? Ты, тетя, пока помолчи. Ты забыл, как соглашался со мной?! Да помолчи, женщина!

В толпе оживленно делились впечатлениями:

— Вот какие теперь племянники бывают!

— Уорк-шао!

— Еджаг...

— Такой строгий. Уашхо-каном клянусь!

— Лучше бы рассказал толком про эту турецкую еру.

Ага! И про эту самую книгу...

— Прогнать бы его отсюда!

— Человека легко обидеть...

Испуганный Хабала на всякий случай помалкивал, а племянник уже настоящему разбушевался:

— Стыд и позор! Кабардинцы все еще танцуют безобразный сандрак! О, аллах, женщины обнажают грудь перед деревянным уродцем, перед вот этим, как его? Псат-ха! *(Адильджери намеренно произнес имя бога с таким разделением, ведь «ха» — это по-кабардински волк [позднее — собака])*

— Э-э-й, люди! Послушайте, как он бессовестно бранится, — прогудел мужчина с требухой в руках. — Совесть в дороге обронил, пока сюда ехал? Псатху не трогай!

— Это я бессовестный? — взбесился Адильджери. — А ты совестный? Ну, смотри, что я сделаю с твоим Псатхой... Потом и до тебя доберусь, собакой вскормленный!

И тут произошло нечто ужасное и невероятное. Адильджери выхватил саблю, подогнал коня поближе к столбику с изваянием и несколько раз с силой рубанул по тому месту, где у Псатхи должны были быть щиколотки (если б их потрудились как следует вырезать), — полетели щепки и зашаталась фигурка деревянного божества. Еще один хороший удар — и несчастный Псатха свалился со столбика и покатился сухим поленом по сырой земле.

Толпа в ужасе замерла.

— Видали! — торжествующе возгласил Адильджери. — И так будет со вся...

Первым опомнился «богохульник» с требухой. Он широко размахнулся — и вывороченный, но еще не очищенный бараний желудок, издав смачный хлюпающий звук, залепил румяное лицо поборника ислама. И сразу же в его сторону полетели комья грязи, черпаки и чашки, а кто-то метнул, подобно аркану, гирлянду осклизлых козьих кишок, и она повисла на шее лошади. Испуганное животное встало на дыбы и понесло своего седока прочь. Всадник скрылся в лесу и возвращаться обратно, кажется, не собирался.

Возбужденные крестьяне долго не могли прийти в себя. Праздник был явно испорчен. Не знали, что и делать: то ли разбрестись по домам, то ли продолжать обрядные танцы и моления.

— Не думал я, что доживу до такого страшного часа, — грустно сказал старик, который первым вступил в разговор с Адильджери. Почему он не был поражен громом на месте, а?

Кто-то из молодых, под еле сдерживаемые ухмылки приятелей, важно изрек:

— Зато он был поражен на месте грязной требухой и вонючими кишками!

Мужчины постарше грозно покосились на остряка, и тот спрятался за спины своих сверстников. Обездоленные паломники тяжело вздыхали:

— Напакостил нам тут племянник Хабалы... Вот горе!

— Хабала, ты только на нас не обижайся...

— А может, эта новая вера и вправду...

— От таких слов язык может отсохнуть. Жаль мне тебя тогда будет!

— А я боюсь, как бы у тебя глаза не вытекли от такой жалости!

— Эй, вы! Не вздумайте ссориться! И без того есть о чем подумать.

— А что думать? Разве может играть музыка, когда Псатха плачет?!

— Да-а-а, Хабала! Хоть он и твой племянник...

— А про корову Ахына забыли? Подождем явления черной нашей красавицы!

— Ой, дуней! Уж этот племянник!

— Подождем явления...

— А вот подождите, подождите еще немного: скоро не в один кабардинский дом такой же самый племянник явится — и заплачет Псатха!

* * *

Адильджери, ослепленный яростью и почти до слез униженный, скакал через лес, ничего не видя перед собой. Ветви хлестали по лицу. Он бросил поводья и одной рукой придерживал шапку, а другой прикрывал глаза, будто пряча их от возможных свидетелей его позора. Незадачливый пророк глухо стонал и осквернял свои уста татарскими ругательствами: в кабардинском языке не имелось таких сильных и непристойных слов.

Однако по натуре Адильджери был человеком хоть и вспыльчивым, но отходчивым и скорее жизнерадостным, чем утрюмым. Скоро он начал постепенно

успокаиваться, а его конь, чувствуя перемену в настроении седока, перешел с галоп на рысь, затем с рыси на шаг.

Возле чистого и глубокого ручья Адильджери спешился, лег грудью прямо в холодную воду и окунул несколько раз голову. Потом он поймал чуть было не утонувшую шапку, встал, ударил ею об колено, встряхнул и положил на пригретый солнцем камень. Только теперь он заметил двух людей, сидевших на берегу ручья чуть выше по течению.

Один из них выглядел немножко моложе Адильджери, другой был еще совсем юнцом, у которого только начинали пробиваться усы. Но когда они встали, оказалось, что оба одного роста и почти одинакового сложения. Их широкими плечами, статностью, гордой осанкой нельзя было не залюбоваться. У старшего на бледном, слегка обветренном лице выделялись черные дуги бровей над спокойными темно-серыми глазами, кончики густых усов свешивались по углам полного, но твердого рта. У юного мужчины — а именно так следовало бы назвать не по годам развитого парня — на неожиданно нежном, как у невесты, лице играл румянец, в глазах цвета спелых терновых ягод светился пытливый, еще по-детски застенчивый интерес ко всему окружающему. Вот так он и смотрел на несколько необычное поведение Адильджери. Будущий мулла слегка растерялся и забыл, что он должен первым приветствовать незнакомцев. Однако старший из них, будучи, вероятно не только воспитанным, но и чутким человеком, слегка поклонился и сделал рукой приглашающий жест:

— Салам алейкум, путник!

«Вот бы мне его голос, — тоскливо подумал Адильджери, — таким рыком медвежьим любую толпу можно привести к повиновению».

— Уaleyкум салам, добрые люди, — Адильджери подошел поближе, а юный джигит взял у него из рук поводья коня и привязал разгоряченного скакуна к дереву.

— Присаживайся, — сказал незнакомец. — Надеюсь, не побрезгуешь нашей бедной трапезой.

На небольшом медном блюде лежала лепешка копченого сыра, большой кусок просяной пасты, несколько кусочков халуа — сладкого кушанья из масла, меда и ячменной муки. Рядом с блюдом, на широкой и короткой дубовой дощечке — вареная курица, пучок «медвежьего» лука — черемши — да соль в костяной корбке.

— Дай аллах, чтоб каждого путника приглашали к столь «бедной» трапезе, — вежливо ответил проголодавшийся проповедник и сел на разостланную на земле бурку.

Хозяин привала тоже сел, а парень аккуратно разделил курицу по суставам и положил перед гостем лучшие части — ножки и желудок.

Адильджери отщипнул кусочек пасты и сказал:

— А вот юноша...

— Бати его зовут, — подсказал старший незнакомец. — А меня — Болет.

— Так вот, уважаемый Болет, пусть Бати тоже садится с нами. Ведь в лесу — это не в кунацкой. Походный привал...

— Садись, Бати, — пригласил Болет. — Наш гость... э-э...

— Адильджери.

— Да, наш старший — Адильджери, он правильно говорит. Здесь тебе не придется таскать новые кушанья и наливать нам мыхсыму. Дорога есть дорога.

Бати сел рядом с Болетом и скромно занялся куриной шейкой.

— Сколь приятно встретить в пути единомышленника — настоящего мусульманина, — положил начало «застольной» беседе Адильджери. — Ведь ты приветствовал меня, Болет, по мусульманскому обычаю, так?

— Это скорее по привычке, — усмехнулся Болет. — Ведь мы с моим каном

Бати несколько лет прожили в Крыму.

— О-о! — уважительно протянул Адильджери и отбросил в сторону обглоданную косточку. — Как бы я хотел там пожить!

— Не стоит, — возразил Болет.

— Не стоит?! — удивился Адильджери. — Среди правоверных!.. Не видеть вокруг себя ни одной языческой рожи — и не стоит? Да только ради этого...

— Не думай, милый земляк, что крымские татары, хоть они все поголовно и мусульмане, только и делают, что возносят молитвы аллаху, творят добрые дела и ведут благочестивые беседы. Они такие же люди, как и мы, только большинство из них развращено военачальниками и муллами — да, да, муллами тоже, и хотят, чтобы работали, накапливали им богатства другие люди, другие народы. Разве они не грабят адыгов? Разве мало в крымской или турецкой неволе наших мужчин и женщин?

— Но зато ведь они несут в наши края высокий свет ислама! Когда мусульманство будет принято всем народом, то многое переменится к лучшему.

Болет покачал головой и ничего не сказал. Адильджери стал понемногу горячиться:

— Но как можно терпеть, когда еще добрая половина наших чувячников продолжает упорствовать в неверии!

— Человеку бывает нелегко отказаться от старых привычек.

— Так надо его заставить!.. — Адильджери с силой ударил кулаком по своему колену и чуть-чуть покривился от боли. — Заставить! Заставить!!!

— Нет, нельзя. Коран не позволяет.

— Как... не позволяет?.. — упавшим голосом спросил Адильджери. — Конечно, я пока еще не обучен грамоте и сам не читаю священную книгу, но многое из того, что в ней написано, я знаю. Знаю со слов двух-трех татарских мулл. Один мулла даже был гостем в моем доме почти целую зиму и каждый день учил меня молитвам...

— И сам при этом не показал себя большим знатоком Корана, — подхватил Болет. — Думаю, что так оно и было, дорогой мой еджаг. Ведь и среди мулл немало напыщенных невежд. Я не хаджи, но книгу мусульман читал внимательно. Правда, не на арабском, а на турецком языке. И хорошо помню оттуда вот такой аят: «Как могла бы уверовать хоть одна душа, если бы на это не было соизволения от аллаха?» Вот что сказано в сотом аяте из десятой суры — я легко запомнил эти числа: они прямые и острые, как стрелы.

Адильджери молчал.

— Могу привести еще одно место из Корана, — спокойно гудел своим роко-чущим басом Болет. — Вот слушай: «Если было бы угодно нам, мы каждой душе дали бы направление пути ее...» Правильно, Бати? — вдруг обратился он к юноше.

Бати густо покраснел и кивнул головой.

Адильджери оторопело воззрился на парня.

Болет, казалось, не замечая его удивления, сказал пареньку:

— Лошадь нашего старшего, наверное, уже остыла, пойдти напои ее.

Когда Бати отошел, он объяснил:

— Мальчишка учился в турецком медресе, знает книгу наизусть.

— О, аллах! — с завистливым восхищением вздохнул Адильджери. — Но мне все-таки непонятно одно, Болет: Как можешь ты, такой знающий, да еще и не простого рода, я это вижу по твоей одежде и оружию, — и вдруг защищать язычников!

— Я людей защищаю. Тех самых, кто кормит и одевает самих себя да еще и толпу дармоедов из «не простого рода».

— Постой, постой! — рыжая борода Адильджери мелко затряслась от гнева. — Ты называешь дармоедами тех, кто наверху?

— Да, кто наверху. Как пена в кипящем котле. Только давай не будем волноваться. Ведь и спорить можно спокойно.

Адилджери помрачнел еще больше:

— Не понравились бы твои слова князю, у которого состою я в свите.

— Какому князю?

— Хатажукову Кургоко.

— А-а-а... — задумчиво протянул Болет.

Он долго молчал, затем, будто решившись на какой-то ответственный шаг, медленно проговорил:

— А теперь я скажу слова, которые твоему князю, наверное, понравятся: сын Кургоко не утонул семь лет назад в Тэрче, он жив и здоров.

Адилджери вскочил на ноги: по его лицу было видно, что он хочет, мучительно хочет знать подробности, что его терзают сейчас десятки вопросов, готовых сорваться с языка, но Болет предостерегающе поднял руку.

— Больше — ни слова! — сказал решительно, а потом добавил:

— Еще не время, — он встал и сделал Бати какой-то знак рукой.

Бати исчез в лесной чаще. Скоро в лесу раздалось приглушенное конское ржание, лошадь Адилджери взволнованно ответила на него. Но вот Бати появилась снова — он вел под уздцы великолепного коня — хоару, буланого с черной гривой, черной полосой на спине и черным хвостом.

Адилджери посмотрел на коня, тяжело вздохнул и стал прощаться. В это время со стороны лесной опушки, где проходила дорога, донесся неясный шум, какие-то крики, разноголосое пение.

Адилджери, Болет и Бати, который прибрал остатки пиршества и приторочил к седлу туго скатанную бурку, вышли на дорогу. Навстречу им двигалась радостно возбужденная толпа крестьян, то ли гоня перед собой, то ли сопровождая большую черную корову без единого светлого пятнышка на лоснящейся шкуре.

— Вот вам, пожалуйста! — криво усмехнулся Адилджери. — Это называется «самостоятельная корова Ахына». Гонят к Махогерсыху — на свое проклятое капище.

На губах Болета появилась добродушная улыбка:

— Так и «шествует», несчастная, от самого моря?

— Какой там! — Адилджери досадливо махнул рукой. — В каждом селе, я уверен, эту скотину подменяют. А потом говорят, что «Ахыном посланная», сама прошла весь путь без остановки. На Махогерсыхе ей отдадут почести, а потом заколят и съедят. Тьфу!

Женщины, мужчины, ребяташки, идущие позади коровы и сбоку, были исполнены не религиозного смирения, а скорее праздничного веселья. Несколько сельских музыкантов извлекали из своих самодельных свирелей и доулов — небольших барабанов, по которым отбивают ритм руками, — бодрые звуки танцевальных мелодий. Многие богомольцы шли, приплясывая и оживленно перекликаясь:

— Шагает, шагает наша красавица блаженная!

— Хорошо идет милая!

— Да уж немного и осталось...

— Эй! Дорогу священной корове!

В больших и красивых глазах у «священной» застыло тоскливо-покорное выражение. Покачивая упитанными боками, она шла вперед мерной деловой поступью.

— Ну, я им сейчас покажу... — пробормотал Адилджери, готовый снова приступить к своим добровольно возложенным на себя обязанностям мусульманского миссионера.

— Подожди-ка, еджаг! — сказал Болет. — Послушай еще одно изречение из

Корана: «Дай неверным отсрочку, оставь их в покое на несколько мгновений».

— Несколько мгновений уже прошло!.. Болет пожал плечами:

— Ну, как знаешь, — и обратился к юноше:

— Нам пора в путь, Бати. Не стоит быть свидетелями чужих дел...

* * *

Канболет и Кубати неторопливо шли по едва заметной лесной тропинке. Буланого красавца вели под уздцы.

— Вот так, братик, — сказал Канболет. — На родину мы вернулись, а куда деваться — пока не знаем. Сейчас мы нуждаемся в трех вещах: во временном пристанище, в хорошей лошади для тебя (и, конечно, в полном снаряжении) и третье — самое трудное — в рассудительном дадеде — посреднике между мной и главным князем Кабарды, твоим, значит, уважаемым родителем.

— Болет! А этот самый Адильджери, он ведь забыл, что ты ему сказал о сыне Кургоко...

— Одержимый! Стоило ему увидеть этих людей с жоровой, и он сразу же почувствовал себя пророком. Такого человека опасно брать в посредники. Но когда его побьют, как это, наверное, уже сегодня было, он останется один, успокоится и тогда обязательно вспомнит о нас. А если хорошенько поразмыслит, то догадается, что Бати — это и есть утонувший Кубати, а Болет... хотя вряд ли ему придет в голову, что он видел Канболета Тузарова, с которым никогда раньше не встречался.

— Как называется место, где мы сейчас находимся?

«Мальчишка рассеян и возбужден, — подумал Канболет. — Никак не придет в себя с тех пор, как попал в наши предгорья».

Вслух он сказал:

— Лесистое урочище в междуречье Шеджема и Баксана называется Махогапс. Тебе здесь нравится?

— В сто раз больше, чем в Крыму! — его глаза восторженно блеснули. — А лес какой!

— А какая охота! — подмигнул Канболет, останавливаясь и показывая парню под ноги, где на мягкой сыроватой земле красовался ясный отпечаток медвежьей лапы. — Вот это видел?

— Уо-о, медведь! — восхищенно вздохнул Кубати. Узкая тропинка, затейливо извиваясь среди вековых чинар, ползла вверх по довольно крутому склону, гребень которого был увенчан желто-бурыми гранитными скалами, похожими на полустертые зубы старого мерина. По следам было видно, что косолапый бродяга пересек этот склон напрямик, снизу вверх, и прошел тут совсем недавно. Вот и конь вдруг встрепенулся, раздул ноздри, захрапел.

— Болет, можно, я сбегая посмотреть? — Кубати умоляюще посмотрел на своего строгого воспитателя.

Тузаров едва удержался от улыбки, которая могла бы напомнить парню, что он совсем еще мальчик: зрачки расширены, словно у котенка, почуявшего мышь, губы слегка подрагивают. Как тут не позволить!

— Ну ладно, беги, — сказал Канболет. — Но только посмотреть и не больше, если только зверь еще не удрал за те скалы. Понял? И в проход между скалами не суйся. Жди там меня.

Как гончий пес, спущенный с поводка, рванулся Кубати вверх по крутому склону, держась рядом с медвежьими следами. Канболет сел на коня, который сразу же успокоился, лишь почувствовал на себе привычную тяжесть, и неторопливо, рысцой, засеменял по извилистой тропе. Немного не доезжая до седловины в скальной гряде, Канболет (он уже потерял воспитанника из виду) услышал вдруг женский крик, блеяние козы, а затем — скорее испуганный, чем угрожающий —

рык дикого зверя. Оставшееся расстояние до прохода в скалах встревоженный Канболет покрыл за несколько мгновений. На небольшой полянке с той стороны перевала ему открылась любопытная картина. Сначала он увидел женщину, с трудом удерживающую за веревку длинноногую козу, затем — чуть подальше — небольшого и очень тощего медведя и весело хохочущего Кубати. Тузаров взялся было за рукоять сабли, но сразу понял, что оружие не понадобится. Уж если кто и нуждался здесь в помощи, так это не Кубати, а косолапый хозяин леса. Парень вцепился ему правой рукой в короткий огузок, еще и густая шерсть, удачно переплелась между пальцами, и сильными рывками то и дело отрывал заднюю часть медведя от земли. Зверь извивался, стараясь обернуться и достать обидчика передними лапами или зубами, но Кубати, отступая назад, делал новый рывок — медведь, теряя опору, чуть ли не тыкался, мордой в землю. Бедняга ревел от злости и от страха, срываясь порой на панический щенячий визг.

Канболет не смог удержаться и рассмеялся от души. Он понимал своего воспитанника: трудно найти лучшую забаву для смелого и сильного юноши. Однако пора было и кончать эту забаву.

Вот и женщина кричит, что больше не в силах удержать свою проклятую скотину, и пусть один медведь или поскорее прикончит другого, или отпустит его с миром.

— Бати! — крикнул Тузаров. — Хватит измываться, над бедным животным. Оставь его в покое.

Юноша отпустил зверя и дал ему пинка в зад, отчего медведь перекувырнулся через голову. Оказавшись, снова на четырех ногах, он уже не стал оглядываться, а со скоростью зайца бросился наутек и с хрустом вломился в чащу подлеска.

Коза сразу успокоилась, обвела надменным взглядом всех присутствующих и стала как ни в чем не бывало пощипывать молодую травку. С сияющими от счастья глазами Кубати подошел к Канболету. Тузаров покачал головой:

— Доволен? Справился с худым полуживым зверем? Чуть не до смерти замордовал несчастного медведя, еще не набравшего сил после зимней спячки. Не хорошо, братик, обижать тех, кто слабее тебя.

Кубати густо покраснел, не зная, то ли принимать слова воспитателя за шутиливую похвалу, то ли за серьезный упрек. По виду Тузарова невозможно было в таких случаях угадать, ругает он тебя или одобряет. И никогда он ничего не объяснит, предпочитает оставлять своего капа в мучительном неведении.

Вдруг женщина крикнула так, что мужчины вздрогнули:

— Канболет! Ты ли это?!

Тузаров только сейчас по-настоящему посмотрел на женщину и узнал ее сразу.

— Нальжан? Ну конечно, Нальжан! — он спрыгнул с коня и подошел к ней.

Ровесница Канболета, знавшая своего тлелотлеша еще ребенком, когда они вместе с шумной ребячьей ватагой бегали купаться па Терек, порывисто обняла его и заплакала.

— Уж и не мечтала тебя когда-нибудь увидеть...

Канболет взял ее за круглые, но совсем не по-женски широкие плечи, застенчиво отстранился от ее высокой груди и долго всматривался в ее лицо, поражавшее своей грубоватой красотой, которая могла скорее отпугнуть, чем привлечь к себе мужчину. Да и ростом она была на полголовы выше Канболета. Нальжан родилась в семье третьестепенного уорка. А уж в кого такая пошла — неизвестно. Вероятно, несколько поколений ее худосочных предков, никогда не отличавшихся ни мощью, ни приятной наружностью, копили и копили силу, по крохам откладывали красоту, чтобы когда-нибудь разом свалить накопленное богатство па одного из будущих наследников (хотя хватило бы и на двоих). Этим наследником и ока-

залась Нальжан. В ее огромных темно-карих глазах Канболет видел силу и не женский разум. Хватало в них еще места для бесконечной доброты, а возможно, и для более сильного чувства. Глаза эти давали понять, что они могут быть и грозными, особенно если над ними сдвинутся черные, почти сросшиеся брови. При улыбке ее крупные пунцовые губы, очерченные решительно и четко, обнажали два ряда безупречно ровных белых зубов.

— Ты почти не изменилась, Нальжан, — сказал Канболет. — Только еще красивее стала. И удивительно, что еще не встретила достойного тебя жениха. — Тузаров заметил, что ее крепкий стан туго стягивала шнуровка коншибы — девичьего корсета. (Как отличать девушку от замужней женщины по манере носить головной убор, он тоже помнил.)

Нальжан из приличия сделала вид, будто немного смутилась.

— Ты достаиваешь меня добродушной шутливости, молодой наш хозяин. Да ведь мне, глупой привередливой деве, всегда хотелось иметь мужа хоть немного похожего на тебя. А таких не попадалось. Вот и упустила я свое время. Видно, теперь всю жизнь придется оставаться в доме старшего брата-вдовца.

— А где твой брат?

— А здесь, в Шеджемском ущелье. Так и живет в маленькой усадьбе наших родителей. Ты ведь знаешь, моя старшая сестра была замужем за одним из уорков твоего отца, а родители наши умерли рано, и сестра забрала меня еще маленькой девочкой в свою семью. Помнишь ее?

— Немного помню.

— Тогда ты должен помнить, что обе ее дочери вышли замуж, а сама она умерла незадолго до того страшного случая, когда твоего отца... Нальжан запнулась.

— Помню, — коротко ответил Канболет. — Ну, а муж твоей сестры?

— Убит в тот же день, что и другие защитники тузаровского дома. О, аллах! Пошли семь громов и семь молний на вшивую голову князя Алигоко! — глаза Нальжан гневно засверкали, румяные щеки побледнели. — Это он, сын змеи и шакала, виновник всему. Чтоб его потомству...

— Постой, добрая наша Нальжан, — мягко прервал ее излияния Канболет. — Об этом мы еще поговорим в более подходящее время. Мы с моим каном только что вернулись из далекого путешествия. Пристанища пока не имеем и...

— Ни слова! Ни слова больше, славный наш хозяин, иначе получится, будто я сама не догадалась попросить тебя о великой чести воспользоваться домом моего брата. А за мою недогадливость он оторвал бы мою глупую голову. И правильно бы сделал. Пойдем скорее! — И она так рванула веревку, привязанную к рогам козы» что та с жалобным блеянием грохнулась оземь. — Сюда» по этой тропинке вниз, к реке, а там и жалкая наша лачуга совсем близко. Нет, аллах наверняка накажет меня за длинный язычище и короткий умишко. Но брат еще страшнее...

«Какое трогательное сравнение, — подумал Тузаров. — И, кажется, оно не в пользу Всемогущего. Не-е-е, добродетельная богобоязненность никак не прививается кабардинской женщине».

Даваясь от еле сдерживаемого смеха, Канболет передал поводья коня воспитаннику, который, не мигая, с застывшей улыбкой все время прислушивался к беседе старых знакомых.

Южный склон хребта, возвышающийся над левым берегом Чегема, немного круче северного. И лес на этом склоне гуще, разнообразнее. Если на теневой стороне господствуют вековые чинары, то на солнечной чего только нет: и боярышник, и кизил, и дикие груши, и колючий шиповник, и мушмула — все цветет, благоухает, и каждый корешок жадно тянет соки из пробудившейся к жизни земли, и каждый зеленый листочек захлеб упивается ярким светом весеннего послеполюденного неба.

С одного из поворотов тропинки открылся вид на бурливую многоводную реку. Стал слышнее грохочущий шум потока, разбивающегося об огромные валуны. В некоторых местах берег обрывался к воде отвесными скальными уступами. Тропинка извивалась теперь вдоль реки, скоро она спустилась к самой воде, затем снова поползла вверх. Наконец путники вышли на небольшое, чуть покатое плато, заросшее травой и мелким кустарником. Неподалеку показалось несколько строений, видимо, относящихся к одной усадьбе, подальше — небольшое село.

— Мы уже почти дома, — объявила Нальжан.

Но тут их внимание привлек внушительный отряд всадников на противоположном, более пологом и ровном берегу, по которому была наезжена широкая дорога. Всадники ехали вверх по течению реки — навстречу Канболету и его спутникам. В этом месте берега сходились близко, и через реку можно было бы легко перебросить камень.

Больше половины конников составляли крымские татары. Вслед за передовыми, среди которых, наоборот, кабардинцев оказалось побольше, ехали какие-то важные персоны. На белом арабском жеребце восседал толстый, надутый сознанием собственного величия татарин в пышно изукрашенных одеждах. Чуть позади — всадник в лиловой черкеске, с тонким шрамом через всю щеку. Канболет застыл на мгновение и напрягся, будто перед прыжком.

— Хочешь знать, кто такие? — тихо спросила Нальжан.

— Знаю, — медленно процедил сквозь зубы Тузаров. — Алигот-паша, наместник крымского хана, и князь Шогенуков, вшиголовый хищник. А вот куда и зачем они едут...

— Уже не первый раз они в этих местах. На охоту едут.

— А-а, вот как...

Кавалькада скрылась за поворотом дороги.

— Не будем задерживаться, бесценные гости наши, а то мой брат уже, наверное, собирается искать меня, как я искала эту пророком проклятую козу. О, что я говорю! Теперь она не проклятая, а благословенная, ведь милая моя козочка помогла мне встретиться с вами!

Они пересекли зеленый лужок, на котором с удовольствием задержался бы тузаровский конь, и подошли к плетневой ограде маленького двора.

ХАБАР ВОСЬМОЙ,
*вопрошающий, чем отличается скотина
мусульманская от скотины христианской?*

Дом был поставлен на высоком каменном фундаменте и был немного похож на жилища балкарцев, чьи селения располагались выше по ущелью. Крышу, составленную из плотно подогнанных друг к другу стволов молодых сосен, поддерживали массивные дубовые столбы. Кровлей служил привычный для кабардинцев камыш, покрытый дерном. Стены сделаны были из двойного орехового плетня, обмазанного глиной в смеси со свежим конским навозом. Были, конечно, во дворе маленькие загоны для скота, открытый сарай, а вот что это за небольшое каменное строение в глубине довольно обширного сада, примыкающего к лесистому склону горы, Канболет смог определить не сразу. Только присмотревшись к белому полупрозрачному дымку, поднимающемуся над высокой трубой, он догадался: там кузница.

Из нее вышел худощавый высокого роста мужчина лет сорока пяти и неторопливой походкой направился к дому. В каждом движении этого человека чувствовалась уверенная нерастраченная сила. Короткая черная с проседью борода, жесткие усы и темно-серые колючие глаза под густыми дугообразными бровями придавали его смуглому лицу немного мрачноватый вид. Но вот он бросил, казалось бы, мимолетный, но очень внимательный взгляд на наших путешественников, и резкие складки между его бровями разгладились, глаза посветлели и лицо обрело выражение спокойной приветливости.

— Брат! — радостно улыбаясь, сказала Нальжан. — Я привела к тебе гостей.

— И хорошо сделала, сестренка! — мягким голосом сказал хозяин дома и, повернувшись к Тузарову, с церемонным достоинством приветствовал его:

— Мой бедный дом в распоряжении моих гостей. Проходите в качеш, вам надо отдохнуть с дороги.

Нальжан взяла поводья тузаровского коня и повела его под навес, откуда доносился запах свежескошенной травы. Кубати пошел следом, чтобы расседлать коня и снять поклажу.

— Сана! — зычно выкрикнул брат Нальжан. — Иди сюда, дочка!

Из левой двери дома выбежала молоденькая девушка с глазами точно такого же цвета, как у хозяина дома. Увидев гостей, она будто споткнулась, застыла на месте, смутилась от неожиданности, но поклон, которым она приветствовала путников, все же получился естественным и без излишней робости.

— Сходи позови Куанча, пусть бросает все и спешит домой, — сказал хозяин. — Он тут рядом, в лесу. Наверное, углей нажег столько, что мне хватит до первого снега. Потом твоя тетка скажет, что вам делать дальше.

В гостевой комнате было чисто и уютно. На деревянном полу желтели искусно сплетенные арджены — циновки из тоненьких камышинок. Очаг был сложен из красивого плиточного известняка. Остальное в гостиной — все, как бывает в такого рода домах: тахта, застеленная цветастым войлоком, на стене — опять войлочный ковер, на полочках у очага — глиняная, деревянная и чугунная посуда, на полу — медный котел и медный тазик для мытья рук. Кубати поразило обилие всевозможных сабель и кинжалов, развешанных по стенам.

— Молодой витязь находится в гостях у кузнеца-оружейника, — улыбнулся хозяин дома. — Зовут этого кузнеца Емуз. А если гостю так больше понравится, то он может считать, что его принимает третьестепенный уорк из ничем не замечательного рода Шумаховых.

— Первостепенных оружейников я ценю выше, чем первостепенных дворян, — прогудел спокойным басом Канболет, снимая с пояса саблю и вешая ее на крюк

в опорном столбе. — Некоторые вещи здесь сработаны на славу. И на каждой чувствуется одна и та же искусная рука.

Емуз удивленно поднял брови и склонил набок голову, словно таким способом он мог получше рассмотреть гостя.

— Еще ни один из людей, носящих на ногах сафьяновые тляхстены, не говорил мне подобных слов.

— Подобные слова говорил мой отец. Он не учил меня различать людей по одежде, хотя сам и любил одеваться богато. Звали моего отца Тузаров Каральби. Твоя сестра хорошо его знала...

Емуз медленным движением руки сдвинул шапку на затылок, помолчал немного и сказал:

— Сядем, сын Тузарова. Вот здесь, на эти скамьи у очага. Сейчас нам подадут воды, чтобы ты мог смыть дорожную пыль, а потом, наверное, чем-нибудь слегка накормят.

Впервые за многие, многие дни Канболет вдруг почувствовал тихую безмятежную радость на сердце и желание хоть ненадолго расслабиться и забыть обо всем, что его тревожило.

В комнату вошла Нальжан с кумганом воды. Пока Канболет мыл руки над тазиком, она бросала загадочные взоры на брата. Л тот притворно хмурился и делал вид, что ничего не понимает.

Следом за Нальжан в хачеше появилась — прелесть, а не девушка — совсем еще юная красавица Сана. Переступив порог, она сошла, в знак особого уважения и гостю, со своих пхаваков (деревянные подошвы на высоких, в три пальца, подставочках — своеобразные котурны) и приблизилась к мужчинам в одних матерчатых ярко расшитых чувячках на крохотных ножках. Смущенно потупив длинные ресницы, она молча поклонилась и поставила на трехногий столик блюдо со сладкими лепешками, засушенными фруктами, чашами с медом.

— Это дочь моя Сана, — сказал Емуз Канболету. Потом, обращаясь к девушке, он добавил:

— Можешь пока идти.

Голос его звучал сурово, но нетрудно было заметить, что эта суровость нарочитая: она никак не вязалась с выражением отцовских глаз.

Девушка еще раз поклонилась и церемонно, то есть не поворачиваясь к гостям спиной, а попятившись, удалилась из хачеша.

— Сестра! — резко окликнул Нальжан хозяин дома. — Что-то я не видел раньше, чтоб моя дочь становилась на пхаваки. Это, конечно, твоя затея? А ты знаешь, я не люблю, когда корчат из себя знатных господ.

Нальжан не на шутку оробела, но все же нашла в себе силы мягко возразить грозному брату:

— Ну мы тоже не простолюдины! — взяв тазик и кумган, она вышла за дверь таким же вежливым манером, как и ее племянница.

Через некоторое время со двора донесся приглушенный смех двух молодых людей, затем в хачеш вошли Кубати и еще один парень в скромной черкеске без газырей, в лохматой шапке из грубой овчины и в шарыках из бычьей кожи. Кажется, юноши уже успели не только познакомиться, но и понравиться друг другу.

Кубати разгреб теплую золу в очаге и стал раздувать тлеющие угли, а его юный приятель положил на пол принесенную с собой охапку дров, снял котел с очажной цепи и вышел.

— Этого моего юного помощника, — сказал Шумахов, — зовут Куанч. Балкарец. Живет у меня с прошлой осени. Сирота. Был крепостным у одного таубия. Не вытерпел унижений, осмелился на одну дерзкую выходку и еле ноги унес. Теперь обучается ремеслу у единственного кузнеца среди кабардинских уорков и единственного уорка среди кабардинских кузнецов.

— Наверное, хороший мальчуган? — спросил Канболет.

— Породнился я душой с этим озорником...

В очаге уже разгорелось веселое пламя. Кубати подложил в огонь еще несколько сухих поленьев и заторопился во двор. В дверях он чуть не столкнулся с Куан-чем, который тащил котел с водой, где плавали куски свежеразделанной бараньей туши. Повесив котел над огнем, Куанч предложил:

— Хозяин! У меня уже в саду костер горит. Можно, я жалбаур сделаю быстро? Балкарский, настоящий, хорошо? Ладно? — он говорил по-кабардински бегло, но произношение выдавало в нем представителя другого народа.

— Это печенка, завернутая во внутренний жир? — переспросил Емуз. — Делай. И молодого гостя попотчуй. Ну и, если сами все не съедите, нам тоже принесите по кусочку.

Широкоскулое румяное лицо парня залилось краской. Он укоризненно покачал головой:

— Так можно разве говорить, а? Емуз добродушно усмехнулся:

— Ладно, иди.

Канболет, наблюдая за всеми этими домашними хлопотами, которые казались ему милыми и трогательными, чувствовал в своем сердце блаженную умиротворенность.

После того как Нальжан поставила перед мужчинами большой кувшин с холодной махсымой, Емуз небрежно заметил, что теперь их на время оставили в покое. Канболет понял: Шумахов хочет послушать рассказ своего неожиданного гостя.

— Хорошая махсыма, — похвалил напиток Тузаров, — я такой не пробовал, семь лет...

Емуз снова наполнил резные деревянные чаши.

— Должен я тебе сообщить, дорогой мой бысым (*хозяин угощения и ночлега*), а главное — брат Нальжан, которая была не чужой в доме Тузаровых, что имя моего спутника — этого безусого джигита — Кубати, а имя его отца — Кургоко Хатажуков. — Канболет помолчал, глядя в упор на Емуза, и продолжил:

— Ты самый первый человек, которому я открываю эту тайну, не считая одного случайного встречного, которого я, ничего не объясняя, попросил только передать князю, что его сын жив.

Емуз выронил чашу — она упала доньшком на столик, но не опрокинулась. Он снова ее поднял и отпил несколько глотков.

— Значит, маленький Кубати не утонул?! И нашему главному пши предстоит большая радость?

— Ему-то предстоит, а вот мне — не знаю.

— Да-а-а... Пока об этом один аллах знает. Как ты поладил с мальчиком? Или ему неизвестно свое имя, или он не подозревает о том, что оба его дяди...

— Ему-то все известно, — перебил Канболет. — Но не всем известно, что на мне кровь лишь одного Мухамеда, убийцы моего отца. А Исмаила тоже убил Мухамед, когда тот пытался помешать ему в охоте за этим проклятым панцирем. Брат убил брата прямо на глазах ребенка. Это видел еще один человек — Алигоко Вшиголовый.

— Вот это новость, клянусь наковальней ТлепшаГ Да простит аллах нестойкость Емуза (каб., значит «стойкий»), у которого этот бог частенько соскакивает с языка. Но каков Алигоко! Вот шакал! Ведь он тебя, Канболет, с головы до ног облил кровью Исмаила. И все в Кабарде поверили, что ты...

— Я опасался этого, — грустно сказал Канболет, — но все же надеялся, что правда не будет похоронена.

— Ничего. Теперь мы ее раскопаем и сбросим с нее покровы лжи.

Собеседники, задумавшись, некоторое время молчали. В котле закипала во-

да. В комнату бесшумно проскользнул Куанч, ловко снял иену, подбросил в очаг дров и так же неслышно исчез.

— Да! — встрепнулся Емуз Шумахов. — А ведь я должен, наверное, принимать твоего капа, как принимают княжеских сыновей?

— Нет, — решительно возразил Тузаров. — Он пока еще только мой воспитанник. И я не учил его кичиться княжеским происхождением. — Канболет сказал это точно таким же тоном, как и слова о том, чему не учил его старый Каральби. — Мой кан крепко усвоил одно важное правило: если чем и стоит гордиться в жизни, то не благородной кровью, а благородными и мужественными поступками.

— Об этом же говорит один человек, которого я уважаю больше всех в Кабарде! — Емуз был заметно взволнован.

— Кто этот человек? — спросил Тузаров.

— Я тебя еще с ним познакомлю. Ты вряд ли слышал о нем.

— Я вообще мало встречал хороших людей...

— Зато всяких людей повидал, я думаю, множество?

— Повидал... Расскажу тебе все по порядку... Слушай мой хабар, — сказал Тузаров.

* * *

После того как я отомстил бешеному Мухамеду за смерть своего отца, а затем прошелся плетью по шакальей морде Шогенукова и разрубил пополам его шапку, я думал, что мне никогда больше не жить в Кабарде, никогда не видеть родной земли. И вдруг я натыкаюсь в лесу на мокрого, дрожащего от холода и страха мальчика, чуть не утонувшего в тот вечер в Тэрче. Узнав, кто он такой, я решил взять его с собой в изгнание. Вырастив из сына князя мужчину и воина, я мог рассчитывать на примерение Кургоко. Немало, думал я, будет значить и рассказ самого Кубати о смерти Исмаила. Скорее бы Хатажуков узнал правду...

Я очень радовался тому, что мальчика не пришлось увозить силой. Об одном только я жалел и продолжаю жалеть до сих пор: напрасно оставил в живых Алигоко Вшиголового. Но в тот час я еще не подозревал, что руку убийцы моего отца и разорителя нашей усадьбы направлял именно он, трусливый подстрекатель и алчный хищник. И понял я это уже позже и не без помощи Кубати, который через несколько лет, повзрослев, смог то-настоящему оценить иге подробности поведения Алигоко, каждое произнесенное им слово, каждый многозначительный взгляд или ухмылку — так мы с ним и разобрались в истинном смысле тех кровавых событий.

Без особых сложностей доехали мы с Кубати до Сунд-жук-Кале, откуда я хотел перебраться в Крым. У меня с собой не было никаких ценностей, а в тех местах, где хозяйничают татары, и шагу не ступишь без денег. Либо помирай на глазах у всех с голоду, либо продавайся в рабство. А продавалось и покупалось в этом людском скопище все что угодно: всевозможное оружие, лошади, невольники, среди которых больше всего было ады-тов, калмыков, курджиев, мудави... *(так кабардинцы называли в старину грузин и абхазцев)*

Впервые в жизни я собирался шключить сделку. У нас не оставалось никакой другою выхода, кроме продажи бабуковской лошади. Мальчик очень нуждался в теплой одежде, а оба мы - в крыше над головой.

Один торговец предложил мне за бабуковскую лошадь тридцать турецких серебряных монет — пиастров.

Одного пиастра нам с Кубати хватало на то, чтобы два дня и две ночи прожить на постоялом дворе. Я купил все необходимое для мальчика, а себе — бурку и башлык.

Оставшиеся деньги должны были пойти на дорогу в Крым. Но хотя в гавани теснилось множество судов, ни одно из них не отваживалось поднять якорь.

Мы попали сюда в неудачные дни: джигиты морских просторов переживали время осенних бурь. Очень огорчались и работоторговцы: невольников надо было кормить — кто же-станет их покупать раньше, чем наступит день отплытия!

Не знаю, что я стал бы делать дальше, если б нам неожиданно не повезло. Как-то раз на пустынном берегу на меня напали три грабителя. У одного из двух, кто остался лежать на земле, оказался увесистый кошель-с серебряными бешликами и пиастрами, чуть поболее-того, чем я располагал после продажи лошади.

Теперь можно было спокойно дожидаться перемены погоды. Наконец волнение на море улеглось, а волнение на базаре достигло наивысшей силы. Суда спешно грузились всякими припасами, пресной водой, а затем — в последнюю очередь — и «живым товаром».

Мы попали (вместе с нашим Налькутом) на большую и очень грязную греческую фелюгу, которая отправлялась в Каффу.

Отплывали в пасмурную погоду. Так же пасмурно-было и у меня на душе. Тяжелая тоска сдавила мне-сердце при виде удаляющегося берега. Я боялся за Кубати: как бы не разревелся. По мальчик, против моего-ожидания, был оживлен и весел, задавал десятки вопросов.

Он спрашивал, глубокое ли море, водятся ли в нем. змеи, может ли корабль скакать по волнам так же быстро, как хороший скакун, почему вода в Ахыне соленая, и кто ее посолил, живут ли на морском дне испы (*сказочные карлики в кабардинском фольклоре*) и если да, то как же они разжигают огонь в своих очагах, куда летит эта чайка и откуда ветер дует...

Наутро, пробудившись от сна, мы с Кубати вышли: на палубу и дружно ахнули от изумления: стояла ясная тихая погода, и море, вчера такое неприветливое, теперь искрилось чистой лазурью. Высокое голубое небо где-то далеко-далеко цеплялось своим вогнутым краем за край моря. Земли нигде не было видно. Мальчика это не удивило. Он сказал, что если отходить подальше от дома, то скоро он будет уместаться на ладони вытянутой к нему руки, затем на ногте большого пальца, потом станет меньше самого маленького муравьишки. Ну, а сейчас мы так далеко отъехали от берега, что сама земля стала такой крошечной, что разглядеть ее невозможно.

Землю — и это была чужая, не наша земля — мы увидели к вечеру. Она медленно росла на наших глазах. Сначала мы видели неровную скалистую кромку берега, позже стала различимой белая россыпь домиков. Солнце уже окунуло за-краину своего диска и морскую воду (я невольно ожидал, что вода закипит и вспенится), когда борт нашего судна коснулся причала.

Все, кто плыл на корабле, свершили вечерний намаз, воздавая хвалы Милостивому и Всемогущему за благополучное путешествие, и заторопились к сходням.

Вот она, чужбина...

Так, наверное, чувствует себя олень, спасшийся от погони. Быстрые ноги принесли его в неведомые места, и вот он настороженно осматривается: нет ли здесь других охотников или хищных зверей, и если его жизни сейчас ничто не угрожает, то надо еще найти подходящее пастбище. И неизвестно, богатым оно будет или скудным и будет ли вообще? До сих пор я старался не думать о том, как стану жить, чем заниматься в изгнании, что смогу сделать для Кубати. Теперь пришло время крепко обо всем этом подумать.

В день, когда я ступил на землю Крыма, я вдруг почувствовал себя маленьким юнцом, которому не хватало опыта и мудрости зрелых мужей. А проще говоря, мной овладела робость и неуверенность, как у той собаки, что случайно оказалась в чужом дворе.

Надвигались сумерки, и я, не обнаруживая перед Кубати своего беспокойства, мучительно искал выход из положения. Но ни одна здравая мысль не забредала в мою голову.

У извилистой, поднимающейся к верхней части города, дороги протекал арык с чистой водой. Глухие стены глинобитных и каменных строений выглядели равнодушными и негостеприимными. Я остановился, чтобы напоить своего доброго коня Налькута.

Из глубокой задумчивости меня вывели чьи-то гортанные голоса. В трех шагах от меня стояли два татарина. Один из них, красивый молодой мужчина моих примерно лет (я имею в виду еще «те» мои годы), одетый в дорогой парчовый халат, держался с гордым достоинством. Второй, одетый гораздо проще и беднее, был, вероятно, его слугой.

— Мир тебе, чужеземец! — сказал по-кабардински татарин, что был победнее. — Мой хозяин, знатный паша из свиты самого хана, да пребудет над нашим ослепительным владыкой благословение аллаха, приветствует тебя.

— Уалейкум салам! — ответил я, глядя на пашу. — Хотя я и не очень свободно говорю по-татарски, но могу обходиться без толмача.

— Тем лучше, — паша позволил себе слегка улыбнуться. — Судя по всему, ты не из простого рода, мужественный черкес

— Твоя проницательность, паша, тебя не обманывает. Мой род немножечко известен в Кабарде, и в Большой и в Малой, и потому беседа с человеком по имени Болет тебя не слишком сильно унизит.

— А меня зовут Аслан, — представился молодой паша. Изящные черные его глаза открылись пошире — Я вижу, ты не расположен говорить о себе больше, чем сказал. Любите вы, черкесы, хранить о себе всякие тайны, особенно после очередной ссоры, которая почти всегда предшествует вашей поездке в Крым. Я угадал?

«Вот шайтан!» — подумал я и не смог удержаться от смеха.

— Если бы я тотчас распрощался с тобой и немедленно, никого больше не встречая, погрузился на корабль и уехал на родину, то всю жизнь считал бы, что татарские паши — это обладатели быстрого и острого, как наконечник стрелы, ума.

Паша рассмеялся тоже:

— Нет-нет, среди нас хватает и тех, кого иначе, как «ослиная башка», не назовешь. Ты мне скажи, твой конь не продается? Я ведь за тем и вышел из ворот этого дома, принадлежащего моей вдовой и бездетной тетке.

За высокой каменной стеной виднелась пологая односкатная крыша из красной черепицы. Лицевой частью дом был обращен к морю, а торцом выходил на проезжую дорогу. Боковая часть галереи, поднятой на два человеческих роста над землей, также смотрела на дорогу. Вот, наверное, оттуда и заметил паша моего Налькута.

Я постарался ответить ему как можно мягче:

— Разве можно продавать друга?

— Тогда, может, сыграем в кости на твоего хоару — кажется, так называется эта порода?

«Вот тебе и раз! А что скажет пророк Магомет, запретивший азартные игры?» Вслух же я сказал другое:

— Давай лучше сыграем на мое ружье. У меня хорошая эржиба.

Паша поморщился:

— В Кабарде красиво отделяют ружья, но ствольная трубка, наверное, турецкая?

— Нет. Из Испании.

— Пошли в дом. Темно становится. — Аслан дотронулся до моего плеча. — Если тебя не ждут друзья за первым же поворотом дороги, то прошу остановиться на ночлег у меня...

— За первым поворотом нас с братишкой не ждут...

— Тогда идем! — тоном, не терпящим возражений, скомандовал паша. —

Халелий! Позаботься о лошади.

Итак, в первый же день приезда нам повезло. Иначе не знаю, какими глазами я смотрел бы на моего мальчугана.

Скоро мы сидели на подушках, разбросанных по мягкому ковру в хорошо освещенном гостевом зале. В огромном белокаменном камине полыхал жаркий огонь. Халелий расставил на ковре, между мной и Асланом, серебряные блюда со свежими фруктами и очищенными от скорлупы орехами фундук, орехами грецкими и миндалем. На отдельном блюде дымился рис с изюмом, курагой, черносливом. В блестящих тонкогорлых кувшинах — янтарный шербет и рубиновый нарденок (напиток гранатового сока).

Неплохо был устроен и Налькут. Он сейчас стоял в уютной конюшне и угощался овсом вперемишку с берсимо — высушенным александрийским клевером.

Аслан-паша по достоинству оценил мою эржибу, инкрустированную золотом по стали и перламутром по красному дереву приклада. К тому же сталь была, как я уже говорил, из Испании: ствол сработали знаменитые мастера из города Толедо.

Очень понравилось паше мое ружье. Он забыл даже о Налькуте. И пот тут на ковер увесисто шлепнулся пузатенький кошелек со звонким металлом, который в Крыму пользовался гораздо большим почтением, чем в Кабарде, ценившей хорошо заточенную сталь неизмеримо выше. Аслан развязал шелковый шнурок и высыпал передо мной горсть серебряных монет.

— Ровно сотня пиастров! — объявил он. — Здесь почти все турецкие, но вот эти, самые крупные — русские ефимки (*австрийский талер с надпечаткой герба дома Романовых*). Каждый из них стоит четыре пиастра. Согласен на такой заклад? Смотри, я не жаден, как многие мои сородичи.

— Ну и я не жаден.

Аслан паша протянул мне пару костяных кубиков, в каждую грань которых были вделаны мелкие рубиновые зернышки числом от одного до шести.

— Начинай.

До сих пор у меня не укладывалось в голове: как это можно — принимать гостя и тут же вести с ним торговые сделки или затевать азартные игры? Но я еще раз вспомнил, что нахожусь совсем в другой стране, чьи обычаи отличаются от наших.

Я бросил кости.

На одном кубике выпало два, на другом — три. «Ну вот и все, — подумал я, игра окончена».

Однако Аслану, довольно усмехнувшемуся при виде моей неудачи, повезло еще меньше: у него выпало один и три.

— Деньги твои, — сказал он спокойно. — Ставлю еще столько же. Теперь я бросаю первым.

Покатались костяные кубики. Вот остановился один — шестеркой вверх, затем замер другой, уставившись на суетный наш мир четырьмя бесстрастными красными глазками.

— Ха! — Аслан хлопнул в ладоши. — Это уже неплохо. Твоя очередь, Болет-паша!

К стыду своему должен признаться, что хмель азарта ударил неожиданно и в мою голову. И пока не замерли на ковре кубики, я с трепетным волнением ждал результата. И он снова оказался в мою пользу — шесть и пять. И сразу я будто опомнился. Передо мной вдруг встали на мгновение строгие глаза моего отца. Я зажмурился, чувствуя жгучий стыд. Воровато оглянулся на Кубати и с облегчением убедился, что мальчик спит и, кажется, уже давно. Чуть в сторонке от нас он откинулся на подушки, свернулся калачиком и мирно посапывает, иногда озабоченно вздыхая во сне

Мой бысым рассмеялся так, словно услышал от меня веселую шутку.

— Легкая у тебя рука, светлоликий мой черкес! А ну, попытаем счастья в третий раз.

— Нет, дорогой Аслан-паша! Хватит. Я сейчас бросил кости второй и последний раз в жизни. И этот второй выигрыш я уже не возьму.

— Как?! — удивился Аслан. — Почему?

— Потому что я ощутил в себе зарождение низменных страстишек азартного игрока.

Аслан испытующе посмотрел мне в лицо и надолго задумался.

— Ладно, — сказал он наконец. — Только вторую сотню монет заberi все равно.

— Нет. Не могу.

— Возьми, говорю! — рассердился паша. — Я ведь проиграл!

— Считай, что это было в шутку. И еще. Мне будет очень приятно, если ты примешь от меня в подарок ружье — оно тебе, кажется, понравилось.

— Постой...

— Учти, что пять зарядов вороха должны весить ровно столько же, сколько одна нуля чистою свинца...

— Но я не понимаю...

— А что тут не понимать? — я сделал вид, будто не понял, что имеет в виду паша. — Вот тебе пуля, — я протянул ему чуть сплюснутый шарик свинца (он был у меня образцом), — заказывай точно такие же. Если, повторяю, пять пороховых зарядов будут весить столько же, сколько эта пуля, то стрельба без промаха будет зависеть только от тебя.

— Ты благородный человек, — торжественно возвестил Аслан-паша. — И пусть аллах осыплет тебя своими милостями! Кстати, о каком сорте пороха идет речь, друг мой Болет?

— Ну вот это уже мужской разговор, — обрадовался я, ибо совесть моя вновь обрела покой. — Надеюсь, для тебя, друг мой Аслан, раздобыть достаточный запас русского пороха, а еще лучше — пороха инглизов не составит особого труда? Турецкого на заряд требуется больше, да и не так он надежен.

— Ха! Турецкий! — паша пренебрежительно махнул рукой. — Такой товар не по нашему достоинству. — Он покатал пулю на ладони. — Приблизительно десять драхм... *(мера веса, равная 3.7 грамма)*

— А утром я покажу тебе, сколько пакли надо расходовать на пыжи и с каким усилием уплотнять заряд...

— И на расстоянии ста шагов можно попадать в цель не больше человеческой головы? — подхватил Аслан-паша.

— Не больше кошачьей головы, — уточнил я.

— Ага! Ну теперь я кое с кем посостязаюсь! Завтра же начну упражняться. Хотя бы и по дороге в Бахчисарай. — Он любовно поглаживал приклад эржибы. — Да, а нам с тобой, гость с Кавказа, не по пути ли? Поедем вместе. И братишке твоему найдется лошадь.

Аслан-паша постепенно выяснил, что у меня пет в Крыму ни одного знакомого, что мне, в общем-то, неважно, куда и с кем ехать, что до сих пор у меня нет ясных намерений относительно устройства своей жизни на ближайшие времена. И вот тогда он предложил, а я, подумав немного, согласился заняться обучением мальчишек из родовитых семей. С десятков лоботрясов, как объяснил паша, нужно натаскивать в стрельбе из лука, в обращении с конем и саблей, закалять их дух и тело. К ним был приставлен один наставник, да недавно он сам свалился с лошади и разбил себе голову о камень.

— Твое положение будет значительным и почтенным, — сказал Аслан-паша. — И не сомневайся в том, что я заставлю этих чванливых скупердяев щедро возна-

граждать тебя за искусство, которому ты станешь обучать их раскормленных недорослей.

Но я, конечно, думал не о богатстве, наживать которое не входило в мои намерения. Главным было для меня — сделать из Кубати настоящего мужчину и хорошего кабардинца. Я спросил у Аслана, может ли мой «братишка» состоять в числе моих будущих учеников. Услышав благоприятный ответ, я больше не колебался. На этом мы закончили нашу продолжительную беседу. Аслан удалился на отдых куда-то во внутренние покои дома. Пришел его слуга Халелий, чтобы подготовить мой ночлег в гостевом зале...

Так закончился первый и, можно сказать, неплохой день нашего с Кубати пребывания на незнакомой земле Крыма.

Годы, прошедшие в Бахчисарае, оказались довольно однообразными. И это, наверное, к лучшему...

С самого начала все получилось так, как и предполагалось по замыслу Аслана. Он меня представил нескольким важным татарским вельможам, которые хотели вырастить своих сыновей знаменитыми военачальниками. Первое время то один сановник, то другой приезжал в сопровождении внушительной свиты к месту наших игрищ, чтобы понаблюдать, не тратится ли время даром: видно, не доверяли моей молодости. Однако, посмотрев, как их отпрыски с щенячьей злостью рубят лозу, уверенно держась в седле при быстром галопе, как все искуснее применяют приемы сабельного боя или, замерев, словно изваяния, подолгу держат в вытянутой левой руке древко лука, удовлетворенно ухмылялись и приходили в благодушное настроение.

С увлечением отдавался этим мужским играм и мой Кубати.

В первый же год он заметно окреп и прибавил в росте.

Мы жили в небольшом, но уютном доме с двумя комнатами. Чуть ли не половина маленького дворика, огороженного высоким глинобитным дувалом, была упрятана под навес. Через садик с несколькими сливовыми, абрикосовыми и персиковыми деревьями протекал чистенький арык с ключевой водой. Плата за аренду составляла немалую сумму. Дорого тут стоили и дрова. Но меня это совсем не беспокоило, хотя, вопреки заверениям Аслана-паши, «щедрость» моих нанимателей оказалась далеко не безграничной.

Однако на жизнь нам хватало. К роскоши мы не стремились и потому тратили даже не все деньги, которые время от времени нам все-таки перепадали.

Аслана-пашу мы видели теперь очень редко. Бывало, он надолго покидал город, то сопровождая Девлет-Гирея, то выполняя какие-то его поручения, иногда связанные с поездками в Истамбул. Однако он помнил о нас. Иногда присылал барана или корзину с фруктами, два-три раза в год зазывал к себе в гости, где устраивал богатое угощение. А Кубати ездил на лохматой татарской лошадке, подаренной ему Асланом-пашой.

Не стану рассказывать слишком подробно о том, как я учил своих подопечных, о чем думал или тосковал. Будущие джигиты успешно овладевали всеми премудростями военного искусства, становились ловкими и выносливыми. К пятнадцати годам эти юнцы имели по-мужски твердые мускулы рук и ног, только хрящи оставались еще мягкими. Недаром я заставлял их каждый день бегать и бороться, сажая одного на закорки или на шею другому. Много они у меня проливали пота, зато с каждым днем наливались здоровьем и силой. Их высокородные папаши были довольны. Когда наконец мои питомцы впервые приняли участие в скачках и состязаниях по стрельбе из лука и джигитовке — а этот праздник удостоило своим присутствием само ханское величество, — они лихо побили большинство известных своими ратными заслугами мужчин. Под оглушительные вопли огромной толпы то один, то другой из моих нахальных татарчат оказывался в числе победителей.

Счастливые отцы не могли усидеть на месте. Размахивая руками и подпрыгивая, они орали во все горло:

— Глядите! Это мой Руфат!

— А мой Галим! На рыжей кобыле — это Галим! Вперед, сынок! Огрей плетью лошадь соседа!

— Посмотрите! Эге-гей, посмотрите, что вытворяет мой шалопай!

Нет, чтоб так себя вели отцы своих сыновей в Кабарде, и представить себе невозможно!

Сам я не участвовал в состязаниях. Не выпустил на игрище и Кубати. Бра тишка превосходил всех и в силе и в сноровке. Вызывать татарскую ревность было бы просто рискованно. Парень стоял рядом, возле меня, чуть не плакал от обиды, а я его не пускал. Ведь очень легко было бы вызвать озлобление крымских мурз, упреки в том, что приезжий черкес по-настоящему готовил к завоеванию славы только своего меньшого братца, а татарским детям лишь вредил злонамеренно. Нет, я не имел права рисковать. Нам нужно было задержаться в Бахчисарае еще годика два, хотя я давно уже тяготился жизнью изгнанника. Не проходило не только дня, но и часа, чтоб я не думал о той земле, которая меня вскормила. Тоска, отчаянная тоска сжимала мое сердце, когда вспоминались наши прохладные широколиственные леса, высокогорные луга с упоительными ароматами летних трап, быстрые реки, питаемые ледниками Ошхамахо... А родная речь? Легко ли изо дня в день слышать вокруг себя чужой, хотя и понятный тебе говор!

Единственной моей отрадой и утешением был, конечно, Кубати. И не потому только, что становился джигитом, которому трудно сыскать равных соперников. Человеком доброй и отзывчивой души рос мой мальчишка. И голова у него ясная — ум стремительный и находчивый. Несколько лет он ходил в маленькое медресе, где старый мулла, турок из Анкары, пытался вложить в мозги полтора десятков татарских ребятишек знание турецкой грамоты. Но либо мозги этих ба ловней богатых родителей были заняты чем-то другим, либо учитель не являл собой образец совершенства, а Коран почти для всех учеников представлялся в виде высокой отвесной скалы, с уступов которой то и дело срываешься и падаешь. Не помогала и длинная тонкая палка муллы, частенько опускавшаяся на бритые головы несчастных мучеников науки.

— Эли-и-н-ф, ла-а-а-м, ра-а-а, — заунывными голосами тянули жертвы муллы Кемалья. Он заставлял их повторять, за собой и вызубривать наизусть непонятные буквы и аяты.

— Та-а-а, си-и-и-и, ми-и-им, вот знамения кни-и-иги му-у-удрой...

Под собственное мерное жужжание достойные сохты начинали клевать носами. Сонная истома вскоре овладевала и самим муллой: старик смежал тяжелые веки и с присвистом посапывал. Затем, встрепенувшись, он хватал ореховый прут и обрушивал его на склоненные голые макушки будущих грамотеев. Отличал он от всех одного только Кубати, сумевшего и здесь легко обскакать соперников. Не прошло и двух лет, как он свободно читал по-турецки, знал на память целые суры Корана. Старик все чаще сажал его рядом с собой и заставлял подолгу произносить нараспев стихи «чтения лучезарного». Остальные должны были, как и вслед за муллой, повторять услышанное. Кубати не ограничивался простым чтением. Умел он и толково объяснять товарищам смысл некоторых священных изречений. Тут уже сохты не зевали, а с интересом внимали своему собрату по медресе. Зато в это время сладко засыпал, сидя на мягких подушках и упираясь спиной в стену, мулла Кемаль. Старика ничуть не раздражали успехи парня в качестве наставника. Ведь он считал «смышленного Бати» удачным отражением собственного ума и учености. Кемаль им юрдился так, словно он сам создал Кубати «из праха земною и кровяною сгустка, а затем из куска мяса, бывшего совершенно бесформенным». Вздорный и мелочный старик по-настоящему полюбил моего мальчугана. Пода-

рил Коран в обложке из телячьей кожи, после каждого занятия украдкой совал ему за отвороты халата то горсть кишмиша, то кусок халвы или пару гранатов.

В беседе со мной мулла спрашивал, много ли в Кабарде таких способных мальчиков? Я отвечал, что очень много. Тогда он озабоченно и в то же время удовлетворенно кивал головой и говорил о своем желании открыть медресе где-нибудь в наших краях.

* * *

Был у нас в Бахчисарае один хороший друг. Мы познакомились с ним в квартале ремесленников, примыкающем к базару. Здесь, на глазах у многочисленных зевак, работали гончары и седельщики, портные и шорники, кузнецы и лудильщики, сапожники и медники. И почти все — иноземный люд. Изредка встретишь татарина, отделяющего знаменитый крымский нож.

Вот тут мы и нашли чеканщика из Кабарды. Пожилой наш земляк был большим мастером по серебряному делу. Я заговорил с ним. А он бросил все, закрыл свою тесную мастерскую и потащил нас к себе, в крошечную халупу, где коротал в одиночестве остаток безрадостной жизни.

Этого славного простого человека звали Хилар. В Крыму он жил давно. Когда-то он состоял в войске Каспулата, сына Муцала. Того самого Каспулата, что носил, как и его отец, русское прозвище Черкасский. Жаль, что у нас теперь нет такого князя, который был бы у половины мира на виду. Крымцы его боялись, турки опасались, русские в него верили и на него надеялись, калмыцкий тайша Аюка ему помогал, а кызыл-баши (*тетка Каспулата, родная сестра его отца, была женой иранского шаха Аббаса*) относились к нему сочувственно.

Хилар нам подолгу рассказывал, как еще три с лишним десятка лет назад Каспулат удалой впервые разгромил татарское войско и отбил у крымцев почти всех русских пленных, как кабардинцы плечом к плечу с русскими теснили и гнали турок под Азовом и Чигири-ном, как по просьбе украинского гетмана охранял Каспулат переправы через Днепр. Потом наш славный Каспулат участвовал в Бахчисарайских мирных переговорах между Москвой и Турцией.

Большие бумаги украсились подписями и печатями, посольские сановники двух великих царствующих домов обменялись дарами — и на какое-то время наступила тишина. Ненадежная и недоверчивая, но все же тишина.

Вскоре после установления мира Каспулат умер. Смерть его была подобна мгновенной гибели коня, которого вдруг резко осадил во время бешеной скачки.

Хилар нашел свой дом на родине разоренным, родителей в живых не застал. К тому же младшего братишку-подростка, по словам земляков, татары угнали на чужбину. Вот тогда и Хилар отправился в Крым, надеясь найти брата. Но тщетной оказалась эта надежда.

С тех пор и живет Хилар в Бахчисарае. Покалеченная в сражении нога (он заметно хромал) помогла ему не попасть в лапы военных вербовщиков, выискивающих для султановских полков все новых полурабов-полунаемников. А приспособленность рук к железному и серебряному делу помогла Хилару сначала стать единственным работником в жалкой, хиреющей мастерской одного старого одинокого турка, а затем и унаследовать эту мастерскую.

Хилар стал хорошим чеканщиком. Ему приносили грубые заготовки ножен для кинжалов, сабель, ятаганов, серебряную басму — тонкие пластинки, которыми надо было покрывать ножны, а затем наносить на них затейливые узоры.

Кубати впервые увидел, как все это делается. Ему захотелось самому испытать, насколько сильна неподатливость металла и чем еще, кроме твердой руки и точного глаза, нужно обладать, чтобы подчинить себе упрямую душу стали и коварную изворотливость серебра и золота. С помощью Хилара, который не переставал изумляться ловкости и сообразительности парня, Кубати быстро осваивал

безупречную изощренность чернения, строгую точность чеканки, кружевное долготерпение филигрانی.

Незадолго до нашего отъезда, а вернее, поспешного бегства из Крыма, Хилар сказал мне, что ему больше нечему учить Кубати. Да я и сам это видел. На мне и сейчас кинжал, ножны и рукоять которого сработаны руками моего кана. Узоры здесь, стоит заметить, истинно кабардинские. На украшения пошли монеты самого чистого серебра из скромной нашей казны. Когда Кубати видит деньги, он не думает о том, что нужно на них купить, а прикидывает, что можно из них сделать, если монеты расплавить или расплющить молотком: бляшки для пояса или уздечки, колпачки для газырей или крышку для порохового рога.

Долгие сидения в гостях у Хилара были для нас самым приятным отдыхом. Старик знал множество сказок, старинных песен и преданий. Хорошо он умел рассказывать о подвигах нартгов и хорошо пел народные наши песни. Я потихоньку, чтобы мой голос не был слышен на соседних улицах, подтягивал ему. Научился петь и очень это занятие полюбил и наш мальчуган. Любой орэд запоминал он с первого раза.

Иногда мне становилось немного страшновато за Кубати. Да что же это за парень такой? Все ему дается легко и скоро — и силой он уже превзошел меня, и премудрости Корана оказались ему по плечу, и тайнами кузнечного ремесла овладел, и петь умеет так, что забудешь обо всем, когда его слушаешь! Не было бы от всего какой-нибудь беды. Не пришлось бы потом расплачиваться за это дорогой ценой...

Временами, как я уже говорил, мной овладевала безысходная тоска по родным краям, которую я старался скрывать от Кубати. И чем ближе становилось время нашего возвращения домой, тем большее нетерпение я испытывал. В начале этой осени собирались мы покинуть крикливый и богатый Бахчисарай с его великолепным дворцом хан-сараям, каменными домами, бесчисленными торговыми рядами со множеством соблазнов, с товарами, свезенными сюда со всех концов света хитроумным купеческим племенем, для которого родиной является весь мир. Становился совсем невыносимым сам воздух крымской столицы — Бахчисарая, настоящий на запахах разных пряностей и горячего жира, гниющих отбросов и зловонных нечистот.

А еще в этом воздухе пахло войной. Роскошному Бахчисараяу хотелось новых богатств, хотелось новых рабов. И снова Крым точил свои кривые клыки и все чаще устремлял алчные взоры на север и на восток. Ханские сераскиры получают с адыгов ясак. Ежегодно триста юношей и девушек увозят они в неволю, но теперь и этого им недостаточно. Обожравшийся чревоугодник, едва успев изрыгнуть блевотину из своего ненасытного брюха, вновь спешит за варварский пиршественный стол.

Положение наше становилось опасным. Я чувствовал, что во мне и в Кубати, не говоря уже о лошадях и имуществе, видят первую добычу в еще не начавшейся войне.

К сожалению, мы уже не могли опереться на поддержку нашего друга Аслана-паши. В свою очередную истамбульскую поездку он угодил прямо в разгар дворцовой распри: свергали старого султана и сажали на трон нового — Ахмеда Третьего. В этой суматохе и напоролся неосторожный паша на острие вероломного янычарского ятагана.

О том, что вновь готовятся завоевательные походы, можно было легко догадаться: слишком часто, стали кричать о чистоте религии, о злобном вероломстве гяуров.

— Пора нам собираться в путь, — сказал я однажды зечером, когда мы сидели у Хилара.

— Куда торопитесь? Посидите еще, — не понял меня добрый старик.

— Дальше сидеть в Крыму опасно, милый наш Хилар.

— Ах, ты вот о чем... Тогда ты прав.

Он помолчал немного, а потом с грустью в голосе спросил у Кубати:

— А тебе, мальчик, хочется домой, на родину? Словно утренняя заря вспыхнула на щеках Кубати.

— Еще бы! Да я готов хоть сейчас! Правда, я не совсем понимаю, что нам здесь угрожает. Ведь мы такие же правоверные мусульмане, как и татары с турками. А воевать они хотят против России...

— Такие же правоверные! — усмехнулся Хилар. — Такие же, да не совсем. Хотя и масть у лошадок одинаковая, но это не значит, что они будут скакать по одной и той же дороге. И еще: чем громче вопли о религии, тем гнуснее подлость, которая скрытно затевается. Правоверные... А разве Турция не воевала с правоверной Персией? Разве мы не видели мусульман, рабски гнувших спины на своих единоверцев? Разве мы не видим мусульман, пухнувших от голода? А среди тех, кто гремит цепями на невольничьих рынках, разве нет правоверных? Есть. И адыги там есть, и калмыки, и даже татары. Какая разница, кого ограбить или поработить! Корова, выросшая в хлену у стойкого приверженца ислама, дает такое же молоко, как в корона, принадлежащая христианину. Нет, дело не в религии. А знаешь ли ты, мой мальчик, с чего обычно начинаются войны с Россией? С того, что крымские ханы посылают свои полки в Кабарду, чтобы еще и еще раз, подобно прожорливой саранче, опустошить ее поля и селения, угнать многотысячные табуны лошадей. Вот если бы Кабарда воевала против России, тогда дело другое... Но Кабарда не будет воевать против России. Она будет России помогать, а Россия не позволит Турции проглотить Кабарду. Канболет прав: задерживаться вам здесь не стоит.

— А в самом деле, — вдруг решил я. — Что держит нас тут хотя бы лишний день или даже час, кроме нежелания расставаться с тобой, Хилар!

Едва лишь эта неожиданная мысль пришла мне в голову, а из головы проникла в душу и ею завладела как жгучее мальчишеское нетерпение охватило меня. Скорей, скорей из этого постылого Бахчисарая, нет больше жизни без земли родной!

Хилар молча поднялся и прихрамывая направился к сундучку, где хранились его небогатые сбережения.

— Подожди, Хилар. Деньги у нас есть. Хватит нам, — слова мои были бесполезны. — Хорошо. Бати останется пока здесь. И Налькут пусть постоит во дворе. Я возьму, Бати, твою лошадь, навьючу ее тем, что можно увезти, и тотчас же вернусь сюда. На рассвете — в путь.

* * *

Ох, недобрые гости поджидали меня в нашем бахчисарайском жилище! Не успел я войти в темный двор, как был тут же захлестнут арканом. Чья-то грузная туша обрушилась сзади на мои плечи, еще двое кинулись на меня с двух сторон. Одному из нападавших — а всего оказалось в засаде человек семь — я успел нанести удар ногой в живот. (Надеюсь, нсчснка у него все-таки лопнула: он корчился на земле, похоже, в предсмертных судорогах.) Меня туго связали по рукам и ногам. Кто-то запалил факел и поднес его к моему лицу.

— Проклятый черкесский соглядатай! — прошипел, наклонившись надо мной, стражник. — Ты хорошо лягаешься своими копытами. За это тебе тоже придется отвечать перед Алиготом-пашой!

Меня перекинули, как хурджин, поперек коня и повезли куда-то по кривым и вонючим улочкам.

Потом была короткая остановка возле узкой двери в высокой каменной стене, затем небольшой пустынный двор с каким-то, вероятно, нежилым строением,

и... глубокая смрадная яма. Меня развязали и бросили в нее. Немудрено и кости переломать при таком падении, но обошлось только ушибами, хотя и весьма чувствительными. Со дна тюремной ямы хорошо были видны неправдоподобно яркие и далекие звезды.

Чья-то голова на мгновение закрыла часть неба и ласковым голоском произнесла:

— Отдохни до утра, черкесский пес!

Скоро наверху смолкли шаги, с лязгом захлопнулась дверь — видно, была окована железом — и наступила тоскливая безысходная тишина. Я пощупал руками скользкие глинистые стены колодца. Отсюда не выбраться. Интересно, что с Кубати, братишкой моим? Теперь и он попадется к ним в лапы. Ну что бы мне вчера не прийти к сегодняшнему решению! Правильно говорят: легко провалиться в нужник, да трудно из него вылезти. С радостью отдал бы свою жизнь только за то, чтоб узнать о благополучном возвращении Бати в отчий дом.

Куда меня привезли? Ясно, что не в главную городскую тюрьму. Скорее всего, это «домашняя» тюрьма Алигота-паши, в которой он держит своих должников или пленников, ожидающих выкупа. Меня-то никто не выкупит. Не надо быть пророком, чтобы предсказать мою участь. Утром — допрос (в том нежилом строении, наверное, пыточный застенок), после допроса — предложение воевать на стороне татар, наконец мой отказ и... гибель. О, аллах! Прими душу мою и покарай моих душегубов!

За этими невеселыми размышлениями прошло какое-то время. И вдруг со стороны калитки я услышал гулкий удар, треск дерева и отчаянный визг, захлебнувшийся на высокой ноте. Затем — недолгая возня, полупридушенные всхрипы, и вновь чья-то голова закрыла надо мной звезды.

— Аталык! Ты целый?

Хвала тебе, Всемогущий, Всеведущий! Ведь что Кубати, смелый мой мальчуган. Как он отыскал меня, нарт лучезарный?

— Все мое при мне, парень.

— До копья дотянешься? — Бати опустил вниз конец крепкого древка.

— Нет, коротка палка-выручалка. Даже если прыгать, как собака на плетень, все равно не достать.

— Подожди, — голова парня исчезла.

По звуку мне казалось, что он подтаскивает к краю ямы какой-то тяжелый груз.

— Прижмись к стене, — попросил он меня.

В яму свалился, издавая плаксивые стоны, стражник со связанными руками и кляпом во рту.

— Болет, — снова позвал меня кап. — Лезь к нему на плечи. Заставь эту скотину стоять как следует, — Кубати впервые в жизни позволил себе произнести грубое слово. **У**

Я встряхнул стражника.

— Сверну шею вот этими двумя пальцами. Понял? Стражник быстро и радостно закивал головой.

Стоял он прочно. С его плеч до древка копья достал я легко. А Кубати вытянул меня из ямы ловчее, чем луковицу из грядки.

Дверь в ограде была разнесена в щепки. Здесь же лежал круглый валун величиной с добрый лошадиный круп. Рядом с камнем — стражник с разбитым черепом: перед этим он, видно, сидел, привалившись к двери.

Я еще раз подивился силе моего воспитанника. Мне бы вряд ли удалось расщепить крепкую дубовую дверь с одного удара, хотя и я сумел бы швырнуть этот камень на расстояние трех-четырех шагов.

Увешанный оружием, Кубати дал мне саблю и мой же кинжал, над украше-

нием которого он трудился в последние дни в мастерской Хилара.

— Как ты меня нашел?

— Халелий сказал.

— Слуга бедного Аслана-паши?

— Он самый. Хотел предупредить обо всем, да не успел вовремя. Пришел к Хилару, когда все было кончено.

— Что, что?!

— Их было пятеро, — Кубати тяжело, с затаенной болью вздохнул.

Парень торопливо вел меня по окраинным улочкам к какому-то ему одному известному месту.

— Что с Хиларом? — я сильно забеспокоился.

— Мы сражались. Я не сумел его защитить. Он дрался, как лев. — Бати помолчал, переводя дыхание, и совсем уже по-взрослому добавил:

— Мир праху его...

— Аминь... А эти пятеро?

— Все убиты.

Я не стал расспрашивать его о подробностях. Халелий ждал нас с двумя лошадьми на дороге, ведущей к побережью. Налькут тихонько заржал, увидев своего хозяина. Ночная мгла уже рассеялась, уступая место пока еще робкому предутреннему свету.

В седельных сумках были припасы на дорогу, порох и пули. Халелий снял с себя лук и колчан со стрелами. Это оказался мой любимый лук — он, к счастью, лежал у Хилара. Задушевный друг собирался подновить на нем костяную инкрустацию, да так и...

Халелий, ни слова не говоря, протянул мне ружье — ту самую эржибу, которую я подарил когда-то Аслану. Мне хотелось излить на загадочно-мрачного татарина поток благодарственных слов, но он не стал слушать. Круто повернувшись, он поспешил в город.

Я недоуменно посмотрел на Кубати.

— Этот Халелий, — сказал он, — жил одно время в Кабарде. Работал у моего отца конюхом. Меня он узнал сразу, когда мы встретились еще в день приезда в Каффу.

Как почему он молчал все это время?

— Говорит, что длинный язык укорачивает жизнь.

* * *

До Каффы мы добрались быстро и без приключений. Там сразу продали чужую лошадь и попытались отплыть на первом же корабле, повернутом носом к кавказскому берегу. Огромный толстый грек заломил такую цену, что я чуть не схватился за рукоять кинжала. У нас не было и пятой доли таких денег. Торчать хоть один лишний час на берегу — означало рисковать жизнью. В любое мгновение могла прискакать из Бахчисарая целая орда посланных в погоню стражников.

Жадный кормчий уже поднялся по трапу на борт, чтобы дать приказ к отплытию, как вдруг к нему подошел стоявший на палубе молодой невысокого роста человек в черной черкеске и высокой шапке из черного каракуля. До сих пор, я заметил, он с любопытством наблюдал за нашими препирательствами с толстым греком, а теперь что-то говорил этому борову на ухо. Кормчий удовлетворенно хмыкнул и сделал нам знак рукой.

Молодой человек приветливо улыбнулся:

— Поднимайтесь, земляки, на это благословенное аллахом корыто. Я уговорил нашего щедрого хозяина согласиться на ту плату, которую вы ему предлагали.

Раздумывать было нечего.

Вечерний намаз мы совершили уже далеко в открытом море.

Молодой кабардинец (наверное, на год-другой меня моложе) не спрашивал наших имен, но не назвал и своего. Сказал только, что побывал в Турции «из простого любопытства». В Анапе мы расстались с этим очень приятным человеком. Не видал я еще ни у кого таких умных проницательных глаз. Хотел бы еще с ним встретиться. Я думаю, наверное, он просто заплатил греку за наш проезд.

Из Анапы он отправился в Азов, чтобы поговорить за чем-то с русским губернатором по имени Ап-рак-син, а мы с Кубати, не теряя времени даром, как две голодные курицы на зов хозяйки, заторопились сюда, к родным пределам. Вот и все.

ХАБАР ДЕВЯТЫЙ,
*убеждающий в глубокомысленной проницательности
народных мудрецов, которые считают,
что если ты съел один чесночный зубец,
то можешь смело приканчивать и всю головку, —
запах будет один и тот же*

Канболет проснулся с первыми лучами восходящего солнца. Светло и покойно было у него на душе. Вспомнив вчерашний вечер, он улыбнулся. Несколько диен такой жизни, когда Нальжан будет их «чем-нибудь чуточку кормить», и вырастешь жиром подобно тому бычку, которого готовят для праздничного пиршества.

Быстро одевшись, он подошел к Бати, сладко спавшему в той же небольшой гостевой. Канболет тихонько рассмеялся и запел:

*Лелай, мой свет, лелай!
Вырастешь большим —
Будешь молодцом!
Добычу отбивай —
Быков и лошадей
Будет тебя ждать
Твой старый аталык.
Его не забывай,
Добычею делись!
Лелай, мой свет, лелай...*

При первых словах песенки, которую Канболет пел, умело подделывая свой голос под стариковский, юноша открыл глаза. Сообразив, что над ним поют колыбельную, смутился, укоризненно посмотрел на аталыка и потянулся за своей одеждой.

После простой утренней трапезы — кислое молоко, кусочек сыра, ячменная лепешка — гости в сопровождении Куанча отправились на прогулку в лес.

На поляне, местами изрытой дикими Свиньями, Канболет вырезал крепкую кизиловую дубинку.

— Бери саблю, Бати, и постарайся отрубить от моей палки хотя бы ее конец. А я буду тоже действовать, как клинком, и, отражая твои удары, попытаюсь уберечь палку от лезвия.

Глаза Кубати загорелись мальчишеским азартом. Сделав саблей несколько вращательных движений над головой, так, что клинок образовал в воздухе почти сплошной сверкающий круг, юноша ринулся в атаку. Рраз! И сабля разрубила... пустоту: в последнее мгновение Болет сделал незаметное движение кистью руки, и дубинка ушла из-под разящего лезвия. Новый выпад — теперь Бати попал по кизиловой палке, но она мягко спружинила, поддалась под нажимом и погасила всю силу рубящего удара. И тут боковой удар палки обрушился теперь на плоскость клинка. Так повторялось, к неописуемому восторгу Куанча, много раз. От палки отлетали мелкие щепочки, но она оставалась той же длины, что и была вначале. Канболет на какой-то неуловимый миг все время опережал воспитанника.

— Ух, ладно! Ой, хорошо! — вопил Куанч. Наконец парню удалось верно рассчитать обманное движение и перерубить дубинку в самой ее середине. Куанч хлопнул себя по ляжкам и запрыгал в избытке чувств — теперь он восхищался своим ровесником:

— Хорошо! Ладно!

А Кубати перевел дух и, вкладывая саблю в ножны, уныло протянул:

— Не-е-е, мне еще далеко до тебя, аталык.

— Не так уж и далеко, — добродушно усмехнулся Тузаров. — Знаешь, в чем твоя ошибка? И не одна! Первая — слишком крепко сжимаешь рукоять. Из-за этого теряется быстрота взмахов. Сжимать кулак покрепче необходимо лишь на короткий — последний миг, когда клинок встречает препятствие. Вторая ошибка — ты вкладываешь в каждое движение всю свою силу, а опытный джигит тратит ее бережно. Там, где надо перерубить древко копья, не следует применять силу, нужную для того, чтобы перерубить оглоблю. И горячиться при этом не стоит — очень скоро устанешь. Расчетливый и хладнокровный боец раньше достигает цели, чем нетерпеливый и вспыльчивый.

— Я все понял, Болет, — сказал повеселевший Кубати.

— Аланлы! *(часто встречающееся у балкарцев риторическое обращение, равное по смыслу «о, люди!»)* Как не понять такие хорошие слова! — с жаром подхватил Куанч: ведь советы Тузарова относились и к нему, Куанчу, тоже.

Потом Канболет и Куанч боролись вдвоем против Кубати, но безуспешно: как ни старались, а повалить парня на землю им не удалось. Канболет шутливо возмущался и жаловался на «старческую немощь».

Как бы в отместку, он заставил Кубати присесть на корточки и ковылять к дому «гусиной поступью», да еще и нести на плечах хохочущего во все горло Куанча.

* * *

— Не зайдешь ли ко мне в кузню, Канболет? — пригласил Емуз. — Не бойся, я не собираюсь делать тебя своим подручным.

— А я бы охотно постучал молотом под началом такого мастера, — улыбнулся Канболет, поддерживая шутливый тон кузнеца.

В углу, возле горна, стояла Нальжан. Видно, она только что прокачала мехи, и пламя горящих углей играло розовыми отблесками на ее лице.

Емуз подошел к массивному чинаровому обрубку, на котором была укрепена наковальня.

— Давай-ка, сын Тузарова, положим эту деревяшку набок.

Мужчины навалились на тяжёлый комель — три обхвата в поперечнике — и опрокинули его на сухой глинобитный пол кузницы. В земле обнаружилось углубление. Нальжан наклонилась и вынула оттуда промасленный полотняный мешок.

— Здесь все, что осталось от твоего наследства, Канболет, — сказала она. — Развязывай мешок.

Волнуясь от неясного предчувствия, Тузаров запустил руку во внутрь мешка и ощутил гладкую прохладную поверхность металла. И вот на свет божий вновь появился знаменитый и злополучный панцирь Саладина. События семилетней давности вдруг ожили перед взором Канболета подобно тому, как вспыхивают иногда в потухшем костре запоздалые язычки яркого огня.

— Как он сюда попал? — хриплым голосом пробасил Тузаров. Он устало опустил на скамью и поставил панцирь рядом с собой.

— Сестра тебе расскажет, — Емуз посмотрел на сестру, кивнул ей головой и вышел из кузницы.

И Нальжан рассказала о кровавой резне и пожаре в усадьбе Тузаровых, о встрече с бешеным Мухамедом и Вшиголовым Алигоко, о геройстве, старика Адешема. В тот день он не умер, а дотянул, как потом узнала Нальжан, до весны. А вот веселый Нартшу, весь израненный, выжил. Только не живет он в своем доме, а подался в горы, стал абреком. Рассказала Нальжан и о том, как сшибла с ног Му-

хамеда и расквасила нос Алигоко, о том, как грубо и низко вел себя Хатажуков. Его выходка и подсказала Нальжан средство, при помощи которого она увезла панцирь. Нальжан просто надела «этот проклятый железный сай» (*верхняя одежда кабардинок, похожая на современную кофту*) на себя, а сверху натянула сай обычный, суконный. Она поняла, что кровожадные пши затеяли это страшное побоище из-за одного только панциря — значит, он дорог. А раз так, то не видеть им панциря, как собственных затылков.

В суматохе она незаметно выбралась из каральбиевской спальни, вскочила на первую попавшуюся лошадь и погнала ее в степь. Потом, на другой день, она вспомнила о брате и поехала к нему. Панцирь сняла лишь у него в доме. Натерпелась и страху и неудобств. Очень уж давил он ей в груди.

Емуз полюбовался опасной реликвией и спрятал ее в своей кузне. Было решено помалкивать о неожиданном приобретении и даже постараться не вспоминать о нем до лучших времен.

— Уо, Нальжан, — тихо произнес Канболет, — я никогда не был ранен, но сегодня в начале твоего рассказа почувствовал себя так, словно у меня открылась старая рана. А теперь — будто слова твои ее исцелили.

— Ах, Канболет! Что это у тебя с глазами? Как ты смотришь...

— Я не знаю, как я смотрю, Нальжан. Я только знаю, что думаю.

Нальжан чуть задержалась в дверях кузницы:

— Иногда и женщине не вредно подумать. Например, о том, что пора готовить обед...

— Ну, конечно, — засмеялся Тузаров. — И кусок хлеба из рук такой женщины — дар пророка!

Нальжан смущенно отмахнулась рукой и поспешила к летней кухне.

В кузницу вошел Емуз и деловито спросил:

— Поставим чурбан на место?

— Поставим, — согласился Канболет. — А панцирь... — Тузаров сам поднял чинаровый комель. — Панцирь пусть будет в доме. У меня есть насчет него кое-какие намерения.

— Тебе виднее, — ответил Емуз. — А что касается молодого мужчины, которого ты хотел бы встретить, я, кажется, смогу тебя с ним свести.

Тузаров удивленно вскинул брови.

— Неужели ты имеешь в виду того загадочного уорка, который помог нам попасть на корабль?

— Да.

— Но откуда тебе может быть известно, кто он такой, если я не узнал даже его имени?

— Нетрудно догадаться, — пряча в усы довольную ухмылку, сказал Емуз.

Канболет больше не стал ни о чем допытываться.

За едой говорили, по просьбе Тузарова, о свойствах железа, о способах закалики металла, о преимуществах одних клинков перед другими. (При этой беседе позволили присутствовать и юношам: пусть послушают.) Речь зашла и об удивительной дамаскской стали. Емуз объяснил, что ее достоинства создаются не только особыми приемамиковки и закаливания. Дело тут и в таинственных секретах выплавки самой руды. Нет, не разгадать этих секретов. Попробуй определить заранее, какое зернышко куры склюют первым, а какое последним! Канболет грустно посетовал об утрате своей дамаскской сабли, которой так дорожил. Ее отняли у него в ту ночь в Бахчисарае...

Емуз от души посочувствовал молодому другу и постарался отвлечь его рассказами о богатых здешних лесах. Было решено завтра же, еще затемно отправиться на тот берег Чегема и в густых чащобах предгорья попытать охотничьего счастья.

— Куанч будет вам хорошим проводником, — сказал Емуз. — А я пойти не смогу. Нельзя в наше тревожное время оставлять дом без мужчины.

* * *

Перед сном Канболету захотелось выйти в сад. Да заодно решил посмотреть, что это Кубати так долго задерживается под кухонным навесом: не может никак расстаться с дружкой Куанчем? Однако, к немалому своему удивлению, Куанча он застал спящим в его закутке у конюшни, а под навесом была одна Нальжан: при свете затухающего костра укладывала в походный нед съестные припасы для наших охотников. Непонятная робость вдруг зашевелилась в груди Канболета. Не замеченный Нальжан, он поторопился свернуть за угол дома и ступил на крепко утоптанную тропинку. С непривычным для себя наслаждением вдыхал Тузаров нежные расслабляющие ароматы цветущего сада. Почему-то смущаясь перед самим собой и чувствуя легкое головокружение, он остановился под яблоней и прижался щекой к се прохладному шершавому стволу. Сквозь ветви ему загадочно подмигивали звезды — будто намекали, что нет такой тайны, которую можно было бы скрыть от них даже в самых укромных закоулках человеческой души.

Неожиданно чей-то тихий шепот прошелестел в нескольких шагах от Канболета:

— ...Как ясно видны сегодня семь Братьев-Звезд... (*кабардинское название Большой Медведицы*) — это был голос Саны.

— Одна из них, вон та, самая яркая, похожа на тебя...

«Не врут ли мои уши? — подумал Тузаров. — Вот так Бати!»

Парень сидел па земле, привалившись спиной к стене дома. Прямо над его головой, мечтательно запрокинутой к небу, располагалось маленькое окошко. Девочки не видно — значит, она в комнате, где живет со своей красивой теткой.

— Но как я могу быть похожей на звезду, — с лукавым смешком спросила Сана, — если это — братья, понимаешь, братья-звезды?!

— Нет, пусть они будут сестры, — серьезно предложил Кубати. — А еще лучше: одни братья, а другие — сестры.

— И, конечно, одним из братьев хочется быть тебе?

— Да.

— Значит, я — на том конце звездного селения, а ты — на другом?

— Нет! — решительным тоном возразил юноша. — Так слишком далеко. Еще дальше, чем от Крыма до Кавказа. Я хочу быть рядом. И чтобы мы были не брат и сестра, а...

— А кто же тогда? — удивилась девушка. — Я тебя не понимаю.

Кубати вздохнул:

— Поймешь, если захочешь.

— Расскажи, какие девушки в Бахчисарае. Наверное, красавицы? Не чета нам...

Канболет не стал слушать разговора, который предназначался не для чужих ушей, и потихоньку вышел из сада. Он был слегка ошеломлен: вот тебе раз!

«Поймешь, если захочешь...» Неужели мальчик уже вырос? И вдруг чувство, похожее то ли на жалость к самому себе, то ли на зависть к названному братишке, слегка сдавило грудь. Вот он, Канболет, не смог бы так легко и свободно вести беседу с... да вообще с женщиной.

Быстрой и бесшумной поступью прошел Канболет вдоль стены и, прежде чем Нальжан, все еще возившаяся под навесом, обернулась, успел скрыться за дверью дома.

Скоро вернулся и Кубати. Затаив дыхание, парень стал медленно пробираться от двери к своему топчану.

— Ты что крадешься, как будто невесту пришел воровать? — раздался в ти-

шине басовито рокочущий шепот Канболета.

От неожиданности юноша споткнулся и чуть не упал.

— А... да я... Ты не спишь еще?

— Ложись, ложись. Спать нам осталось недолго.

* * *

Еще в полной темноте они спустились к селению и перешли мост через реку. К рассвету поднялись на один из лесистых отрогов Пастбищного хребта. Здесь Куанч, который шел впереди и вел под уздцы хозяйскую лошадку, остановился и прерывистым от возбуждения шепотом стал говорить, как они будут действовать дальше:

— Перед нами — котловина. Как ладони, сложенные горстью. Канболет пусть пойдет по правому краю и остановится, не доходя до того конца, возле старой груши с кривым стволом. Там тянется из котловины звериная тропа. Косуля будет обязательно. А может, олень. Бывает и медведь. Бати, ты давай шагай по левому краю. Тоже немного не дойдешь до конца. Увидишь большой камень, похожий на собаку, которая спит после сытной еды. Там и стой. И не шевелись. А я, немного погодя, спускаюсь на лошади в котловину и начинаю немного шуметь. Встретимся на месте Канболета, у груши. Хорошо? Ладно?

— Мы тебя поняли, начальник, — улыбнулся Канболет.

— Ладно. Хорошо, — деловитым тоном сказал Кубати.

Куанч дернул Кубати за ухо, а тот прищемил ему нос двумя пальцами. На этом военный совет закончился, стрелки разошлись каждый в свою сторону, а загонщик остался на месте.

Кубати быстрым бесшумным шагом пошел по едва заметной тропинке. Лес еще не полностью оделся листвой, и потому сквозь ветви скоро стал виден дальний конец котловины. А вот и камень — серый, замшелый, величиной с небольшого медведя, но и в самом деле удивительно похожий на спящую собаку. Под самым камнем — хорошо набитая тропа: мягкая сырая земля испещрена следами больших и маленьких раздвоенных копыт.

Шагах в десяти от тропы лежала поваленная чинара. Кубати сел на нее верхом, положил ружье — прикладом на землю, стволом — на дерево. (Канболет предпочел взять с собой лук и стрелы, а свою эржибу отдал воспитаннику.)

Поначалу юноша жадно прислушивался, нет ли звериной возни внизу, на склонах «котла», густо обросшего вековой «накипью» множества древесных пород. Но пока ничто не нарушало тишину. Кубати перевел рассеянный взгляд в сторону высоких гор и чуть не задохнулся от восхищения: первые лучи взошедшего солнца как раз коснулись великой зубчатой гряды, и вечные снега Кавказского хребта будто вспыхнули изнутри мягким нежно-золотистым пламенем. Небо стало светлее, прозрачнее и цвет его мгновенно переменялся из бледно-серого в бледно-голубой. И лес под брызгами солнца расцветился чистыми зелеными красками, начиная от самой яркой и кончая богато насыщенной, с просинью. Да что лес! Воздух стал совершенно другим: только что прохладный с запахом сырости, теперь он вдруг наполнился веселящей свежестью и какой-то непонятной безудержной силой. Кубати казалось, что он пьет эту силу большими глотками и никак не может напиться. И ему хорошо, ему весело, и он уверен, что перед ним — лучшая из всех земель мира. Тут же он вспомнил Сану, и даже не вспомнил, а почувствовал ее присутствие во всем, что его окружало, — и в небе, где совсем недавно растворились семь Братьев-Звезд, и в игре солнечных бликов среди юной листвы, и в легких порывах бодрящего ветерка. Просто все это могло быть только вместе с Саной, а без нее не имело бы смысла.

Кубати пружинисто вскочил на ноги, раскинул руки в стороны и глубоко вздохнул полной грудью. Потом ему захотелось влезть на камень и чуть-чуть по-

шире охватить взглядом землю, которую он сейчас впервые в жизни воспринимал, несмотря на ее огромность, частью самого себя. И только так, а совсем не наоборот.

Он подошел вплотную к похожему на собаку камню и вдруг увидел то, чего не заметил раньше. Под самой «мордой» лежала на дощечке вареная курица, кусок сыра и ломоть просяной пасты. Еще не успев удивиться, он услышал чьи-то шаги в лесу, отскочил с кошачьей ловкостью к поваленному дереву, схватил ружье и присел за вывороченным вместе с землей корневищем чинары.

У камня появился старик в лохматой шапке и длинной овчинной шубе, которая, судя по ее изношенности и дырявости, была, вероятно, ненамного моложе своего владельца. В одной руке старик держал кожаную суму, в другой — длинный, хорошо отшлифованный посох с какой-то металлической отделкой. Загадочный пришелец подозрительно осмотрелся — глаза у него были сердитые и чуть попуганные, схватил курицу и все остальное, спрятал в суму и торопливо зашагал прочь.

Кубати озадаченно посмотрел ему вслед. Как все это понимать? Но тут ему снова пришлось притаиться. Опять кто-то приближался к странному камню. «Для охоты здесь чересчур людное место», — подумал юноша. Теперь возле камня оказалась старуха, одетая небогато, но чистенько. Она радостно всплеснула руками и запричитала с умилением в голосе:

— Приняла! Приняла спую долю! Уо, собаченька наша святая, Дигулипх блаженненькая, не погнушалась скудной жертвой, защитница наша! — старуха кланялась и приплясывала, простирая руки к каменной собаке.

Кубати теперь понял, в чем дело, и чуть не расхохотался. Ну конечно, еще в далеком детстве он слышал о «священном сукообразном камне», о Дигулипх, особо почитаемой женщинами. Отголосок еще тех времен, когда собакам чуть ли не поклонялись, считая их, как и волков, божественными животными.

Со дна котловины раздался усиленный троекратным эхом крик Куанча. Каждое мгновение теперь можно было ожидать зверя. Да и надоело парню прятаться. Он пошел прямо к старухе, вежливо ее поприветствовал, напустив на себя немного удивленный вид: не ожидал, мол, кого-нибудь здесь увидеть в столь ранний час.

— Бабушка! Охота у нас тут начинается. На эту тропу скоро выскочит медведь или кабан.

— Понимаю, сынок! — старуха ничуть не смутилась. — Сейчас я исчезну вот за теми кустами. И там подожду.

— Подождешь?..

— Ну а как же? Ты разве не адыг? Не знаешь, что если на дороге или в лесу охотник встречает женщину, то отдает ей лучшую часть добычи!

— Знаю, знаю! — поспешно ответил Кубати.

— Так постарайся, юный пелуан, подстрелить хорошего кабанчика! — старушка проговорила свое напутствие на ходу, уже скрываясь в чаще кустарника.

«Какого еще кабанчика? — подумал Кубати. — Ах, да, она ведь еще не мусульманка...»

Куанч крикнул еще раз и еще, потом затащил балкарскую песню. Голос его звучал гулко и неясно, как из глубокого погреба.

Кубати услышал шелест прошлогодней листвы под чьими-то легкими скачками — и почти сразу же на край котловины выскочила косуля и резко остановилась, уставив на охотника блестящие бусины глупых доверчивых глаз. Кубати прицелился ей в лоб и увидел, как следом за мамашей на тропе появился ее детеныш на тоненьких дрожащих ножках. А палец стрелка уже потянул на себя спусковой шарик, и Кубати со страхом почувствовал, что уже поздно и сейчас свершится постыдное и непоправимое злодеяние: как же мог он так оплошать! Самка,

да еще с маленьким детенышем... Но выстрела не было — слава аллаху или даже Мазитхе, все равно! Оказывается, Кубати забыл взвести курок. Он опустил ружье, а легконогие тесные козочки бросились наутек.

Теперь Кубати с волнением (и уже со взведенным курком) прислушивался к другому шороху. Это был мерный и шумный бег нескольких десятков ног — целого стада. Кубати впервые наблюдал такое зрелище и чуть не опоздал с выстрелом. Пятнадцать или двадцать крупных кабанов двух- и трехлеток один за другим появились на тропе и, не очень спеша, трусили через полянку возле «сукообразного» камня. Кубати даже залюбовался тяжеловесным изяществом и мощью угрюмых и самоуверенных зверей. Потом взял па мушку последнего и выстрелил. Попал прямо под ухо — куда и целил. Остальное стадо рванулось вперед с утроенной скоростью, и никто не успел бы перезарядить ружье...

Кубати подошел к убитому наповал зверю. Это его первая настоящая добыча. Первая и... совсем ему не нужная.

Зато старая крестьянка явно обрадовалась:

— Говори скорей, молодец, какую часть туши ты мне подаришь?

— Да заberi ее всю целиком, бабушка, — улыбнулся Кубати. — Только что ты будешь с ней делать?

— Ага! Понимаю, — сообразила старуха. — Ты из этих, из новых, которые чураются вкуснейшего свиного мяса пуще отравы волчьей. А насчет разделки не беспокойся. Тут неподалеку в пещере скрывается последний из нашей округи шоген, еще не расставшийся со своим посохом, — вот он мне и поможет. А я с ним поделюсь. Он закоптит мясо и для себя и для меня. Хоть Иуан — его так зовут — утверждает, что питается по-отшельнически, каким-то там святым духом, но от угощения не откажется...

При этих словах Кубати вспомнил о подношении для Дигулипх, не выдержал и от души расхохотался.

Старушка тоже улыбнулась, но укоризненно покачала головой:

— Парень ты добрый и веселый. Старая Хадыжа таких любит. Но все же не стоит смеяться над теми, кто предан своему богу, даже если он греческий. Что до меня, так я предпочитаю наших простых богов: ведь им поклонялись еще мои предки. Не понимаю всяких молодых да резвых племянников, что готовы самого Псатху до слез довести. Если ваш новый бог так всемогущ, то чем же ему могут повредить жалкие — по словам татар — деревянные идолы! Тот, кто велик, тот не ревнив, как глупая баба...

— Нет, нет, я никогда не стану охаивать чужую веру, — смог наконец вставить слово юноша. — Я совсем по другому поводу смеялся. А теперь прощай, добрая женщина, меня ждут.

Кубати торопливо повернулся и зашагал к верхней окраине котловины.

— Будь удачна твоя дорога и твой промысел! — крикнула ему вслед старая крестьянка.

Кубати быстро обогнул крутую дугу «котла» и, заприметив неподалеку ко-рявые ветви дикой груши, напрямик, не придерживаясь тропинки, побежал к месту условленной встречи.

* * *

Здесь уже был Куанч, занятый свеживанием крупного оленя. Новые, еще до конца не отросшие рога зверя покрывал густой темно-желтый пушок.

— Уо-о, Канболет! — уважительно протянул Кубати.

— Стрела — прямо в сердце! — торжественно возвестил Куанч.

— Ну, а ты, братишка, по какому случаю жег порох? — спросил Тузаров. — Где твоя добыча?

— Моя добыча досталась старой, но хитроумной Хадыже и старому, но еще

более хитроумному христианину по имени Иуан — наверное, последнему шогену, которого я видел в жизни! — парень был весел и возбужден.

Канболет заинтересованно поднял брови. Кубати охотно обо всем рассказал, смеясь и подшучивая над своим невольным положением соглядатая.

Тузаров добродушно кивнул головой:

— Ну хорошо, гроза свирепых вепрей! Иди помоги Куанчу.

Разрубленную на куски тушу, а также присоленную и туго свернутую шкуру уложили в переметные сумы и навьючили на лошадь. Теперь Куанч должен был спешить к дому: время почти летнее — мясо надо скорее пустить в дело.

Канболет с Кубати решили не торопиться. Приятно провести время в утреннем лесу, да еще в такую чудесную погоду. А обратный путь они теперь знают. Не заблудятся.

В сторону моста вела тропа, проложенная по неширокому, слегка покатоному к северу плоскогорью, поросшему дубом и чинарой. Отдаленный ропот Чегема доносился сейчас с запада. Оттуда же наши охотники вдруг слышали быстро приближающийся топот, похожий и на олений и на конский. Верным оказалось и то и другое. Сначала между стволами деревьев замелькали ярко-рыжие шубки двух ланей, да еще пятнистая, словно крапленая солнечными зайчиками, младенческая одежда двух или трех оленят, а затем появились и всадники.

— Да кто же это маток с детенышами травит? — возмутился Тузаров.

Всадников было трое. Впереди на мощном вороном коне скакал разодетый совсем не по-охотничьи толстый мужчина с большими навывкате глазами и раздувшимися, как у загнанной лошади, вывороченными ноздрями, за которыми почти не было видно коротенького сильно приплюснутого носа. Канболет вдруг узнал этого человека и, не думая о последствиях, резко метнулся наперерез коню, успел ухватиться сбоку за уздечку и с силой дернуть ее на себя. Коня развернуло на полном скаку и он еле удержался на ногах. Зато седок вылетел из седла и, как туго набитый хурджин, покатился по мягкой земле. Два других всадника, ехавшие немного позади, резко осадил коней и выхватили сабли из ножен. Кабардинские уорки — видно, очень знатного гостя сопровождали — готовились жестоко отплатить за неслыханное посягательство на их подопечного. Но разве они знали, с кем имеют дело?

Сначала оба они бросились на Канболета, не замечая или просто не принимая в расчет юношу. Тузаров хладнокровно парировал их удары клинком своей сабли. Уорки пытались с двух сторон зажать его лошадьми, но Канболет неожиданно подпрыгнул и оказался верхом на крупе одного из коней. Затем он кулаком, в котором была зажата рукоять сабли, двинул в шею сидящего перед ним всадника — и тот вяло соскользнул на землю. В это мгновение второй уорк, замахнувшийся для резкого рубящего удара наотмашь, вдруг почувствовал, как некая непреодолимая сила обхватила его сзади поперек талии (так, что хрустнули ребра) и вытащила из седла.

— Брось оружие, — прошептал ему кто-то на ухо, — а то сломаю.

Уорк не стал уточнять, что именно будет сломано — сабля или спинной хребет, и бросил клинок. Наконец он стоял ногами на земле и теперь мог обернуться.

— Мальчишка! — хрипло выдохнул уорк. — Здоровый и сильный, но мальчишка!

— Сабля у тебя хорошая, — коротко сказал Кубати, снимая с побежденного пояс вместе с ножнами от клинка. — Она теперь послужит мальчишке, раз не удержалась у мужчины. А вот кинжал твой похуже, чем у меня. Но ничего, я подарю его другому мальчишке.

Тоскливый рев вырвался из глотки уорка. Он побежал к толстому стволу чинары, сбросив по дороге шапку, и воткнулся в дерево бритым своим теменем. Взглянув на распростертое тело под чинарой, на кровь, брызнувшую из рассечен-

ной на голове кожи, Кубати растерянно обернулся аталыку.

— Это он зачем?

— Разве тебе неясно? Когда их найдут, он окажется раненым, без сознания. С него и спроса не будет. — Канболет презрительно передернул плечами. — Каждый по-своему спасается от позора.

— А с этим что?

— Тоже будет жить... Правда, погладил я его сильнее, чем хотел.

Совсем рядом грохнул выстрел. Кубати осторожно дотронулся до своего правого уха и почувствовал кровь на пальцах. Тузаров побледнел:

— Бати!

Юный Хатажуков впервые увидел страх в глазах воспитателя.

Но Канболет быстро опомнился и в два прыжка очутился возле толстого крымца. А тот, сидя на земле, отбросил в сторону разряженное ружье и уже целился из пистолета. Тузаров ударом ноги вышиб пистолет из его рук.

Паша резко вскочил и заорал по-татарски пронзительным голосом:

— За это вы поплатитесь вашими подлыми жизнями! — его блеклые выпуклые глаза зеленоватого цвета еще сильнее выкатились из орбит, а жирные щеки, покрытые сетью красных прожилок, дрожали от истерической ярости. — Да знаете, кто я?! Услышите мое имя — задохнетесь от ужаса!

— Не задохнемся! — рявкнул Канболет. — Мы знаем тебя, Алигот-паша.

Тузаров обернулся к Бати:

— Что там у тебя, мальчуган?

— Ха! — пренебрежительно и даже не без некоторой гордости отмахнулся юноша. — Кажется, половина мочки срезана.

— Ну и слава аллаху!

— Мучительной смерти, смерти в ужасных пытках — вот чего вы оба заслуживаете! — верещал паша. — Не прикасайтесь ко мне! Я сераскир великого хана, его наместник на Кавказе!

— Знаем, знаем, — теперь уже спокойным тоном гудел Тузаров. — А раз мы все равно уже заслужили пытки и смерти, то хоть клыки тебе, паша, обломаем. — Он снял с татарина богатую перевязь с великолепным луком, который висел у него за спиной в налuche, широкий пояс с кинжалом и саблей. — Смотри, братишка! А сабля-то моя! Вернулся дамасский клинок к своему хозяину. Вот для кого старались те бахчисарайские грабители!

— Она самая! — обрадовался Кубати. — Только ножны для нее сделали.

— Ну конечно, разве такой боров смог бы опоясать этим клинком свое брюхо! А погляди на кинжал — узнаешь, чьи руки над ним потрудились!

— О-о, бедный наш Хилар! — почти простонал Кубати. — Как не узнать его работу...

— Лютая смерть... страшные муки за покушение на возвышенную особу... — вновь начал свои угрозы Алигот-паша, но Канболет не дал ему договорить:

— Не замолчишь — я заткну твой бахчисарайский фонтан. Понял? — он запустил руку за отворот расписного парчового халата паши и вынул оттуда кошель с монетами.

Алигот-паша горестно взвыл.

— Слышишь, братишка? — обратился Тузаров к Бати. — Он плачет так, будто я у него не деньги, а душу вынул.

— А может, это и есть его душа? — наивным тоном спросил находчивый юноша. — Даже на охоте с мощной не расстаётся!

— Очень похоже. Давай сюда лошадей. Интересно, почему этот турецкий выкормыш был не на своем белом аргамаче? Держит его для торжественных выездов?

— Ваши свинские леса не для таких благородных коней, — снова разверз

пухлые уста Алигот. — Для охоты мне одолжил коня князь Алигоко. Бойтесь теперь и его гнева.

— Уж семь лет боимся, — усмехнулся Тузаров. — Да ведь если ты, паша, грозишь нам смертными муками только за то, что полетел из седла, стоит ли нам бояться новых прегрешений? Если ты съел одну дольку чеснока, то можешь смело приканчивать всю головку: запах от тебя будет один и тот же. Вот и тебя мы могли бы сейчас прикончить.

— Ведь ты мусульманин и по-татарски говоришь, как на языке матери, — захныкал паша. — Гнев аллаха падет на твою голову за страшное преступление твое...

— Пока что этот гнев падает на твою голову. Значит, правда на моей стороне.

Перед тем как сесть на лошадей и уехать, наши охотники не очень бережно спустили татарского вельможу с крутого откоса котловины — чтобы прошло побольше времени, пока ощищенный паша сумеет оттуда выкарабкаться.

Третьего коня они ловить не стали.

По дороге домой Канболет думал о том, что две цели из трех, о которых он сказал мальчику по возвращении на родину, уже достигнуты. Найдено временное пристанище — лучшего и быть не может — и вот теперь есть для кана полное снаряжение джигита. Есть прекрасный вороной (вшиголовый князь вряд ли осмелится его оспаривать у сына Кургоко), есть по паре отличных кинжалов и сабель, пистолет, богатый лук и роскошно отделанное ружье — новенький «Хаджи-Мустафа». Наконец, деньги. На них у заезжих торговцев будет приобретена строгая, но дорогая одежда и для кана и для аталыка. Наверное, останется еще достаточно монет, чтобы парень потешил свои руки и сердце — начеканил всяких бляшек для украшения уздечек, наделал газырных колпачков и пластинок басмы с затейливым узором.

(Так оно потом и получилось. Только Кубати уговорил аталыка забрать себе «Хаджи-Мустафу», а ему отдать эржибу, с которой всю жизнь у него будут связаны дорогие воспоминания. Захотелось ему также подарить пистолет Емузу, а Куанчу одну из сабель и кинжал. В алиготовской мошне оказались не только золотые монеты, но и несколько драгоценных камней. И Кубати вставил по парочке «налькутов» в серебряные пояса Нальжан и Саны. Для девушки он еще сделал собственноручно чудесное колечко с четырьмя бирюзовыми зернышками. Из шести золотых цехинов вышло две дюжины тончайшей работы колпачков для газырей, которые юный кудесник поровну поделил между собой и Канболетом.)

— Остается третья цель, — размышлял Тузаров. — Надо еще подготовить мою достойную встречу с Хатажуковым, очиститься от грязной клеветы и смело смотреть в глаза всей Кабарде.

Пши Алигоко? Ну, это уже личное дело Тузарова. А возможно, и князя Хатажукова...

Алигот-паша? Все равно не сегодня, так завтра начнется война с крымскими татарами. Это уже Канболету известно доподлинно...

А сегодня закончено воспитание Кубати, хорошего мальчугана, из которого получится, уже получился честный и умный, добрый и отважный кабардинец. Да, да, любезный мой Тузаров, ты можешь гордиться этим парнем. Так почему же ты грустишь?..

* * *

Емуз встретил Канболета и Кубати у ворот, развел руками и многозначительно хмыкнул:

— С удачной охотой, друзья! Вижу, вам попалась дичь крымского происхождения.

Куанч выбежал из-за дома и чуть не упал от изумления.

— Хорошо? Ладно? — подмигнул ему Кубати. Нальжан с тревогой покачала головой, хотя видно

было по всему, что она радуется.

Сана выглянула из дверей женской половины, встретила взглядом с Кубати и опустила глаза.

— Заходи, заходи в дом, брат мой Канболет, — чуть торопливо сказал Емуз.

— У нас сегодня гость...

Канболет вошел и слегка запнулся у порога: навстречу ему поднялся тот самый молодой человек в черной черкеске, с которым они плыли на одном судне из Крыма.

— Твое имя я уже знаю, достойный сын Каральби Тузарова, — тихо произнес молодой человек. — Знаю и нелегкие пути твоей жизни. А меня зовут Джабаги Казанов...

— Тем лучше, — улыбнулся Канболет. — Значит, мне придется поменьше говорить, а побольше слушать.

О многом переговорили и тот вечер трое мужчин. Беседа спокойная, неторопливая затянулась до полуночи. Некоторое время принимал в пей участие и Кубати: Джабаги хотелось услышать именно из его уст о подробностях роковой встречи Исмаила Хатажукова с братом-убийцей и Алигоко.

— Вот кто истинный виновник всех несчастий, — сказал Джабаги. — Подстрекательский шепот Вшиголового страшней огня и кинжала.

— Я это понял слишком поздно, — угрюмо пробасил Канболет.

— Получит ли наконец этот стервятник заслуженную награду? — с негодованием спросил Емуз, обращаясь к Джабаги.

— Должен получить. Только трудно сказать, каким образом... Хоть он и не пользуется поддержкой других князей, а Хатажуков теперь, после того как я открою ему глаза, возненавидит Алигоко еще больше, — даже тогда наказать его будет непросто. Ведь Вшиголовый сейчас — первый друг ханского сераскира, этого тулоподобного спесивца Алигота-паши...

— Каким образом его наказать, знаю я, — недобро усмехнулся Тузаров. — Все равно Шогенуков спать спокойно не будет, пока я жив. И жирнокурдючный Алигот мечтает увидеть мою голову отдельно от туловища. А потому — да и не только потому — я должен добраться до Вшиголового раньше, чем он с помощью сераскира доберется до меня.

Джабаги Казанов рассейно тыкал ножом в кусок жареной оленины.

— Вот на это, милый мой Канболет, я ничего не могу тебе ответить, — сказал он. — Мое дело мирное. И мне удалось уже помирить не одну пару кровных врагов.

Тузаров посмотрел в его строгие, но затаенно-улыбчивые глаза и понимающе кивнул головой.

— А что ты не поделил с Алиготом-пашой? — спросил Джабаги.

— Почему не поделил? — засмеялся Канболет. — Дележка у нас была дважды. Первый раз в Бахчисарае, когда люди Алигота «поделили» наше с Кубати имущество, — заодно они хотели разделить на части и наши тела, — а второй раз — сегодня утром. Только «дележкой» алиготовского снаряжения и оружия двух его людей на этот раз занимались мы с Кубати. Вернул паша свой должок...

— Так вот с кого ты снимал руно! — с уважением посмотрел на Канболета Емуз. — И ты их...

— Нет, зачем? Все остались живы. Не мог я убивать пашу. Если бы он хоть дрался как мужчина. Или бы серьезно поранил моего парнишку... Но этот презренный трус оказался — хвала аллаху! — и никудышным стрелком. А ведь ружье у него было хорошее.

Емуз залпом опустошил чашу с махсымой и вытер усы ладонью.

— А я решил, что мальчик зацепился ухом за колючую ветку... — Хозяин дома немного помолчал, потом озабоченно вздохнул: — Не пустится ли теперь сераскир на новые грабежи и бесчинства?

— Пустится, — сказал Джабаги. — Только не потому, что его сегодня самого остригли. Я знаю, что крымское ханство не сегодня-завтра потребует от адыгов новую дань. Прежний ясак хотят увеличить в десятикратном размере.

— В десятикра-а-а-тном! — поразился Емуз. — Но это невозможно! Они и так довели народ до обнищания.

— Да. Невозможно. И потому... будет война, — закончил за Джабаги Тузаров. — Я ее чувствую, как собака чувствует след зверя, который опережает ее на полсотни шагов. К тому же я только что из Крыма.

— А я еще и из Турции, — сказал Казанок. — Война султана с русским царем неизбежна, хотя его посол в Истамбуле, чтобы оттянуть начало войны, не жалует золотых червонцев для подкупа турецких сановников. Встречался я с этим послом. Только новенькие русские червонцы ему тоже нравятся, и он, как шепчутся в посольстве, уже «упрятал» половину из двухсот тысяч русских монет в свой карман. А султан Ахмед Третий не устает кичиться силой своих войск. Для поднятия духа он каждый день, в сопровождении огромной свиты, иностранных послов и уличных зевак, ездит за город и повергает всех в восторженное изумление дальностью стрельбы из лука. Говорят, еще никто в мире не смог пустить стрелу на такое расстояние — больше тысячи шагов. Что же, парень он здоровый, как ногойский вол. Да сейчас не об этом речь. Готовиться к скорому нападению татар — вот что нам надо делать.

— Значит, ясак, который мы обычно платили, их уже не устраивает, — задумчиво сказал Емуз.

Тузаров в сердцах ударил кулаком по колену:

— А зачем им отщипывать от лепешки раз в год по кусочку, если они считают, что могут съесть ее сразу целиком?

Емуз взял со столика нетронутую лепешку и оценивающе посмотрел на нее:

— Не подавятся?

— Думаю, что подавятся, — сказал Джабаги. — Особенно, если русские нам помогут, как это уже не раз случалось.

В хачеш вошла Нальжан, держа в руках столик-трехножку с разложенными на нем дымящимися кусками молоденькой козлятины. Из-за ее спины показалась Сана, а за ней появился Кубати. Его ухо было залеплено лоскутком белой ткани, пропитанной медом. Юноша и девушка быстро убрали столики с недоеденной олениной. Едва они скрылись за порогом, как расторопный Куанч внес свежую воду и крепкий мармажей.

Когда эта маленькая суматоха, сопровождавшаяся шутливыми замечаниями со стороны мужчин и смущенным, сдержанным смехом со стороны женщин, улеглась, а Емуз, Канболет и Джабаги снова остались втроем, хозяин дома сказал:

— Братец мой Канболет! Ты спроси у нашего Джабаги, о чем ему напоминает этот козленок. — Емуз улыбался добродушнейшим образом. — Спроси. Можешь услышать кое-что интересное.

— Стоит ли, дорогой Емуз? — Казанок вяло махнул рукой.

— А в самом деле? — оживился Канболет и дотронулся до рукава Джабаги.

— Да нет, неловко мне об этом... — скромничал Казанок.

— Тогда я сам расскажу, — заявил Емуз. — Ты ведь знаешь, какая голова у нашего гостя. Вот сейчас он ею досадливо покачивает. Так она ему служит не только в серьезных делах, но иногда и в забавных случаях. Один из таких случаев как раз и связан с козленком. Правда, с живым, а не вареным. А дело было так. Четверо крестьян имели пасеку и общего козленка. В ожидании, пока он подрас-

тет и его можно будет заколоть, они заранее условились, кому из них будет принадлежать левая передняя нога, кому задняя правая и так далее. Однажды козленок поранил одну из своих четырех ног. Будущий хозяин этой ноги взял и перевязал ее тряпочкой. Козленок некоторое время прыгал на трех. Как-то вечером он неловко приблизился к пламени костра, и повязка на больной ножке загорелась. Бедный малыш стал метаться по всей пасеке, огонь попадал на камышовые крыши ульев, на стенки шалаша — и вся пасека сгорела. Владельцы трех здоровых козлиных ножек обвинили во всем четвертого своего товарища: это он должен возместить понесенный ими ущерб. Старик-судья Уори-дада решил дело в пользу обвинителей. Такое решение вызвало среди односельчан споры. А тут оказался поблизости Джабаги. Уори-дада обратился к нему с просьбой рассудить, кто прав, кто виноват. И тогда Джабаги сказал: «Козленок скакал и разносил огонь на трех здоровых ногах, раненая ножка в этом не участвовала. Значит, и отвечать за пожар и убытки должны хозяева трех здоровых ног. Они обязаны выплатить четвертую часть стоимости пасеки ее четвертому совладельцу». Все селение в один голос одобрило приговор Казаноккова. Канболет рассмеялся от души:

— Такой приговор — это как если бы на полном скаку выпустить стрелу из лука и сбить летящую птицу.

— Уж это ты слишком, добрый сын Тузарова! — с легкой укоризной возразил Джабаги. (Однако дотошный наблюдатель заметил бы, что слова открытой похвалы, если и не принимались умом Джабаги, то уж во всяком случае доходили до его сердца.)

...Утром Казанокков распрощался с Емузом и обитателями его дома. Канболету он сказал, чтобы тот ждал от него известий. И известий скорее всего благоприятных. Джабаги собирался немедленно отправиться к князю Кургоко.

Через несколько дней положение Тузарова станет ясным и недвусмысленным.

* * *

Прошло несколько дней, но посыльного от Джабаги не было.

В саду у Емуза полностью осыпались розовые лепестки яблоневого и сливового цвета. Солнце пригревало все сильнее, а тени под деревьями становились все гуще.

Склоны ближних нагорий теперь полностью утонули под сплошными зелеными купами дубняка, чинарника, дикой груши и ольхи.

Чегем бурливо вздулся меж утесистых берегов, побурел и озлобился. Значит, высоко в горах началось таяние снегов, а тут еще опрокинулась в небе какая-то посуда — и на землю обрушился ливень. Тесно становилось реке в своем ложе — того и гляди снесет перекинутые через нее шаткие мосты. Чегем глухо ревел — особенно громко по ночам — и с грохотом тащил по неровному дну огромные валуны.

Кубати подолгу возился в кузне у Емуза: то помогал мастеру, то работал над своими поделками. Каждый день они с Канболетом совершали прогулки по лесу, где упражнялись в стрельбе из лука. Чаще всего они ходили наверх, по «их» склону ущелья, на то место, где встретили Нальжан.

Канболет, не слишком разговорчивый и раньше, теперь почти все время молчал. Помалкивал и Кубати. Казалось, они думают об одном и том же и как-то по-новому присматриваются друг к другу.

Нечто новое можно было заметить и в отношениях между Нальжан и Саной. Девушка будто хотела спросить о чем-то важном у тетки, но не решалась. Видно, слов подходящих не находила. Вот если бы тетя догадалась сама и ответила тоже не словами, а так, чтобы ответ можно было бы прочесть по ее глазам... Но в глазах у Нальжан стали появляться совсем уж необычные узоры: то промелькнет

на едва уловимое мгновение беспомощная растерянность, а то гораздо чаще — и них застывает несвойственная для Нальжан упрямая строгость.

Веселой девчонке Сане жилось, конечно, куда легче и приятнее, чем ее уже не юной тетке. Ведь юность пьет вздох радости раннего солнечного утра и не думает о том, какая погода наступит к полудню и не грянет ли гроза к вечеру.

Вот и сейчас наша Сана, до предела счастливая, с тайным торжеством сжимает в кулачке кольцо с четырьмя зернышками бирюзы, которое смастерил Бати. Ах, если бы кто видел, как вдруг задрожали его руки, когда он сам пожелал надеть колечко Сане на палец и взял ее руку в свою! Он бросил тогда колечко ей в ладонь, сказал что-то неразборчивое и быстро скрылся в саду. Сана с тех пор и носит подарок зажатый в кулаке. А если для какого-либо занятия ей понадобятся обе руки, девушка прячет перстенок за щеку. Но об этом она в жизни никому не проговорится.

В это время Нальжан вновь переживала вчерашний короткий разговор с Канболетом. Она не заметила, как он подошел к ее кухне. Чувствуя чье-то присутствие, она обернулась и увидела, что он стоит рядом и смотрит на нее. Она не знала, сколько времени он уже тут стоит и вот так смотрит. Она смутилась и, кажется, побледнела. А в его лице было... Что же такое в нем было? Потом Канболет чуть виновато улыбнулся и надвинул шапку на самые брови.

— Скажи мне, Нальжан! Когда шапка на моей голове будет вот так — это лучше или хуже?

— Возраст у тебя, сын Тузарова, вполне уже годится для того, чтобы край твоей шапки касался обеих бровей (*Неженатые кабардинские мужчины носили шапку чуть набекрень, а вступив в брак, должны были надвигать ее на брови*), — ответила Нальжан после некоторого размышления.

— Я тоже так считаю, Нальжан, — вздохнул Канболет.

— Не хочешь ли ты, чтобы я подсказала тебе, на чьих крышах сидят сороки?

— Нет, — решительно сказал Тузаров. — Не подсказывай. Мне не нужно знать, в чьих домах есть невесты.

Вот и весь хабар. Канболет снова сдвинул шапку наискосок и ушел в дом. Ушел и тоскливую боль оставил в груди у Нальжан.

Слово созерцателя

1. Давно замечено: если земля хороша, то нравится она не только тем, кому принадлежит.

2. Замечено также, что принадлежит она обычно плохим хозяевам.

3. И еще замечено: эти хозяева обязательно в чем-то провинятся перед соседями.

Ведь они обязательно не ту песню запоют, не так лошадь оседлают, загрузят не вовремя, развеселятся не к месту. Учить их надо. А за науку пусть платят.

С более сильными соседями не хочется спорить. Хорошо, хорошо — ваши речи умнее, ваша религия самая лучшая. Не лучшая, а единственно правильная, вы говорите? Ладно, согласны.

Вот ведь какие эти владельцы тучных пашен, сочных лугов и богатых лесов и садов, орошаемых потоками чистых вод! Соглашаются. А не слишком ли благодушно принимают они в свой дом единственно истинного бога? Где священный трепет и благоговение, где страх божий?! Все не так, как у людей! Они готовы платить за науку назначенную цену? Значит, цена эта слишком мала. Согласны и на большую? Значит, они гораздо богаче, чем прикидываются!

Ага! Опять кто-то из них запел не ту песню! А этот снова седлает коня не так, как его учили! Дождутся наконец, пока терпение лопнет!

Да и вообще, заслуживают ли они той земли, на которой живут? Разве такие руки должны ею владеть? Пусть докажут. Пусть пойдут (в нашем авангарде) бить здоровенного северного соседа, этого гяура ко-солапого... И чтоб каждый, кто может вдеть ногу в стремя... И чтоб лошади запасные были и обозы с продовольствием и снаряжением, которых бы и на нашу долю хватило... И девушки для наших гаремов чтоб...

Ага! Не соглашаются. Да кто-то еще и расхохотался. Громко так, откровенно. Это уже прямое издевательство, которое нельзя оставлять безнаказанным.

В нашем случае «расхохотался» Канболет Тузаров. Причем прямо в лицо ханскому сераскиру. Но даже Алигот-паша, несмотря на выдающуюся свою спесь и непоколебимое чувство собственного величия, не считал, что война из-за этого начнется хотя бы на один день раньше.

Хозяева хорошей земли всегда совершают свой самый тяжелый проступок точнехонько к тому времени, когда обидчивые соседи наберутся достаточно сил и решимости для открытого нападения.

Главное — он уже был предрешен, этот чисто грабительский поход. Однако начнется он немного попозже. А перед тем произойдет еще несколько важных (особенно для наших героев) событий. Ну, а времена у нас такие, что важное событие — это обязательно и кровавое. Можно сказать еще «панцирное» событие, что будет означать то же самое...

ХАБАР ДЕСЯТЫЙ,
*заставляющий согласиться с тем суждением,
что владеющий собой лучше,
чем владеющий крепостью*

Джабаги не застал дома князя Кургоко. Ему сообщили, что Хатажуков отправился с небольшим отрядом на переговоры с Алиготом-пашой, который расположился лагерем где-то у среднего течения Баксана. Джабаги решил туда не ехать: не слишком подходящее место для беседы с князем. Уж лучше пока повременить...

* * *

Пши Кургоко не ждал ничего хорошего от встречи с сераскиром. Наверняка татарин обрушится на него с новыми упреками, угрозами, жадными притязаниями. Придется опять ему что-то обещать, долго успокаивать...

Люди Хатажукова гнали на съедение сераскиру и сотне его прожорливых молодцов отару овец, несколько бычков и лошадей.

Вчера выехали поздно и в дороге пришлось заночевать. Сегодня они в пути с раннего утра. К полудню должны были встретиться с пашой у края холмистого пастбища, что раскинулось по левому берегу Баксана, неподалеку от того места, где бурливая река из тесного извилистого ущелья вырывается в просторную долину.

Кургоко не хотелось думать о предстоящей — неприятной скорее всего — беседе с Алиготом. Сейчас его больше всего занимала та потрясающая новость, которую он услышал от взбалмошного святоши Адильджери. Неужели... правда? Неужели не чья-то жестокая шутка? Честный, но недалекий Адильджери не сумел ясно и толково описать облик встреченных в лесу незнакомцев, не сумел передать достаточно подробно разговор со старшим из них. Кургоко боялся поверить в то, что он может вновь обрести сына, — ведь разочарование было бы ударом тяжелейшим. И все-таки надежда, независимо от его воли, уже поселилась в сердце и стала в нем уверенно обживать, подобно домовитой хозяйке.

Солнце поднялось до высшей точки своего дневного пути и начинало припекать уже вполне по-летнему. Копыта лошадей стали выбивать облачка пыли из подсохшей после ночного дождя дороги.

Не доезжая до того места, где кристально-прозрачный Гунделен вливается в бурливо-пенистый Баксан, Кургоко еще издали увидел сначала легкие дымки нескольких костров, а затем и стоянку сераскира со всей его свитой. Хотя костры развести уже успели, но с шатром Алигота вышла заминка: колья растяжек никак не хотели лезть в каменистую землю. «Ханское око» восседало тут на толстом валике из туго скатанной кошмы и недовольно зыркало по сторонам. Приближенные — в основном крымцы, но тут же был и князь Алигоко — унылой безмолвной толпой стояли перед сераскиром, почтительно потупив взоры, слегка ссутулясь и втянув головы в плечи. Чуть подальше, у самой реки, оживленно галдела, перекрикивалась и переругивалась сераскирская «гвардия». Эти brave вояки не могли бы вести себя тихо даже в присутствии пророка Магомета.

Шагов за полсотни до паши князь Кургоко спешился, а подойдя к нему, склонил голову и прижал правую ладонь к сердцу.

— Будь славен твой путь, пресветлый Алигот-паша! Сераскир слегка пошевелился на своем седалище и

засопел: это, очевидно, означало его желание встать и ответить на приветствие.

Хатажуков решил, что надо добавить к сказанному что-нибудь еще. И доба-

вил (если бы он знал, как это было некстати!):

— Пусть каждый шаг, сделанный нашим высочайшим другом по Кабарде, принесет ему радость и удачу!

Вот тут и узнал князь Кургоко последние, как говорится, хабары!

В толпе приближенных и прихлебателей, вроде Вшиголового, раздался приглушенный испуганный ропот, а крымский паша вскочил и совсем не величественно затопал ногами:

— Радость, говоришь?! На каждом шагу удача, говоришь?! А то, что у тебя под носом избивают и грабят сераскира, получившего свой бунчук (*жезл, являющийся символом власти. Бывал украшен конским хвостом и дорогой отделкой*) из рук самого хана, — это, конечно, тоже удача! Вот только для кого? Да уж не для «высочайшего друга», а, наверное, для двух дерзких проходимцев, наглых негодяев, недостойных нюхать навоз из-под моего коня!! — Алигот-паша побагровел от натуги, голос его то и дело срывался на бабий визг. — Как допустил больший князь Большой Кабарды такую мерзкую гнусность? А может, это делалось с его молчаливого одобрения, а-а-а?.. — крымский вельможа поперхнулся и тяжело плюхнулся на свою кошму. Он рукой ткнул и сторону Шогенукова, а потом показал пальцем на Кургоко.

Вшиголовый шин понял, что он должен рассказать Хатажукову о злосчастном этом происшествии.

Шогенуков выступил на полшага вперед и, пряча глаза от пристального взора Кургоко, заговорил тихим грустным голосом:

— Лучше я дал бы себе отрубить правую руку, чем испытывать столь жгучую горечь стыда за то, что произошло вчера в Шеджемском лесу, — Алигоко тяжело вздохнул. — Нестерпимы душевные муки мои. Впервые в жизни я стыжусь, что я адыг. — Алигоко сокрушенно покачал головой. — Вчера, когда наш пресветлый господин преследовал в лесу оленя и уже готов был поразить его своей не знающей промаха богатырской рукой, два каких-то негодя набросились на него из засады, оглушили, обезоружили и ограбили. Наш великолепный паша не успел даже взглянуть в их разбойничьи глаза, дабы пригвоздить их на месте своим устрашающим огненным взором. Слишком быстро...

Хатажуков внимательно слушал и диву давался: «Ну и ну! Вот ты какие песни научился петь...» За последние семь лет князь Кургоко видел Вшиголового всего два-три раза, да и то случайно, мельком. Ну а разговоров между ними не было никаких.

— ...пришел в себя, трусливые грабители уже скрылись, — закончил пши Алигоко.

О том, что сераскир был в лесу не один, Шогенуков ни словом не обмолвился. Кургоко заметил про себя, что Алигот-паша доволен рассказом Вшиголового. Крымский вельможа, обиженный и озлобленный, теперь немного успокоился и возжелал еще и утешить свою душу бесценную душистым турецким табачком. Ему поднесли длинный красивый чубук с уже дымящимся зельем.

Кургоко Хатажуков обещал отдать виновников «этого ужасного злодеяния» в руки крымских властей. Если только они, эти виновники, будут найдены. Жаль, что неизвестно, кто они такие, хоть бы знать их приметы... И тут Алигот-паша снова разразился проклятиями, но при этом, к удивлению князя, довольно толково и выразительно описал наружность разбойников, одежду, возраст, черты лица. Не забыл он и перечислить свои потери — все до последней монетки. Сказал он и о том, что видел старшего из нападавших в Бахчисарае во время своей последней поездки к хану.

— Как я жалею теперь, что не узнал тогда его настоящего имени и звания, и еще там, в Крыму, не раздавил его, как клопа! — сокрушался паша.

(Первая часть этого заявления была правильной: Алигота интересовали то-

гда не имена некоторых живущих в Крыму адыгов, а их имущество. Во второй же части, как мы знаем, паша погрешил против истины: раздавить-то он хотел, да Канболет оказался не клопом.)

А Кургоко, чувствуя, как в нем тают последние остатки уважения к спесивому крымцу, думал: «Значит, ты «не успел даже взглянуть в их разбойничьи глаза»? Откуда же тогда столько подробностей об их облике? Да и так ли все было?» Вслух Кургоко сказал:

— Весь ущерб, понесенный светлейшим пашой, будет, разумеется, возмещен. И возмещен с лихвой. И это независимо от того, найдутся злоумышленники или нет.

— Не так легко это будет сделать, — пробормотал Алигот. В голосе его, однако, уже звучали примирительные нотки.

Наконец «беседа» о вчерашней охоте закончилась. Хатажуков украдкой перевел дух. Как раз в этот момент княжеские люди подогнали отару овец, оставшую по дороге. Галдеж в сераскировской сотне усилился, крики стали пронзительнее. Даже Алигот-паша соизволил привстать со своего места и взглядом знатока оценить, добрую ли баранту пригнал к нему пши Кургоко. Оказалось, слава аллаху, добрую...

Скоро должно было начаться обильное пиршество, и вот тогда, думал Кургоко, и произойдет разговор, ради которого приехал в Кабарду ханский наместник. Но не дошло дело до пиршества... Оно дошло только до безобразно жестокой и преподлейшей выходки сераскира Алигота-паши.

— Овцы и другой скот, — сказал паша, — нам, конечно, нужны. Но ты, князь, — он ткнул мундштуком трубки в сторону Хатажукова, — должен как следует поразмыслить об увеличении главного ясака крепкими парнями и здоровыми девками. Понял?

— Наш великодушный сиятельный сераскир шутит, наверное, — приветливо улыбнулся Кургоко. — Триста юношей и девушек ежегодно — это и так слишком для нас много. Мы хотели даже просить хана...

— Здесь — я ваш хан! — крикнул Алигот. — И он говорит моими устами. Не триста, а три тысячи молодых душ будете отныне отправлять в Крым. Что ты смотришь па меня, будто онемел? Черкесы должны радоваться тому, что их юнцами шалопаями, которые потом становятся настоящими мамлюками, дорожит сам солнцеподобный султан, божественный владыка Блистательной Порты, да продлит аллах его годы на счастье всем правоверным и на погибель гяурам! А ваши девицы? Тоже почитали бы за счастье быть усладой и рожать сыновей столь возвышенным мужам, какими являют себя миру татарские и турецкие военачальники, а также сановники, подпирающие стены ханского и султанского могущества! — Алигот глубоко затынулся, затем надул толстые щеки и выпустил густое облако дыма, несколько не беспокоясь о том, что почти весь дым пошел прямо в лицо князя, человека, который и годами был постарше сераскира, да и родом познатнее.

«Плюнуть бы тебе в твою чванливую и жирную морду, — с тоской подумал Кургоко, — да ведь нельзя. Надо владеть собой, держаться до конца. Но как, каким образом доказать тебе немыслимую чудовищность этих притязаний к небольшой Большой Кабарде?»

Всегда, во все времена человеческое достоинство, добролюбие и справедливость, честь и благие порывы были вынуждены склоняться перед грубой силой. И эта сила бывала тем грознее, чем круче могла расправляться с поборниками правого дела.

— Нет, бесценный наш Алигот-паша, — мягко возразил Хатажуков. — Не может Кабарда пойти на такие жертвы. Даже дерево, у которого обрубят молодые ветви, преждевременно стареет и засыхает на корню.

— Любите вы, кавказцы, красивые слова произносить, — Алигот презрительно хмыкнул. — А что эти красивые слова? Пустая болтовня! Все будет так, как я сказал!

Кургоко при слове «болтовня» вздрогнул так, будто его неожиданно кольнули кинжалом.

— Хорошо, — твердо и спокойно сказал Хатажуков. — Я буду теперь молчать. И пусть о мольбе нашей умерить наконец притязания к многострадальной Кабарде лучше слов говорит мое впервые в жизни преклоненное колено и обнаженная голова! — князь сорвал с себя шапку и опустил перед сераскиром на одно колено.

Однако в этой позе оказалось столько изысканного благородства, столько гордого изящества, а совсем не смирения, что Алигот-паша почувствовал себя... почти оскорбленным. Ему, с его грузным телом и неуклюжими движениями, где там соперничать с этим красивым князем, сумевшим и у порога старости сохранить легкую поступь и мужественно-горделивую осанку.

Тяжелые щеки паши затряслись от негодования, вывороченные ноздри со свистом вдыхали и выдыхали воздух. Он вынул трубку изо рта и, опрокинув чашечку чубука, стал колотить ею по гладко выбритому темени Кургоко. Горячий табачный пепел, дымясь, вываливался на голову князя.

— В ответ на твои красивые слова, — свистящим полупшепотом просипел Алигот. — Тебе мой ответ. Подарок. Это тебе подарок. Пусть он тоже говорит лучшие слов, — паша еще раз стукнул Хатажукова чубуком по обожженному темени. — То же самое будет и со всей твоей Кабардой!

Кургоко медленно, словно боялся стряхнуть с головы пепел, поднялся во весь рост. Схватить бы сейчас этого скота одной рукой за горло, а другой всадить ему кинжал в брюхо по самую рукоять... Но Кургоко не успеет даже клинка вытащить из ножен. С двух сторон стоит по несколько лучников: одно мгновение — и станешь похож на подушечку для иголок. Алигот пока владеет крепостью. А Кургоко владеет собой. И это еще видно будет, кто возьмет верх. Надо стерпеть. Но это только сейчас стерпеть, а не вообще. Ибо такое стерпеть и после этого жить — нельзя. Держи себя в руках, Кургоко. Если бы ты не был намерен отомстить, то бросился бы тут же на врага и... уже бы валялся у его ног безучастным трупом.

Хатажуков не сказал ни слова. Медленно засунул шапку за пройму черкески, повернулся и неторопливо зашагал к своему коню. Он прошел мимо кучки алиготовских прихвостней, в безмолвной растерянности паливших на него глаза, приблизился к своим людям и сделал им знак садиться на коней (хорошо, что не приказывал расседлывать). Сам влетел, не касаясь стремени, в седло и с места взял в галоп. Небольшой свите не сразу удалось нагнать своего князя.

А вечером к маленькому отряду Хатажукова присоединился Алигоко Вшиголовый! сделал он что не по своей воле Алигот-паша, человек хотя и неумный, но поднаторевший в низком искусстве интриг, беспокоился пугающе неожиданным отъездом князя-правителя и тут же приказал Вшиголовому:

— А ну, живо вдогонку! Возле него ты мне сейчас нужнее, чем возле меня. Буду ждать твоего посыльного до утра. Понял? До утра!

* * *

Алигоко все понял. Он понимал и знал сейчас гораздо больше, чем любой участник или свидетель последних событий.

Когда вчера днем Алигоко нашел в лесу двух только что пришедших в себя урков и увидел, как выползает из котловины облепленный прелой листвой и перемазанный сырой глиной паша, он не стал ни о чем расспрашивать, пока не осмотрел местность по краям побоища. Его зоркие шакальи глазки сразу обнаружили, что отсюда уходят всего лишь два конских следа. Отпечатки подков одного из

коней были особенно отчетливыми на влажной земле. Значит, совсем новые подковы. И точно такие, какими на днях перековали княжеского вороного. Того самого, что Шогенуков уступил, или, сказать точнее, на словах одолжил, а на деле — шайтан его укуси! — подарил паше, чтоб ему, свинообразному, еще больше раздуться и лопнуть!

Ощипанный сераскир неистово проклинал обидчиков, визжал, что тут была целая шайка, но он запомнил двоих. А главаря он знает еще по Крыму и, кстати, этот главарь, да покроет аллах его тело паршивой чесоткой, а его пальцы лишит ногтей, бесстыдно заявил, будто дамасский клинок вернулся к настоящему хозяину. Вот тогда Алигоко вздрогнул и затрепетал душой — и от страха, и от жажды мести, и от предчувствия крупной добычи.

Он понял: здесь Канболет Тузаров!

Кто еще, имея в помощниках лишь неопытного юнца, мог так легко разделаться с тремя заматерелыми в походах и сражениях мужчинами, всех обезоружить и ухитриться при этом никого не убить?! Шогенуков знал единственного в Кабарде человека, способного на такой подвиг. А кто мог назвать себя хозяином дамасской сабли, гордости нескольких поколений шогенуковского рода? Да все тот же самый человек!

Итак, Тузаров здесь. И уж если он прогуливался по лесу пешком, значит, обосновался где-то неподалеку, а может, и совсем рядом.

Не один уже год Вшиголовый оказывал сераскиру особого рода услуги, стал для него необходимым человеком, однако о Тузарове ничего ему не сказал. Просто промолчал. Так же, как и в тот день, когда увидел у Алигота родовой булатный клинок Шогенуковых. (Он только остороженько выведал у приближенных сераскира, что сабля эта была отнята у некого Болета, преступного бахчисарайского черкеса, сумевшего совершенно непостижимым образом бежать из заточения.)

Алигоко справедливо считал, что не везде уместно и не всегда выгодно обнаруживать свою осведомленность в том или ином деле. Ставить капканы на тропе Тузарова Алигоко намеревается сам, без помощи сераскира. Когда Тузаров перестанет застить князю Алигоко свет солнечный, тогда и сабля вернется к ее настоящему владельцу — и совсем не к толстому паше. Наверное, золотишко и богатые камешки Алигота тоже могут попасть в не столь дурные руки. Ну, а главное — навек закроются глаза, видевшие жалкий позор Шогенукова, умолкнут уста, оскорблявшие его, а заветный панцирь, бесценный, чудодейственный панцирь (должен он все-таки найтись!) наконец достанется Алигоко, будущему пши — правителю Кабарды!

Надо было начинать действовать. И действовать без промедления...

И Алигоко уже кое-что предпринял. Накануне вечером он послал четверых своих людей вниз по течению Чегема «погостить» в каждом из хаблей, находящихся на протяжении двух дней пешего пути. Теперь надо было дожидаться их возвращения. А пока первейшее дело Алигоко — это узнать намерения Хатажукова и сообщить о них сераскиру. Кстати, тайное доносительство, подленькое нащептывание на ухо давно уже стало главным делом Вшиголового — единственным занятием, которое было ему по душе и которым он научился владеть в совершенстве.

Шогенуков считал теперь, что он один все знает, а потому и сила на его стороне. Однако он не знал главного, не знал, что маленький Хатажуков жив и здоров и не сегодня-завтра может встретиться с отцом. Но если бы Шогенуков знал об этом, то тут уж новое знание прибавило б ему не силы, а страха. Ведь тогда Вшиголовый легко бы предложил, что для Тузарова больше нет никаких тайн, утонувших, как думал Алигоко, вместе с Кубати, а значит, и Хатажукову теперь станет известна вся правда.

А пока невелико было беспокойство Вшиголового — ведь он считал, что

удар наносить ему придется первому, и противник вряд ли успеет подготовиться к отражению этого удара.

* * *

Князь Кургоко, не разбирая дороги, скакал впереди своего маленького отряда до тех пор, пока не наткнулся среди перелесков холмистой равнины на это маленькое, не знакомое ему селище. Оно стояло в стороне от той дороги, по которой Хатажуков ехал к сераскиру.

На взмыленной лошади князь свернул во двор самого первого домишки, подслеповато взирающего на мир двумя крохотными окошками, затянутыми бельмами бычьих пузырей. Глиняная труба торчала не из крыши, а поднималась, прилепившись к стене, прямо от земли. С кровли свешивались бурые клочья прелой соломы.

Хозяин дома, пораженный такой честью, — сам князь-правитель у него в гостях! — все-таки сумел, без лишней суеты и не теряя внешнего достоинства, провести Кургоко в свой жалкий, но чистенький хачеш. Часть приближенных, которая постарше, вошла туда же, а молодые занялись конями. (Животных надо было еще поводить, не давая останавливаться, после резвой двухчасовой скачки, дать им остыть и успокоить дыхание, а уж потом напоить и немного покормить.)

Хозяин засуетился чуть позже — когда надо было подумать об угощении. Резать последнюю корову? Единственную, только что обьягнившуюся двойняшками овцу? Пришлось бы пойти и на это, не будь у хорошего человека Ханафа добрых соседей, людей таких же хороших, как и он сам. Хромоногий Лют приволок за рога упирающегося валуха, еще одного барана, только со связанными ногами, принес на своих могучих плечах молчаливый бородач Штым; женщины приходили с квохчущими курами в руках, с кругами копченого сыра, с пучками черемши и связками лука, с разной снедью, когда-то заготовленной впрок или состряпанной только сегодня собственной семье на ужин. Некоторые, за неимением ничего лучшего, тащили во двор Ханафа сухие дрова, а дружные братья Хазеша, Хакяша, Ханашихо и Хашир, сыновья покойного Хабалы, привели годовалого бычка и сами же занялись его отправкой в тот мир, где не жалят слепни и не скудеют пастбища.

Ханаф носился по двору, где уже пылали два костра, шутливо переругивался с женщинами (знаю, знаю, чего вы хотите, — закормить моих гостей до смерти), благодарил — и тоже с шуткой — мужчин (сегодня уж вы меня выручайте, а завтра — хоть жизнь возьмите, а еще лучше — подождем, когда у каждого из вас побываю такие же гости).

Во дворе появился единственный худосочный уорк этого маленького селища и, шатаясь от обиды: почему князь Кургоко заехал не к нему! — направился в хачеш.

Ханаф был счастлив и озадачен. Вид князя Хатажукова, бледного, с горящими мрачным блеском глазами, с непонятной раной на голом темени, не мог не вызвать в простом крестьянине чувства некоторого смятения и беспокойства. А эти чуть дрожащие руки, длинные пальцы, мнущие шапку, сжатые до мертвой белизны ногтей! Все бы отдал любопытный Ханаф за то, чтобы узнать о событиях дня. И он скоро о них узнал. За это ему и отдавать ничего не пришлось.

Какой-то человек из сопровождавших князя подошел к Ханафу и сказал, что Кургоко просит его войти в дом и участвовать в одном важном разговоре.

«Поистине день этот, хвала Зекуатхе, богу дорог и походов, запомнится мне на все остальные дни моей жизни, — подумал Ханаф. — Так оно и будет, клянусь вот этим заходящим солнцем!».

Когда Ханаф вошел в гостевую, он услышал конец кургоковской речи, обращенной к местному уорку:

— И не потому я заехал не к тебе, что хотел унижить твое честное имя, — го-

лос Хатажукова звучал слегка раздраженно и строго, но с нотками доброжелательности. — Ты должен заметить: я не выбирал ничей дом, я вошел в самый первый. Думаю, так и следует поступать любому путнику, если только он уважает адыге хабзе. Понятно?

Уорк пристыженно потупил глаза, но при этом с облегчением вздохнул.

Хатажуков все так же, без кровинки в лице и с обнаженной головой, сидел у ярко пылавшего очага. Перед ним на столике-трехножке уже стоял кувшин с махсымой, лежали ломтики сыра и пасты, сушеные фрукты, в деревянной солонке — крупная сероватая соль.

Увидев хозяина дома, пши Кургоко деловито кивнул ему и сказал просто, без всякой напускной вежливости или снисходительного панибратства:

— Останься здесь, хозяин, и слушай внимательно. Потом попросим и тебя высказаться. В таком деле крестьянское слово совсем не будет лишним.

В это время в дверном проеме появился шумно отдувающийся Алигоко: можно было подумать, что не он скакал на коне, а конь ехал на нем верхом.

— И ты здесь? — удивился Хатажуков. — Вот не думал, не гадал...

— А где мне еще быть! — обиженным тоном выкрикнул Шогенуков, затем добавил, уже вполне буднично:

— Потерял вас из виду, а после еле нашел.

— Хорошо! — Кургоко звучно хлопнул ладонью по колену. — Не будем терять времени. Если все вы сейчас окажетесь моими единомышленниками и друзьями и если простой люд этого хабля тоже захочет поддержать меня по-дружески, то всем нам сегодня же, еще до полуночи, придется снова седлать лошадей. Вы видите мою обнаженную голову, мою дурную голову с татарским подпорочком на темени. Пусть последний пшитль Кабарды знает, как крымский сераскир унизил князя Хатажукова, как он выколол об его голову свой грязный чубук. Пусть также все узнают, что Хатажуков до тех пор не надел шапку, пока не отомстил, пока беспощадно не отомстил поганому крымцу! И будь проклят позорный миг моей слабости, когда я снял шапку, чтобы смиренно вымолить для Кабарды хоть какое-то облегчение! Сейчас ясно одно: облегчения не будет, наоборот — скоро начнутся такие бесчинства, такой грабеж и порабощение, каких адыги никогда не знали. А потому сегодня же ночью мы нападём на татарский отряд и ни одного будущего насильника и разорителя не оставим в живых. Сераскира прошу не трогать. С ним я сам рассчитаюсь. Это нужно мне для того, чтобы я снова почувствовал себя человеком, мог оставаться вашим князем и смог надеть шапку на голову. Это нужно и всему нашему народу, который был так страшно унижен и поруган через его князя-правителя. Я все сказал. Теперь слово за вами. Говорите, да покороче.

Ни Шогенуков, ни кто-либо из уорков не осмелились возразить большему князю. Все они кратко и решительно выразили свою готовность выступить немедленно. Взгляд грустных, лихорадочно блестящих хатажуковских глаз остановился на хозяине дома.

Ханаф все время слушал князя с таким напряженным вниманием, что у него спина задеревенела; он ни разу не шелохнулся, и только желваки гуляли под кожей лица. Когда Кургоко закончил, Ханаф обернулся назад и что-то тихо сказал мальчику-бгошасу (*обычно подросток или юноша, стоящий в дверях и готовый выполнить любое поручение по обслуживанию застолья*), стоящему у дверей, и мальчик сразу же исчез.

— Спящего медведя не буди, доблестного мужа не серди, — начал Ханаф хриплым от волнения голосом, затем откашлялся, смахнул крупные капли пота со лба и продолжил:

— Ранена голова у нашего князя. Мы поможем ее быстро вылечить. У Кургоко здесь человек двадцать, столько же мужчин и у нас в хабле. Этого мало. В со-

седнем хабле наберется десятков шесть или семь. Извини меня, высокий пши, но я уже послал туда парнишку. Не успеет свариться курица, как все они будут уже здесь.

Уорки сдержанно рассмеялись. И даже в глазах у Кургоко промелькнуло что-то похожее на улыбку. Ханаф, мужчина лет сорока, небольшого роста, в обычной обстановке очень непоседливый, относился к тем людям, которые никогда в жизни не унывают и всякие невзгоды сносят беспечно, с легкомысленными шуточками. Вот и сейчас он немного осмелел и категорически заявил Хатажукову:

— Разреши мне еще одно слово, глубокочтимый Кургоко, это уже о другом. Что бы там ни было, а ты у меня в гостях. И хотя бы ради моих будущих внуков, которым я буду о тебе рассказывать, ты должен отведать моей шуг-пасты (*соло и пшенная мамалыга, соответствует русскому «хлеб-соль»*). А я еще не видел, съел ли ты хотя бы крошечку. Конечно, все мы сейчас точим зубы на Алигота-пашу, но разве это значит, что мы не можем съесть перед дорогой по куску мяса и выпить по глотку махсымы?

На этот раз уорки засмеялись погромче, а Кургоко улыбнулся по-настоящему:

— Хорошо, друг мой, я сделаю так, чтобы ты не мог меня в чем-либо упрекнуть. — Он отщипнул кусочек ячменной лепешки, прожевал его и запил водой. — Вот и все. На большее я сегодня не способен. А то, что ты распорядился в хатажуковском деле быстрее самого Хатажукова, мне понравилось. Однако сообщи крестьянам — я им не приказываю, тут дело добровольное...

Ханаф укоризненно покачал головой:

— Зачем лишние слова? Наши люди и так все поймут по-человечески, хотя чуть ли ни у каждого в этом хабле «волчье» имя.

В гостевую передали охалку ореховых вертелов, униженных кусками зажаренной на углях баранины, — блюдо, особо любимое татарскими мурзами и называемое тюркским словом «шашлык».

— Дорогие, желанные, высокочтимые! Доставьте мне радость, угощайтесь! — умоляюще заголосил Ханаф. — Давайте кушайте, пока горячее, а я, прошу меня извинить, оставлю вас на короткое время: надо пойти встретить этих бездельников из соседнего селища. Уже топот копыт слышен...

Чуть помедлив после того, как Ханаф вышел во двор, Хатажуков поднялся:

— Пора и нам. — Меж его густых, круто изломленных бровей залегла глубокая складка. — Все вы дали мне слово быть со мной до конца. Ну а если кто свернет в сторону — носить ему не шапку, а черный колпак, каким венчают головы трусов. Согласны?

Как тут было не согласиться...

* * *

Ночь выдалась тихой, безмятежной. Ярко сверкали звезды, а вокруг луны слабо светился красноватый ореол.

Мерной размашистой рысью скакали всадники хатажуковского отряда по кратчайшему пути к стоянке сераскира. Когда до нее оставалось совсем немного, Кургоко приказал перейти на шаг, чтобы подъехать к крымцам по возможности бесшумно.

В это время Шогенуков мучительно размышлял, как ему действовать дальше. Послать к Алиготу своего человека еще оттуда, из этого проклятого маленького хабля, он так и не смог. Да и нельзя было вдруг выехать оттуда верховому, не вызывая никаких подозрений. А сейчас требовалось принять быстрое решение. И действовать в открытую, чего Вшиголовый терпеть не мог. Любой рискованный шаг был ему не по нутру. И все-таки, завидев в ночи огни стоянки, Алигоко, холодея от ужаса, ударил коня пятками по бокам, рванулся вперед и на бешеной ско-

рости поскакал к шатру Алигота-паши. По дороге он выстрелил вверх из пистолета и стал громко кричать:

— Алигот, Алиго-от, на коня! Скорей на коня-а-а!

Весь отряд с Хатажуковым во главе пустился вдогонку, проклиная предателя и суля ему страшные кары.

Предупреждение Алигоко все равно оказалось слишком поздним: крымцы не успели изготавиться к отражению атаки. Сонные и неповоротливые после плотного ужина, какой отпор могли они дать стремительным всадникам! Лавина конницы пробивалась к середине лагеря, обтекала его с флангов, не давая отчаянно вопящим крымцам добраться до своих лошадей. Более упорное сопротивление встретилось только у сераскирского шатра. Здесь дрались телохранители паши — воины самые сильные и мужественные. Пока они сдерживали яростный напор Хатажукова и ближайших его соратников, толстый Алигот с поразительной резвостью вылетел из шатра и через мгновение был уже в седле: недаром одного из запасных его жеребцов всегда держали оседланным у самого входа в шатер.

Пши Кургоко увидел сераскира и обрадовался: слава аллаху, сейчас наконец доведется скрестить оружие с подлым оскорбителем, но Алигот имел, оказывается, совсем другие намерения. Огрев коня хлесткой камчой, он погнал черного, как безлунная ночь, иноходца в темноту, к той окраине лагеря, которая не была еще замкнута кольцом окружения. Бок о бок с ним скакал Алигоко Вшиголовый, успевший сменить свою усталую лошадь.

Князь выхватил тяжелый пистоль и в сердцах, не целясь, выпалил вслед беглецам. Бросить бы коня вперед, но путаются в ногах, не дают ходу последние недобитые охранники, еще немного промедления — и уже бессмысленно пускаться в ночную погоню...

Все-таки спас Алигоко, чтоб ему вши отъели голову, злобного крымца, успел в решающий миг выхватить господина своего разлюбезного из-под обрушивающегося меча Азраила, ангела смерти.

Участь сераскирской сотни была ужасна. Здесь не помогли татарам ни громкие призывы к аллаху, ни мольбы о пощаде, ни оружие. Те уорки, что сопровождали Шогенукова в эту ночь, за исключением двоих, не последовали за своим пши. Они как ехали вместе со всем отрядом, так вместе с ним же напали на крымских друзей Алигоко. (Кстати, впоследствии они не раз благодарили небо — может, аллаха, а может, Уашхо-кана — за то, что так удачно вступили на «путь истинный».)

Все крымцы до единого, не считая сбежавшего вместе с Алиготом сотника, были убиты. Эти люди с самой своей юности больше думали о грабежах, чем о трудах праведных, больше думали о захваченных в набегах женщинах и о жирной еде, чем о воинских подвигах, и меньше всего они помышляли о том, что стране, которая вознамерилась жить за счет других стран, рано или поздно приходится за это горько расплачиваться.

Хатажуковцы почти не имели потерь — всего несколько раненых да один убитый.

Татарские кони, оружие, пригнанная вчера для Алигота-паши скотина, по приказанию князя, были разделены между крестьянами — участниками побоища.

Кургоко не был доволен исходом нападения — ускользнул тот, ради кого затевалось все дело. Однако уорки, а также крестьяне — их мнение тоже интересовало Хатажукова — убедили князя снова надеть шапку. Ведь урон, нанесенный самолюбию и гордости Алигота-паши, позорно бежавшего куда глаза глядят, был, несомненно, велик.

Все еще хмурясь и досадливо морщась, Кургоко вынул папаху из-за проймы черкески и медленно водрузил ее на голову, надвинув на самые брови.

Странно было, что теперь никто не заговаривал об Алигоко. Посмотрели

выжидательно па большого князя, но вопросов не задавали. А он тоже молчал. Или еще не осознал до конца поступок Вшиголопого, или просто имя его произносить не хотел.

Поручив тлхукотлям предать земле тела убитых татар, князь вместе с верными своими соратниками отправился домой.

* * *

Утром Кургоко был далеко от «проклятого места».

Незадолго до полудня его уговорили устроить привал. Мысль об этом ему, вероятно, не пришла бы в голову до тех пор, пока не пала бы под ним лошадь.

Хатажуков спешился, подошел к родниковому ручью, бросил несколько пригоршней холодной воды в свое разгоряченное лицо. Потом он выпрямился, с болезненно-приятным напряжением расправил плечи и огляделся вокруг, испытывая странное чувство, — будто впервые в жизни ему вдруг нечаянно открылась красота его родной земли.

Далеко в сторону солнечного восхода простиралось волнистое взгорье, покрытое коврами свежего разнотравья, а кое-где — бурыми войлоками пашен. К югу уходили ряды лесистых кряжей, которые упирались в лежавший поперек их пути Пастбищный хребет, подобно лохматым щенкам, присосавшимся к материнскому брюху. Над Пастбищным хребтом чуть подрагивала в полуденном мареве жаркого солнечного неба кружевная полоска вечноснежных гор. Это уже Главный хребет Кавказа — естественная граница Кабарды с Грузией; граница жесткой и мягкой зим; за эту высокую-гранитно-ледяную преграду, протянувшуюся от Ахына (*Черное море*) до Хазаса, каждую осень улетают дикие гуси. Потому и слово есть такое: Кавказ — «Кау-каз», что означает «гуси-лебеди».

Здесь, у начала предгорий, — самая благодать хоть для человека, хоть для любого зверя или птицы. Ласковый освежающий ветерок песет в себе ароматы трав и дикорастущих плодовых рощ, измельченную в пыль влагу стремительных горных потоков и неслышное дыхание беспредельно выносливой земли, готовой без конца принимать в свое чадолюбивое чрево семена новой жизни.

В некотором отдалении на пологий пахотный косогор выкатывали крестьяне тяжелый общинный плуг с парой колес по бокам: в него обычно запрягалось пугом три или четыре пары быков, а иногда столько же лошадей.

«Самое время, — подумал Кургоко. — Пахотный месяц... (*май*) Наверное, и наши сегодня тоже начинают... Э-эх! И что бы нам не жить, да еще на такой земле! А ведь не дают нам жить... Иногда мы и сами не даем себе жить по-человечески».

И почувствовал пши Кургоко, князь — правитель Кабарды, нечто вроде зависти к оживленно горланящим тлхукотлям, которые не просто взялись за долгожданные весенние работы, а с рьяным упоением на них набросились. До Хатажукова долетали отдельные веселые возгласы, раскаты смеха. И как беззаботно смеются адыгские крестьяне — им для этого и особого повода не нужно! Тут молодой бык заупрямился, в ярмо не хочет совать голову; там кто-то собачке на хвост наступил, а она, жалобно ия икнув, сгоряча куснула за ногу своего собственного и горячо любимого хозяина; а потом самый горластый детина высказал предположение, отчего у местного муллы сегодня с утра живот разболелся, — и уж на этот раз от дружно грянувшего хохота даже стая грачей, скакавших за плугом, так и взвилась в воздух.

Настоящая причина веселья, думал Хатажуков, конечно, не в этих мелочах, а просто бывают дни, когда по-весеннему сильный и добрый солнечный свет проникает до самых глубин души, когда взрыхленная пашня пахнет будущим хлебом, когда человеку верится в лучшее, верится в скорую жизненную удачу гораздо сильнее, чем обычно.

Здесь, как и во многих местах Кабарды, пахоту и жатву люди проводят в то-

варищеском единении, перебираясь с одного участка на другой дружной общиной. И Кургоко сейчас представлял себе, как тот крестьянин, чье поле вспахали первым, уже умчался в село подготавливать кебак — на верхушках двух длинных жердей будет укреплена доска и на ней расставлены всякие мелкие поделки, вырезанные из дерева фигурки. Главное праздничное развлечение: мужчины скачут верхом (если есть на чем) и с ходу стреляют (если «есть из чего») в цель, стараясь сшибить какую-нибудь игрушку. Орды босоногих мальчишек будут устраивать свалки под шестами кебака и в честной борьбе — до крови из носа — завоевывать соблазнительные призы, падающие на их отчаянные головы. До позднего вечера затянется шумное веселье, хотя и пиршество будет отнюдь не жирным, и мулла постарается испортить праздник, пытаясь прекратить это языческое непотребство с его кафами да уджами, «шипса-писами» да ажигафами. (Народные танцы, веселое «водолейство», т. е. шутливое зубоскальство, и ряженные — с козлиными рогами и бородами из конских хвостов — совсем почему-то не по чутру новой религии.)

А у Кургоко Хатажукова заботы сейчас совсем иные. Надо князей собрать, большой разговор вести с ними об угрозе, которая нависла над землей предков. Надо остановить тех, кто собирается в дальний поход за сомнительной славой и рискованной добычей. Надо примирить тех, кто в ссоре, не допускать никаких распрей и надменного соперничества. Сейчас все князья и уорки должны, как это говорится, конно, людно и оружно постоять за Кабарду. Первое, что придется сделать, — сколотить несколько сторожевых разъездов: пусть держатся все время у северных пределов края...

— Позволь, высокий пши, раздумья твои прервать, — один из приближенных тронул Хатажукова за локоть. — Пора тебе подкрепиться. Уже все готово.

— Хорошо. Иду. — Кургоко хотел было повернуться, но вдруг что-то привлекло его внимание. — Смотрите, к нам какой-то всадник приближается. Подождем его.

А всадник, появившийся из-за поворота дороги и ехавший неторопливой рысью, увидел, наверное, людей и подстегнул коня.

— Это Казанок, — сказал князь. — Вот с кем хотелось мне встретиться...

— Я вижу, что-то случилось. Не поладили с надутым крымцем? — спросил Джабаги после того, как спешился и вежливо поприветствовал князя и всех остальных.

— «Не поладили» — не то слово, — усмехнулся Кургоко.

— Значит, совсем поссорились! — уверенно предположил Казанок.

— Давай-ка, Джабаги, сядем у огня.

Перед началом разговора князь пытливо всмотрелся в ясные и спокойные глаза молодого мудреца.

— Скажи, друг мой, а кто тебе раньше нас мог сказать о том, что произошла ссора? Ведь ты приехал совсем с противоположной стороны.

Сухие губы Джабаги дрогнули в улыбке:

— Наверное, доблестный Алигот изо всех сил пырлял ножом в убитого быка? Это я по поводу случая на охоте.

— Удивительный ты человек, Казанок, — князь покачал головой. — Если бы я тебя не знал, то подумал, что богатства сераскира стали именно твоей добычей'. Что ты еще знаешь?

— И мало и много. Но об этом скажу потом, сейчас не время. Сначала мне надо узнать, чем все-таки кончилась твоя, добрый мой пши, встреча с крымцем.

— Ну что же, слушай, — вздохнул Кургоко. — А потом можешь меня осуждать...

Джабаги задумчиво перебирал прутиком угольки костра. Перед двумя собеседниками стыли куски жареного мяса, стояло нетронутым питье в серебряных чашах.

— Нет, князь! поднял голову Казанок. — Осуждать я тебя не буду. Как мне тебя осудить, если на твоём месте я поступил бы точно так же? Если ты и заслуживаешь какого-то упрека, то лишь в одном: чересчур большие надежды возлагал на возможную справедливость и великодушные ханских сановников, да и на... как бы тебе сказать... силу, что ли, своего влияния. Извини за прямоту...

— От тебя я всегда жду только прямоты, — ответил Кургоко. — Говори, что думаешь, и не бойся меня задеть.

— Теперь мы должны думать и говорить о будущем нашей земли. Причем о ближайшем будущем.

— Об этом у меня и болит голова. Алигот крепко вколотил в нее своим чубуком кое-какие мысли.

— Будет тебе терзаться! Оставь, князь!

— Попытаюсь, — Кургоко взял прутик из рук Джабаги и стал сам ворошить угольки в потухающем костре. — Ты знаешь, друг, у меня за щекой еще одна новость... Вот уже несколько дней она, как ноющий зуб, не дает мне покоя...

И Кургоко рассказал о встрече Адильджери с загадочными незнакомцами, один из которых просил передать Хатажукову, что Кубати жив и здоров.

Джабаги тихонько засмеялся:

— Похоже, дорогой Кургоко, что мы с тобой приберегали друг для друга один и тот же хабар.

— Ты... ты и это... — ахнул князь.

— В том, что Кубати жив, тебе мог бы свидетельствовать твой приятель Алигот-паша, — невозмутимо заявил юный старейшина. — А в том, что он здоров, вполне чувствительно убедились два матерых шогенуковских охранника, которые сопровождали сераскира в лесу.

Лицо князя окаменело. Видно, он хотел что-то спросить, но не смог.

— Правда, правда, — радостным шепотом заговорил Казанок. — Тут не место шуткам или досужим слухам. Я сам видел Кубати — джигит хоть куда! — разговаривал с ним. Он умница и прекрасно воспитан. Не всякому отцу такое счастье!

— Джабаги... — хрипло выдавил Хатажуков. — А с ним, с мальчишкой, что за человек?

— Скажу и об этом. Ты, помнится, говорил, высокий пши, о необходимости сплочения всех князей и уорков, о примирении кровников... Говорил, что рассчитываешь на мою помощь. Я готов сделать все, что в моих скромных силах. Но, знаешь, дорогой мой старший, начинать мне тут придется с тебя... Да, да, ты не ослышался! Человек, воспитавший твоего сына, семь лет, как один день, деливший с ним пищу и кров, учивший его всему, что знает и умеет сам, — это Канболет Тузаров.

— Убийца моих братьев... — чуть слышно проговорил Кургоко. — О, аллах, укрепи мои силы!..

— Не так все это было, — грустно вздохнул Джабаги. — Но не я тебе, князь, буду рассказывать горькую правду. Тебе надо встретиться с Канболетом и Кубати. Сын, конечно, останется с отцом — не думай, что он в заложниках, но Кубати, так же, как и я, считает, что ты должен примириться с Тузаровым, который ни в чем не виноват. Ты ведь знаешь обо всем со слов Алигоко Вшиголового, а уж его «честность» известна всем.

Хатажуков долго молчал, затем, бросив прутик в кострище, сказал рассудительно и твёрдо:

— Сейчас я не могу говорить о примирении. Но встреча которую ты предла-

гаешь, нужна.

— И я ее устрою, — пообещал Джабаги.

ХАБАР ОДИННАДЦАТЫЙ,
*подтверждающий мудрость того изречения,
что если ты тревог не знал,
то и спокойствия не оценишь*

— Девочка моя, а ты помнишь о том, что он — княжеский сын? — спросила Нальжан.

Щечки у Саны полыхают ярким румянцем, глаза лучистым блеском светятся — видно, они совсем недавно повстречали взгляд других глаз, таких же бесхитростно-восторженных.

— Что ты сказала, Жан? — рассеянно спросила девушка. — О чем я должна помнить?

— О том, что мы с тобой не княжеского рода. — Нальжан вздохнула украдкой и отвернулась.

Медленно угасла улыбка на пухленьких губах Саны, печально поникли длинные ресницы. Не говоря ни слова, она взяла медный узкогорлый гогон и пошла к реке. По дороге вспомнила: а ведь, кажется, Кубати шел как раз на берег реки, когда они так смешно и неловко столкнулись липом к лицу под этим ореховым деревом и от неожиданности на какой-то едва уловимый миг выдали своими взорами то, что ревниво и бережно хранилось в душе. Потом оба торопливо напустили на свои лица выражение безразличного спокойствия, но сделали это настолько неумело, что не выдержали, смущенно рассмеялись и поспешили в разные стороны.

Нет, она не нарочно пошла за водой, уверяла себя Сана. Когда брала гогон, она не думала, что может встретить Кубати там, внизу, под обрывом, на узенькой береговой кромке. Правда, после слов тети она сразу же почувствовала нетерпеливое желание увидеть его. Почувствовала, что ей это просто сейчас необходимо. Для чего и зачем — пока еще неясно. Скорее всего, чтобы понять, не последняя ли была у них сегодня... такая вот встреча в саду... И если ей пришлось в голову отправиться за водой раньше, чем она вспомнила, что в ту же сторону побежал и Кубати, значит, сама рука судьбы ее подтолкнула.

Кубати на берегу не оказалось, и в груди у Саны шевельнулся тугой и колючий комок болезненного разочарования. Девушка набрала воды в медный сосуд, присела на камень, задумалась. До сих пор, вернее, до нынешнего разговора с Нальжан Сана и не помышляла о каких-то изменениях в своей жизни, а во всем, что касалось этого могучего и красивого парня, не заглядывала вперед дальше, чем на один день.

Зашуршали чьи-то легкие шаги по речной гальке, и знакомый голос произнес:

— Ты похожа на Псыхогуашу! — Кубати вышел из-за большого камня.

Сана сердито посмотрела на юношу:

— Я не гуаша! — Она сказала эти слова так гордо и многозначительно, будто принадлежность к высшему сословию находила постыдной. — И хотя ты, парень, рожден в семье высокородного пши, бедным простым девушкам не может поправиться, когда ты за ними украдкой подсматриваешь.

— При чем здесь пши? — растерянно пробормотал Кубати. — Что может быть на свете высокороднее твоих глаз, твоей...

— Прибереги свои слова для той, которая будет тебе ровней! — решительно отрезала Сана, подхватив гогон, и встала.

— У меня ни для кого, кроме тебя, никаких слов не будет. — Кубати загородил ей тропинку.

— Пропусти, будь великодушен, всесильный пши! — смиренной овечкой

прикинулась Сана. — Не стоит, даже скуки ради, тратить время на пустые беседы с низко-рожденной.

Кубати побледнел и отступил в сторону. Сана быстро пошла вверх по тропинке. Провожая ее взглядом, Кубати сказал негромко — и боясь, что она услышит, и втайне желая этого:

— Выпить бы глоток воды из твоих ладоней — вот за что я, не колеблясь, отдам княжеское звание.

Она услышала, но не подала виду: не остановилась, не ответила.

* * *

Емуз и Канболет сидели у очага, в котором только начинал разгораться огонь. В открытом дверном проеме мягко светился предзакатным розовым цветом прозрачный лоскут неба, криво обрезанный снизу темным зазубренным лезвием горного хребта. В чаше все сильнее сгушался сумрак, но мужчинам не хотелось зажигать факел.

Куанч стоял, привалившись спиной к опорному столбу, и рассказывал:

— ...И вот когда моя любимая собака — звали ее Акбаш, я с ней пас овец — облаяла нашего таубия, то он, этот зверский человек, приказал кобеля пристрелить, а меня побить палками. Проклятый Келеметов Джабой! Чтоб у него все зубы выпали, а один остался — для зубной боли! Как меня избили его прихлебатели — думал, помирать надо! И все потому, что кричать я не хотел. За это Джабой сильно обижался на меня и тоже помогал бить, пока не вспотел. Потом толстозадый Келеметов приказал привести меня к себе во двор и там на землю бросить. Сказал, отдохнет немного, покушает — и опять бить будет. Сказал, все равно из этой радости (*по-балкарски «радость»*) он горе сделает, заставит плакать и кричать. Вечером снова бил палкой. Палка твердая, из кизила. Я хотел за ногу его укусить, не достал, зато па тляхетен ему кровью харкнул. Орал таубий: «Языком заставлю слизать», — а у меня в глазах белый свет черным светом стал, все пропало и я сам пропал. Ночью холодно стало — ожил. Пошевелился — чуть от боли не завопил. Зато кости целые. Тогда я думать стал. Утром снова бить будут. Защищать никто не будет. Никто не пойдет против таубия ради сироты и к тому же его собственному, как это у кабардинцев называется? Да, пшитля. (У нас это ясакчи называется.) Если не убьют, то покалечат, и опять на всю жизнь оставаться подневольным скотом... Нет, не хочу. Убежать и не отомстить — тоже не хочу. Кроме Акбаша, у меня никого не было. Заполз я в джабоевскую башню. Темно. Масляный светильник догорает. В очаге — угольки еще красные. Глаза привыкли — немного видеть стал. Храпит Келеметов на топчане. От него кислой бузой воняет и потом. Нажрался перед сном. Чаша с айраном возле него. Напился я. Нож свой вынул, постоял, подумал. Не смог убить. Спрятал нож. Голова у меня кругом пошла, и я упал прямо на Джабою. А он только хрюкнул, как донгуз (*кабан*), и не проснулся. Над очагом, смотрю, казан полный шурпы. Еще теплая была. Зачерпнул чашей и выпил. Со всем оживать стал. Хотел убить его — и опять не смог. Нет, я не боялся. Совсем был смелым тогда. Наокреб сажу с камней, смешал ее с маслом из светильника и Джабою всю морду вымазал. Потом взял его штаны, в казан с шурпой их бросил и вышел во двор. Самое трудное было — коня оседлать и тихо, чтобы никто не проснулся, на дорогу его вывести. Очень ребра и спина у меня болели, как подпруту сумел затянуть, даже сам не знаю. А потом скакал. Вижу — конь сейчас подыхать начнет, тогда я медленно поехал, на шаг перешел. Потом слез я с коня, оставил его. К Емузу уже сам пришел. Хотя и говорят кабардинцы: «На чужой лошади сколько хочешь скачи — не набьешь себе задницы», — а мучить животных нехорошо. Не по-человечески это.

Куанч закончил свой рассказ и, смущенно нахлобучив шапку почти на глаза, посмотрел в сторону Канболета: интересно, что он скажет?

— Жалко, — сказал Канболет.
— Чего жалко? — удивился Куанч. — Келеметова или его штаны?
Тузаров горестно вздохнул:
— Шурпу жалко.
Куанч с удовольствием расхохотался:
— Ух, ладно! Ох, и хорошо! До чего, клянусь, хороший ты человек, Канбо-
лет!

— Ну вот что, «ладно-хорошо», — пряча улыбку в усах, нарочито строгим тоном сказал Емуз. — Эта наша взбалмошная девчонка дошла искать такую же взбалмошную, как она сама, козу, которая опять удрала в лес. Пойди, парень, поищи ее, а то она что-то долго не возвращается. Опять, наверное, разглядывает гнездо с птенцами или цветочки собирает. Пусть идет домой — хоть с козой, хоть без козы. Темнеет уже.

— Это мы быстро! — весело крикнул Куанч и выбежал во двор.
Его окликнула Нальжан, возившаяся под навесом с только что зарезанной курицей.
— Эй, дружок! Ты знаешь, племянница моя...
— Знаю, знаю! — перебил Куанч. — Бегу ее звать домой. А где Бати?
— Повел коней на водопой...
— Ну ладно! Я уже побежал!

* * *

Сана оказалась совсем не так уж далеко: Куанч встретил ее в той части леса, которая примыкала к селеньицу со стороны горного склона. Девушка медленно брела по едва заметной тропке, прижимая к груди крошечного зайчонка и тихонько напевая какую-то детскую песенку. Следом за ней с несколько озадаченным видом шла коза, видимо, удивленная тем, что к ней не применяют никаких мер принуждения.

— Эй, красавица! — окликнул ее Куанч. — Ты долго охотилась за этим зверем? А гостей на ужин из жареной дичи позвала?

— Глупый ты парень, Куанч! Разве можно так шутить? А если зайчик все понимает и умрет от страха — на чьей совести тогда будет его гибель?

Вдруг лицо Куанча, на котором только что гуляла добродушнейшая улыбка, будто окаменело:

— Постой! Ты слышишь?

Со стороны моста, находившегося между хаблем и домом Емуза, донесся чей-то отчаянный вопль, звуки выстрелов, возбужденное конское ржание.

— Ох, боюсь, как бы и вправду чья-то гибель не оказалась на моей совести! — простонал Куанч и стремглав бросился бежать к мосту.

По пути он нагнал толпу вооруженных чем попало емузовских односельчан, бегущих на место происшествия.

— На Емуза нашего нападение! — раздался чей-то крик.

— Скорей, вот они!

— Мост зажгли, проклятые!

Куанч увидел три распростертых на некотором расстоянии друг от друга неподвижных тела — в ближнем он узнал Емуза. Увидел еще четырех всадников. Двое, поддерживая с боков третьего, голова у которого бессильно болталась, были уже на противоположном берегу и скакали вверх по дороге. А четвертый замешкался на этой стороне — лошадь его заупрямилась, никак не хотела прыгать через огонь, загоревшийся на том конце моста от факела, брошенного на бревенчатый настил.

Чье-то тяжелое копьё пролетело над головой Куанча — из-за его спины — и с хрустом вонзилось между ребрами лошади: она тотчас рухнула наземь вместе со

своим седоком. Куанч прыгнул на поднимавшегося с земли человека и с яростной силой вонзил ему кинжал в горло. С чувством изумления и мстительного злорадства узнал он в убитом одного из верных келеметовских прислужников, чьи палочные удары он так недавно вспоминал.

Поднявшись на ноги, Куанч отступил назад и чуть не споткнулся, задев пятой лежавший рядом с лошадью панцирь, которому, как он знал со слов Кубати, не было цены. Так вот за чем явились сюда незваные гости! Но где же Канболет и Кубати? А Емуз, он здесь... Вот лежит... Юноша склонился над человеком, который стал для него почти родным. Лицо Емуза и мертвым оставалось таким же спокойным и строгим, как в жизни.

Куанч поднял голову. Сгрудившиеся вокруг него люди смотрели сейчас не на Емуза, а в сторону дома. Перевел туда взгляд и Куанч. Размеренной, величавой походкой к ним приближалась со страшной ношей на руках сестра кузнеца. Тело Канболета сейчас казалось совсем небольшим, и женщина, высокая и сильная, будто и не ощущала его тяжести. В груди Тузарова торчала чуть пониже левой ключицы длинная стрела.

Нальжан остановилась возле Емуза.

— Твой гость, Псатын! — сказала она неестественно бодрым голосом. — Ты защищал его до конца.

— Скажи, хозяйка, — хрипло проговорил Куанч. — А наш Бати... Он что...

Нальжан показала взглядом на тот берег:

— Увезли. Связанного. Здесь был Алигоко Вшиголовый. Подохнуть бы ему смертью мучительной...

Подошла в это время, еле держась на подгибающихся ногах, Сана. Увидела отца, которого мужчины только что положили на древки копий и подняли на уровень плеч. Девушка зажала рот ладонью — другой рукой она придерживала на груди зайчонка — и бессильно опустилась на колени. Глазами раненой косули посмотрела на обожаемую тетку, а у Нальжан во взоре — и мужественная скорбь, и стойкая суровая сила: не принято у адыгов причитать и убиваться по витязям, геройски павшим в бою.

Хотели крестьянские парни взять у Нальжан из рук загадочного емузовского гостя — Канболета Тузарова, но она не дала:

— Сама донесу!

С тем, что сейчас не стоит возвращаться в дом, а лучше двум осиротевшим женщинам воспользоваться гостеприимством любой семьи в селении, Нальжан согласилась.

Куанч тряхнул головой, будто очнувшись от глубокого сна, и решительно заявил:

— Я должен догнать убийцу. Пойду.

— Куда? — спросили у него. — Мост горит.

Куанч молча поднял панцирь и подошел к мосту.

— Постой, парень, опомнись!

Он никого не слушал. Сунув голову в нижний проем панциря он слегка нагнулся и вслепую кинулся через огонь. И реку с шумом обрушилось несколько пылающих бревен. Куанча больше не было видно.

— Сторел, наверное, — вздохнул один из пожилых крестьян.

— Нет, — возразил кто-то другой. — Упал в Шеджем вместе с этим железом. Это точно, клянусь копьём, которым я сегодня спешил всадника!

Нальжан ничего не сказала. Все так же, держа на руках бесчувственного Канболета, твердой своей поступью зашагала она в сторону крестьянских жилищ. Туда же несли и Емуза...

Сана шла рядом с телом отца и все еще не расставалась с живым пушистым комочком, пригревшимся у нее на груди.

Кубати очнулся, лежа на спине, связанный по рукам и ногам. Ему показалось, что земля под ним трясется и покачивается, и он не сразу сообразил, что трясется не земля, а двухколесная арба с высокими бортами, которую резво тянет вперед пара сильных лошадей.

Он увидел над собой черное небо, усеянное необычно крупными и яркими звездами, — такими они смотрятся только из глубокого ущелья. В ушах стоял неслышимый шелестящий шум, сквозь который изредка пробивались раздраженные возгласы возницы, да цокот подкованных копыт по каменистой дороге. Кубати попытался повернуть голову, но от боли поплыли перед глазами зеленые полумесяцы, и юноша закусил губу. Он ощутил у себя на макушке рану, к которой прочно прилип войлочный верх его шапки: хорошо, что она не свалилась после удара по голове, помогла крови остановиться.

Шум в ушах стал сильнее и перешел постепенно в мощный рокочущий гул, а небо вдруг сузилось с двух сторон, словно кто-то прикрыл перед носом Кубати створки огромных и темных — еще темнее, чем небо, — дверей, и в этом слегка скособоженном дверном проеме осталась лишь узкая щель с неровными краями. Кубати понял, что проезжает самую страшную теснину Чегема, где отвесные гранитные стены вздымаются на головокружительную высоту, а этот гулкий рев, ставший теперь просто оглушительным, исходит от знаменитых водопадов, о которых ему рассказывал Куанч. Густая водяная пыль, иногда мельчайшие брызги от низвергающихся сверху мощных потоков приятно освежали лицо Кубати, и он поспешил даже раскрыть пошире пересохший рот и вскоре почувствовал облегчение: жажда уже не мучила, утихла и боль от раны.

Но пришла другая боль — боль стыда и досады за все случившееся, и еще мучительнее было от того, что Кубати всего случившегося как раз не знал. Он знал, только, что на него напали, когда он поил коней, два свирепого вида незнакомца и, пока одного из них Кубати зашвыривал в бурную стремнину реки, кто-то третий ошеломил его сзади ударом по голове. Было ли нападение на дом, и если да, то чем оно кончилось? А может, все обошлось только похищением его одного? Как же тогда его незаметно протащили мимо дома, к мосту? Кубати терзался этой неизвестностью и нехорошими предчувствиями. Он не заметил даже, как стал постепенно стихать шум водопадов и расширяться проем между высокими стенами; верхняя часть одной из них была сейчас ярко освещена лунным светом.

Но вот неожиданно подул ветер и пригнал с верховий ущелья бесчисленные отары косматых дождевых туч, которые быстро поглотили все звезды. Ночь стала настолько черной, будто и луна, войдя в один рукав пророка Магомета, на этот раз не захотела, вопреки его чудодейственной воле, выходить из другого рукава.

Хлынул обильный и шумный ливень, какие бывают только в горах, да и то лишь в начале лета.

Раздались громкие голоса людей, псе время, видно, ехавших впереди, кто-то что-то скомандовал, и арба затряслась, закачалась еще сильнее. Потом она сделала резкий поворот от берега реки и медленно поползла вверх по крутой ухабистой дороге. Вскоре послышался басистый лай пастушьих собак, а через некоторое время арба остановилась. Три или четыре овчарки бесновались совсем рядом. Их с трудом уняли, и стало тихо. Теперь до Кубати отчетливо доносилось каждое слово:

— Тут псиной воняет, в вашем грязном балагане! — это было сказано по-татарски — злым, капризным и очень знакомым голосом, — Наверное, и блохи есть! — еще немного, и Кубати вспомнит...

Нет, вспоминать не пришлось.

— Пока придется воспользоваться хоть таким убежищем, сиятельный Али-гот-паша! — ответил ему кто-то с заметным балкарским выговором. — А новый

балаган сейчас начнут делать. Готов будет скоро.

«Неужели конец мой пришел? — подумал Кубати. — Вот ведь в чьи когти я попал, тхамишка (*бедняжка*) безголовый!» На Кубати наинули — нашлась добрая душа! — бурку. Скоро он пригрелся под ней и незаметно для себя... уснул.

* * *

К утру дождь перестал, но погода была прохладной и пасмурной. Овцы, принадлежащие таубию Келеметову, не разбредались по пастбищу, а жались в кучи, уныло свесив головы.

Возле балагана — большого шалаша, сложенного ночью из молодых березок (роща была рядом), с трудом разгорался дымный костер. Джабой Келеметов недовольно покрикивал на старенького чабана, который никак не мог заставить сырые дрова пылать веселым пламенем.

Немного подальше, там, где два чабана помоложе разделявали барана, горел другой костер и горел уже по-настоящему жарко.

Из балагана выполз Алигоко Шогенуков: на помятом и опухшем лице — брезгливое выражение. И дело тут не только в неудобной ночевке и дурной погоде. Ему был сейчас весь свет немил. Князь присел у чахлого огня на свернутую в валик кошму и осторожно запустил ладонь под свою шапку: там у него появилось ночью несколько гнойных прыщиков. Он увидел, как переглянулись, а затем воровато отвели взгляды два оставшихся от его свиты уорка. Один из них что-то прошептал, и Алигоко мог бы сейчас поклясться, что угадал, какие слова были сказаны этим нахалом. Он, конечно, вспомнил поговорку «На паршивой голове еще и чирей вскочил». Ну ничего, пши Алигоко им еще покажет. А пока надо потерпеть. А то можно совсем без единого подручного остаться. Да, придется потерпеть, пока крымский хан не пронесется черным смерчем по Кабарде. И тогда в подручных у Шогенукова будут все, кто после этого смерча уцелеет...

Кургоко — все равно что покойник. Его отпрыск — на тонких губах князя появилось слабое подобие улыбки — тоже покойник, а еще лучше — раб на турецкой галере. За такого дурака неплохо заплатят. А дурак он потому, что ни за какие деньги не согласится воевать на стороне Крыма. А ведь легко его руки дотянулись бы и до богатства и до власти.

Все было бы хорошо, всем был бы доволен сейчас Шогенуков, да вот, не говоря уже о чирьях, набег оказался неудачным. И хотя мальчишку хатажуковского захватили, а Тузаров, несомненно, убит, самая главная цель осталась недостигнутой: бесценный панцирь и на этот раз не попал в княжеские руки. На Тузарове его не было. Где же они его спрятали? Может, кургоковский выродец знает? Наверное, знает, да не скажет. Такая порода! Но спросить все равно придется... А что тут бубнит этот толстозадый таубий? Шогенуков очнулся от раздумий, посмотрел на Джабоя и понял — тот ему уже давно что-то доказывает.

— ...по шесть пар быков, понял? И по одному ружью из лучших и еще по паре налокотников, тоже не из плохих...

— Постой, постой! — остановил его Алигоко. — О чем ты толкуешь?

— Как! Ты что, не слушал меня? — оторопел Джабой. — Я говорил: за каждого из двух погибших моих людей ты мне должен — понял? — отдать по полсотне овец, по две сабли, по шесть пар...

— Подожди, таубий! Я хочу спросить, не добавит ли тебе еще кое-что из одежды? Понял?

— Понял. Добавь! — согласился Келеметов.

— Например, подарить штаны взамен тех, что попали в шурпу?

Джабой побагровел от гнева:

— Издеваешься, храбрый пши?! Насмешками хочешь заплатить мне долг?

Теперь и Алигоко вышел из себя.

— Это что еще за намек? Ты как произнес слово «храбрейший»? — прошипел, брызгая желтой слюной, Шогенуков — сначала все дело испортил твой болван, которого, как щепка, бросили в воду — он и визжал, как щенок, и мы не смогли напасть внезапно. Потом ты прятался за спины других, когда мои парни сцепились с этим бешеным кузнецом!

— Зато я, зато я, — тяжело отдуваясь, хрипел Джабой, — кто, как не я, поднимал тебя с земли, когда эта баба, на поединок с которой ты так храбро стремился, выкинула тебя из седла?!

Об этом Шогенукову не то чтоб говорить, но даже думать было невыносимо. Тяжко страдая, он закрыл свои маленькие шакальи глазки — и перед ним ожила недавняя картина: они врываются во двор, из дома выскакивает Тузаров, но тут же, остановленный стрелой, падает навзничь. Три келеметовца торопливо спешиваются и бегут к хачешу — они считают, что пришло время грабежа, — и вдруг им преграждает путь этот кузнец. Кто-то натывается на его клинок и валится замертво на землю. Кузнец стреляет с левой руки из пистолета, и, вооруженный луком, алиготовский юзбаши («стоголовый», начальник сотни), три дня назад чудом спасшийся от резни, теперь навсегда складывает голову, которая была у него все-таки единственной. Вшиголовый видит Нальжан и от злобной радости чуть не задыхается: такая добыча попадает в его капкан! Нальжан и не думает спастись. Она не дает князю спешиться самому, а хватает его за ногу, тащит рывком на себя и... больше ничего Алигоко не видел и не слышал. Очнулся от беспамятства уже далеко за мостом, поддерживаемый в седле двумя уорками.

— Молчи, Келеметов, молчи! — зарычал Алигоко. — Ты ведь не был оглушен падением с коня, так почему не взял в доме богатую добычу?

— Клянусь семью поколениями своих предков, надо было успеть хотя бы уйти живыми! Еще немного — и тогда дерись с целым войском мужичья, которое бежало на выручку. Их сто или двести было. Мы не смогли даже лошадей угнать. Одни только мой человек, видел я, проскочил в дом и отстал от всех. Так и не догнал нас потом. Конечно, убили его...

— Ну тогда и нечего приставать ко мне насчет каких-то долгов. Я тоже пострадал на этом деле.

— Тогда пускай нас Алигот-паша рассудит. Он тебя, князь, со вчерашнего вечера не так любит. Драгоценности его ты не отбил, а его юзбаши совсем свою башку загубил, пусть ему там, куда мы все уйдем, хорошо будет!

Да-а, насчет недовольства паши Джабой определенно был прав, но Алигоко заявил со злорадной ухмылкой:

— Ну что же, таубий! Попробуй, обратись к Алиготу. Он тебя так «рассудит», что ты не только без скотины останешься, а еще и без последних штанов.

Джабой бешено вращал выпученными глазами, хотел что-то ответить, но подходящих слов не было. Еще немного — и благородные мужи схватились бы за кинжалы, но тут неожиданно раздался сиплый, будто от простуды, голос крымского сераскира:

— Эй! Вы тут чего грызетесь? Кость не поделили? Джабой и Алигоко быстро обернулись на голос: ханский наместник выбрался из балагана и болезненно потягивался — видно, у него ломило поясницу, хотя и без того чувствовалось, что его высокое сиятельство пребывает в сквернейшем состоянии и духа и тела.

Шогенуков, человек отнюдь не глупый, отлично знал, что ту ночь, когда он спас жизнь Алигота, и сегодняшнее утро разделяет целый горный хребет — и не только между Баксаном и Чегемом.

— Да будет добрым твое пробуждение, сиятельный паша! — совсем как-то некстати воскликнул Джабой.

Алигот лишь угрюмо покосился на незадачливого таубия, а затем перенес

все свое высокое внимание в сторону Шогенукова. Смотрел он вроде на князя, но вроде и куда-то мимо, а может быть, и сквозь него.

Алигоко, в душе презиравший сераскира, напустил на себя виновато-покорный вид. Он давал понять крымцу, что не высказанные им упреки дошли до самых глубин его, шогенуковского, сердца. Да, да, напрасно пши Алигоко уговорил пашу Алигота совершить этот набег, тратить время, рисковать жизнями, когда следовало торопиться к морю, в Сунджук-Кале или Тамань, а оттуда в Крым, где пасть к ногам Каплан-Гирея и со слезами на глазах, с душераздирающими стенами поведать о кровавой жестокости этих упрямых кабардинцев. А здесь, во вчерашнем жалком набеге, чего они достигли? Двоих убили, одного захватили, но притом потеряли пятерых, в том числе юзбаши — знатного крымского воина! Да еще лошадь...

А оружие, золото, камни, отнятые недавно у сераскира этими абреками, разве они вернули? Нет, не вернули! Бежали, как сайгаки от степного пожара! Испугались кучки озлобленных холопов! Алигот все видел... с того берега. Вот надо было ему самому возглавить сине. Уж тогда бы все обернулось по-другому...

Шогенукову захотелось развеять тучи, сгустившиеся над его головой, а то уж вот-вот должны были грянуть громы и засверкать молнии.

— Не угодно ли могущественному паше поближе познакомиться с тем парнем, которого он... — тут Алигоко слегка замялся, — которого он видел недавно в соседнем лесу, совсем неподалеку от места, где мы сейчас находимся?

— Давай его сюда! — Алигот несколько оживился. — И позаботься наконец, чтобы мясо поскорее готовили.

Шогенуков сделал знак своим людям и подошел к арбе вместе с ними. Старую бурку сдернули с пленника и швырнули на землю. Кубати давно уже проснулся и потому его взгляд сразу же уперся в лицо князя Алигоко, скалившего в недоброй усмешке острые желтоватые зубы.

Кубати узнал его сразу. Алигоко именно таким и помнился ему все эти годы.

Князь наклонился над юношей и прошипел ему в ухо:

— Почему же ты не утонул тогда в Тэрче, волчонок?

— Хотел с тобой, князь, еще разок встретиться, — спокойно и даже почти добродушно ответил Кубати.

— Ну вот и встретился. Доволен?

— Больше некуда! — улыбнулся юный Хатвжуков. Алигоко наклонился снова и сказал совсем уже еле слышным шепотом:

— Говори, где панцирь, а?

— Какой панцирь? — удивился Кубати.

— Тот самый. Ты знаешь, какой.

— Ах, тот са-а-а-мый! — протянул Кубати. — А зачем он тебе? — на лице у юноши искреннее недоумение.

Алигоко скрипнул зубами, но сдержался:

— Ну ладно. Сейчас мне недосуг, но главный наш разговор — впереди. А пока тебе придется побеседовать с Алиготом-пашой.

Молодой Хатажуков, когда ему развязали ноги, приблизился к Алиготу и — сделал он это из чистого озорства — произнес, как ни в чем не бывало, мусульманское приветствие:

— Салам алейкум!

— Алейкум... — у Алигота чуть было непроизвольно не вырвалось ответное приветствие. — Ах ты, наглый и бессовестный хищник! Давно ли от материнской груди оторвался, а туда же... туда же... это... Да я прикажу избить тебя до полусмерти, а потом, а потом... Ну, потом я придумаю, что сделать с тобой потом!

— Пусть простит мне великодушный сераскир, если я что-нибудь понял не так, но не показалось ли мне, будто меня обвиняют в какой-то провинности? —

смирненным голосом спросил Кубати.

Алигот до того изумился, что даже подскочил на месте.

— Вот наглец! — сказал он почти с восхищением. — Да ты что, не узнаешь меня или только прикидываешься? Или грабеж ханского наместника — это не провинность?

— Как можно забыть такую блестящую личность, — ответил Кубати. — Но ведь грабеж — это дело вполне почтенное, на нем мир держится. Кто-то грабит себе подобного, кто-то подданных своих, а кто-то и чужие народы.

Алигот тупо уставился на Кубати, с тяжким усилием постигая смысл услышанного.

— Э-эй! Ты что тут болтаешь? Все в мире делается по воле аллаха! — Алигот немного подумал и добавил с вновь обретенной уверенностью:

— Даже волос с головы человека не упадет без ведома аллаха!

— Воистину так, — согласился Кубати. — Значит, сиятельный паша признает, что в нашей встрече, которая несколько дней назад произошла в соседнем лесу нет моей вины?

— Как это нет?! — заорал Алигот, которому такая мелочь, как последовательность в рассуждениях, была глубоко чужда. — А как же мои драгоценности? Отвечай, куда вы их дели? Где спрятали?! Говори, или вырву у тебя язык!

— Без языка я совсем ничего сказать не смогу, — спокойно возразил Кубати. — А драгоценности я не прятал... — Эти его слова были четко продуманы: юноша хотел таким вот несколько окольным путем выведать хоть какие-нибудь подробности вчерашних событий.

— Ага! Значит, прятал твой этот, как его? Туз... — паша обернулся к Алигоко. — Туз...

— Тузаров! — подсказал Шогенуков. — Тот самый, что разбойничал еще в Бахчисарае.

Шогенуков неторопливо подошел к Алиготу, наклонился к его уху и быстро прошептал:

— Не надо говорить сопляку об этих смертях, а то он закусит удила, и мы ничего от него не добьемся. Мы только похитили его одного — и все.

Паша внимательно выслушал, затем досадливо отстранил князя рукой.

— Сам знаю! Не вчера родился!

Вновь стараясь развеять тучи, которые опять начинали сгущаться, Алигоко хлопнул в ладоши и приказал:

— Несите наконец мясо! Уже, наверное, изжарилось.

Лицо крымца немного посветлело, когда Джабой перехватил у одного из уорков и с поклоном подал паше ореховую рогульку с нанизанным на нее целым бараньим боком. Ребра были красиво подрумянены на углях, а мясо, кажется, еще оставалось жестким: Алигот не без труда рвал его зубами, но отдать, чтобы дожарили, отказался.

— Все у вас тут по-холопски, — ворчал он с набитым ртом. — И мясо тоже. Никогда я еще не попадал в столь неподобающее моему званию положение. — Он отхватил кусок побольше, с усилием его прожевал и проглотил. На низком алигатовском лбу выступила испарина, подбородок залоснился от горячего жира.

— Наш властелин, клянусь, как настоящий батыр кушает! — восторженно заявил Келеметов и сглотнул слюну. — И правильно. Таулу (*горцы, в данном случае — балкарцы*) недаром говорят: «То, что горячее, то уже не сырое...»

Джабой хотел сказать что-то еще, но осекся под негодующим взглядом паши, который не сумел оценить по достоинству шутливое изречение горцев.

Утолив первый голод, Алигот-паша милостиво соизволил позаботиться и о своих гостеприимных хозяевах:

— А вы тоже, это самое... садитесь и ешьте. Что там будет еще? Вареное? А.

вот эта... печенка, которую внутренним жиром обволакивают и так жарят. Как вы ее называете?

— Жалбаур! — радостно крикнул таубий. — Сейчас будет сделано!

Шогенуков еще раз наклонился к волосатому уху Алигота-паши и, кивнув головой в сторону пленника, проговорил вполголоса:

— А с этим что делать? Может, не стоит сразу решать его участь, а взять с собой? До моря путь неблизкий, стоянок у нас будет много и...

— И по пути он будет спасать нас от дорожной скуки! — перебивая князя, громко подхватил Алигот и расхохотался.

Его торжествующий, жутковато-гаденький смех заставил Кубати внутренне содрогнуться: легко было себе представить, какие «развлечения» более всего пришлось бы по нутру этому злобному ханскому подручному! Этот слопает не сразу. Уж он-то покуражится вдоволь, похлеще, чем сытый кот над пойманной мышью...

Джабой подобострастно хихикал, выражая всем своим видом благоговейный восторг и одобрение. Алигоко понимающе, но скромно усмехнулся и заглядывал, в лицо сераскиру, выразительно, одними глазами показывая ежесекундную готовность свою к преданному и главное, не всегда заметному для посторонних служению. Скользнул он взором и по лицу Кубати, и юноша мог бы поклясться, что уловил в его мимолетном взгляде намек на какое-то возможное между ними — между сыном Кургоко и Шогенуковым — соглашение, или даже заговор.

Кубати сделал вид, будто всерьез задумался. А ему и в самом деле сейчас было о чем поразмыслить. Своей честью он, конечно, не поступится ни на мизинец — пусть хоть на куски режут и на костре жарят. Однако и без нужды совать голову в пасть иныжа (*сказочный великан-людоед*) он тоже не будет. Спешить в таких случаях не следует. Ведь на том свете его никто не упрекнет за то, что прибыл с опозданием. Стоило потянуть время. Кто знает, а вдруг Канболет уже пустился по следу... Да и вообще в дороге всякое может случиться...

Алиготу подали лучшие куски свеже сваренного (на этот раз до полной готовности) мяса. Некоторое время он с увлечением отдавал должное самой вкуснейшей на свете баранине — мясу черного карачаевского ягненка. Потом он как-то размяк, оттаял и пришел в почти для себя не знакомое благодушное настроение. Алигот самому себе удивился: после всех превратностей последних дней ему вдруг захотелось стать чуточку добрее.

— Ну, юный башибузук, говори, какого ты роду и племени, — Алигот вытянул в сторону Кубати толстый палец, покрытый застывающим жиром. — Хотя подожди. Можешь пока не отвечать. Я вижу, ты не подлого происхождения. Скорее всего — из хухоронных кабардинских узденей (*турецкое название адыгских дворян*). Я угадал?

Кубати почувствовал на себе упорный взгляд Алигоко и отметил про себя, что князь будет теперь все время пытаться подсказывать ему правильные ответы, но этот его труд, пожалуй, напрасен: молодой Хатажуков и сам не оплошает — уж во всяком случае не станет без нужды называть свое родовое имя.

Кубати сделал удивленное лицо, как бы дивясь прозорливости Алигота, и с готовностью подтвердил:

— Угадал, сиятельный, угадал.

— Ага! — самодовольно хрюкнул паша. — Эй! Развяжите ему руки и дайте пожрать. Стойте, болваны! — крикнул он уоркам, бросившимся выполнять приказ. — Хотите, чтоб он раскидал вас, как мокрозадых ягнят? Сначала набейте ему колодку на правую ногу, а цепь от нее надо, эта... к правой же руке. Учить вас...

И вот две половины тяжелой дубовой колодки величиной с треть конского хомута сомкнулись вокруг нижней части голени, а запястье, после того как разрезали ремни на руках, было охвачено железным браслетом, соединенным цепью с

колодочным замком. Кисти рук еще долго были бесчувственны, пока наконец застоявшаяся кровь снова не заструилась по жилам.

К этому времени паша стал клевать носом и медленно погружаться в сытую дрему. Под его бок подоткнули свернутую кошму, и Алигот послушно улегся. Джабой присел около него на корточки, чтобы отгонять мух.

Кубати отковылял в сторону, подтягивая колодку за цепь. Он пристроился возле чабанского костра и вытянул руки к огню. Старый балкарец в ужасно ветхой и оборванной одежде застенчиво улыбнулся и для начала предложил парню большую кружку айрана...

Кубати медленно, с наслаждением прихлебывал пряный пузырящийся напиток из перебродившего коровьего молока и с любопытством озирался по сторонам. Пастбищный склон, сначала пологий, а затем все круче поднимавшийся кверху, упирался в бурую гряду скал, за которую тщетно старались зацепиться гонимые ветром облака. Сквозь облачные разрывы ярко и свежо светилась голубизна чистого неба. Там, где чуть ниже по ущелью скалистая гряда как бы вращалась постепенно в землю, начинался массив дремучего леса: это здесь Кубати с Канбо-летом так удачно поохотились всего четыре дня назад. Противоположная сторона ущелья была гораздо круче и почти вся покрыта богатым разнолесьем, лишь кое-где, словно утесы из морской пучины, торчали из густой зелени островерхие гранитные глыбы. Подальше к верховьям Чегема виднелись светло-серые обрывы — то место, которое балкарцы называют Актопрак (белая глина). Где-то там был мост через реку и совсем близко от него — перевал к Баксанскому ущелью.

Кубати вдруг поймал себя на размышлениях о том, каким бы образом он действовал, если б ему надо было вызволять человека, находившегося в его положении. И Кубати стало немного веселее: нет, не дождутся его враги, чтобы он нал духом! Может быть, как раз в эти мгновения внимательные и зоркие глаза друзей следят за стоянкой, а потом, где-то дальше по дороге, в удобном для засады месте...

— С таким украшением на ноге далеко не убежишь, — вкрадчиво-сочувственный шепот Алигоко раздался над самым ухом юноши.

Кубати обернулся и увидел склоненное над ним ухмыляющееся лицо Шогенукова. У князя дурно пахло изо рта.

— Еще рано бежать, — спокойно сказал Кубати. — Надо поесть сначала, — и, поставив на землю щербатую деревянную кружку, он взял в левую, свободную от цепи, руку баранье ребрышко.

Алигоко метнул злобный взгляд на старика-чабана и тот поспешно отошел от костра. Младший Хатажуков и Вшиголовый остались вдвоем. Князь примос-тился на обрубке толстого бревна рядом с Кубати.

— Подумай, не стоит ли твоя жизнь дороже каких-то железных доспехов и... и каких-то там блестящих камешков?

— Ну если хорошенько подумать, то каждый оценит свою жизнь намного дороже, а вот чужую...

— А что чужую? — заинтересовался Алигоко.

— А чужую жизнь, бывает, оценивают не дороже, чем вот эту кость! — Кубати показал Вшиголовому и затем отшвырнул в сторону обглоданное им ребрышко.

— Ну и что из этого следует?

— А то, что после расплаты, бывает, заодно прихватывают и голову того, кто расплачивался. Особенно если эта голова слишком глупа и доверчива.

— Да уж твоя голова совсем не глупа и не по годам хитра, — Алигоко сказал это откровенно льстивым тоном, — но разве княжеское слово оставляет какие-нибудь сомнения в...

— В том-то и дело, что у тебя нет иного слова, кроме как княжеского. Изви-

ни, что перебиваю, но твой сиятельный обалдуй, кажется, просыпается. Лучше бы ты имел просто человеческое слово.

— Но ведь ты и сам князь! прошипел Алигоко. — И не думай, что я так уж предан этой крымской скотине...

— Смотри, он проснулся!

Шогенуков быстро встал и заторопился к сераскиру.

Все было уже подготовлено к дальнейшему пути. В арбу положили несколько связанных овец, на которых Джабой то и дело устремлял тоскливые взгляды. Кубати посадили на коня верхом и обвязали арканом вокруг пояса: другой конец аркана был прикреплен к седлу одного из шогенуковских людей.

Перед тем как взгромоздиться на лошадь, Алигот-паша изволил покушать еще немного мяса и выпить две большие чаши наваристой шурпы. Па Кубати он на этот раз даже не посмотрел. Гму хотелось как можно скорее оказаться подальше от «проклятых мест».

Широкая тропа снова спустилась к реке, и дорога долго петляла по самому берегу. У Актопрака с трудом переправились по ветхому ненадежному мостику на ту сторону. Причем Алигот бледнел от страха, ругался и говорил, что, наверное, «сырат кёпрюсю» (*«мост испытаний» по пути в чистилище*) пройти ничуть не легче.

В одном из узких мест горного прохода к Баксану, уже при начале спуска к ущелью, пришлось бросить арбу. Лошадей выпрягли, нагрузили на них разную поклажу.

Вечер застал путников на берегу хлопотливой речушки Бедык вблизи ее впадения в Баксан. Это урочище было значительно выше по Баксану, чем то место, где так позорно полегла прожорливая гвардия Алигота. Предстояло подняться по ущелью еще выше, а там перевалить в долину реки Тызыл, затем пройти Балк и Псыж (*кабардинское название реки Кубань*) — долгая и трудная дорога!

«А они здорово боятся, — думал Кубати. — Очень им теперь неудобно. В лубой час ожидают погони или засады... Готовятся к ночлегу, а будут ли спать спокойно? Вот шогенуковский уорк рубит ветви для шалаша и старается при этом поменьше производить шума. Забавно. Морды у князя и наши настороженные, злые. А у этого толстого таубия такой жалкий и обиженный вид, будто он проглотил нечаянно какую-то гадость. Кажется, только второму уорку Алигота все нипочем... Какой он огромный и мощный — вот у кого силища! Интересно было бы с ним схватиться... Хотя... не он ли бился головой о дерево? Он самый. В глазах его ума и чувства человеческого не больше, чем у ногайского вола...»

Подтягивая колодку за цепь, Кубати заковывал к воде. Ополоснул лицо и руки, напился, прилег на травке.

Звероподобный уорк — имя его было Зариф (*остроумный и изящный*) и шло ему, как уздечка петуху, — снимал с лошадей навьюченные на них войлоки.

Джабой возился у костра, подвешивая над разгорающимся огнем котел с водой. Рядом с ним молодой балкарец (его забрали с чабанской стоянки) ловко разделывал барана. И больше тут ни одного человека не было, не считая сераскира и князя, давящихся в ожидании шурпы и мяса сухим сыром. Работать пришлось даже Келеметову. Впрочем, это он сам был виноват. Говорил, что у Актопрака к ним присоединятся десятка полтора его людей — целый отряд доблестных таулу. Однако никто не подъехал. Видно, по-своему расценили балкарские горцы весть о ссоре Хатажукова с Алиготом-пашой и об ужасно многозначительных последствиях этой ссоры.

Уорк, рубивший ветви, тащил их охапку мимо Кубати и, будто случайно, остановился возле пленника — просто для краткой передышки.

— Уо-о, жизнь наша вся в тревогах, — тихо вздохнул он, как бы обращаясь к самому себе.

Не поворачивая к нему головы, Кубати так же тихо ответил:

— Ничего, кто тревог не знал, тот и спокойствия не оценит.

— Что же делать?

Все еще глядя вверх, туда, где невысокий каменистый обрыв над речкой был окрашен нежно-золотистыми лучами заходящего солнца, Кубати чуть слышно пропел:

*Грязная тропа, набитая не нами,
К полю приведет, загаженному псами.*

И добавил:

— Беги отсюда, пока головой не завяз в дерьме, и можешь надеяться на прощение: кабардинцы добры. Иногда больше, чем надо.

— Молод еще меня учить... — уорк хотел сказать эти слова строгим тоном старшего, но в его неожиданно дрогнувшем голосе чувствовалась растерянность и злость на самого себя.

...Тихий металлический звон раздался на вершине обрыва, и Кубати увидел засиявший мягким серебристым блеском хорошо ему знакомый панцирь и горевшую на левой его стороне желтую звездочку — львиный лик с такого расстояния был неразличим. Первым после Кубати заметил панцирь Алигот-паша, испуганно вздрогнувший от незнакомого звука. Показывая дрожащей рукой вверх, сераскир пролепетал вдруг осевшим голосом:

— Эта... давайте... Что такое?

— Мой!! — завопил Вшиголовый. — Он! Он самый! Мой панцирь!!!

ХАБАР ДВЕНАДЦАТЫЙ,
не оставляющий сомнения в справедливости
народной пословицы, которая гласит:
«Мы говорим, что кривой несчастен,
но с нами слепой не согласен»

«Ах вы, маленькие злые негодники — испы! Зачем вам понадобилось прогрызть дырку в моей груди, за чем залезли ко мне во внутрь и что вы там ищите под моими ребрами?!» — «Не мешай нам и не ругай нас. Мы все равно найдем то, что ищем». — «Мучители проклятые! Да я сейчас раздеру руками свою грудь и передавлю всех до единого! Никого не останется из вашего бессовестного племени — ведь все племя собралось тут, у меня в груди, я знаю!» Испы притихли на некоторое время: наверное, совещались, затем продолжили возню с новыми силами: «Вот найдем драгоценный налькут — изумруд, нам известно, что ты его прячешь у себя тут, внутри, и тогда уйдем». — «Да кто же вам сказал, несчастным, что я прячу в груди налькут?!» — «Нам сказала это старая мудрая ведьма Жештео, которая терзает по ночам людей и пьет их кровь». — «Глупые вы, испы! И дуреха наша Жештео! Ведь Налькут — это мой конь, а вовсе не драгоценный камень!» — «Это правда?» Испы снова прекратили возню. «Такая же правда, как и то, что меня зовут Канболет». — «Тогда мы угостим тебя махсымой, которую сварили из проса, выращенного на скале гранитной и высушенного на веревке натянутой, а мед для этой махсымы с Ахмет-горы (*остроконечная скалистая вершина, «носить мед с Ахмет-горы» — значит заниматься пустяками*) принесем! Испы тоненько захихикали и пустились в пляс. «Сейчас грудь начну разрывать...» — «Не надо! — в ужасе пропищал самый главный исп. — Вот пришла красавица Эммечь (*амазонка*), твоя покровительница; когда ее пальцы касаются твоей груди, мы убегаем в свою подземную страну!» — «Больше не приходите! — крикнул им вдогонку Канболет. — Никакого налькаута нет у меня в груди!»

Открыв глаза, Тузаров увидел красивую женщину и ее большие сильные руки, которыми она мягко и ласково ощупывала его грудь.

— Это ты, моя Эммечь? — чуть слышно спросил Канболет. — А испы и в самом деле разбежались?

— Какие еще испы? — удивилась Нальжан.

— Маленькие злые негодники... — бормотал прерывистым шепотом Канболет, — искали драгоценный камень... в моей груди...

И тогда Нальжан изумленно всплеснула руками и звонко шлепнула себя ладонями по бледным от бессонницы щекам (у кого другого помутилось бы в голове после пары таких оплеух) — ее первое, поначалу тихое и слабое удивление быстро сменилось бурным и радостным потрясением: теперь она ясно осознала, что тяжело и даже почти смертельно раненный витязь приходит в себя.

— Ах, неразумная ты моя голова! Да как же это я сразу...

Бескровные губы Канболета вяло шевелились, Нальжан наклонилась пониже.

— Ты зачем... плачешь?

— Нет, нет, я не плачу, я уже не плачу, — она торопливо вытерла слезы. — Ты узнаешь меня? Узнаешь?

Нальжан показалось, что в тусклых, глубоко ввалившихся глазах Канболета, смотревших на нее с беззащитной детской доверчивостью, вдруг вспыхнул и тут же, через мгновение, погас теплый отсвет улыбки. Затем Канболет сказал отчетливо и спокойно: «Посплю немного», — и закрыл глаза.

Нальжан оказалась умелой исцелительницей. Никто другой не смог бы вытащить Канболета из тех самых уже готовых было захлопнуться ворот, за которыми — таинственный мрак неизвестности. Есть ли там друз ой мир? Говорят, есть. Но ведь это говорят живые люди, те, кому еще только предстоит пройти «врата смерти». А вот обратно — из ворот — еще никто не выходил.

Она сама извлекла из груди Канболета глубоко вонзившуюся стрелу, сама промывала рану отварами целебных трав, смазывала грудь барсучьим жиром. Всякие травы — и только что сорванные, и высушенные, и истолченные в порошок — доставляла Нальжан легкая на ногу и бойкая на язык старушка по имени Хадыжа (это ей, как мы помним, отдал свою охотничью добычу Кубати).

Несколько дней Канболет был в беспамятстве; Нальжан просиживала у его постели дни и ночи напролет. Сана помогала ей чем могла. И неизвестно, как они перенесли бы гибель брата и отца — особенно в первые дни, — если бы их не поглотили заботы о тяжелораненом.

Жили они теперь в одном из крестьянских домов, и эта простая семья и, конечно, соседские семьи только и старались угодить своим нечаянным гостям. Весть о том, что емузовский побратим очнулся, быстро облетела маленькое селение, и во двор повалил народ. Старики чинно рассаживались на скамьях под навесом, те, что помоложе, собирались небольшими группками у плетня. Нашлось много желающих попасть и в комнату, где лежал Тузаров, но сестра Емуза, обычно вопреки, никого туда не пускала. «Дайте ему поспать, а потом ощутить прилив силы». С нею не спорили. Сестра покойного Емуза внушала мужчинам этого хабля большое уважение. А ей, молодой женщине, чутье подсказывало, что лишний шум, присутствие лишних людей, а уж тем более «развлекающие» песни и танцы у ложа раненого могут сильно ему повредить. Откуда в ней появилась такая уверенность, Нальжан не знала. Ведь в те времена считалось, что если целыми днями и ночами «веселить» раненого, не давать ему спать — значит, способствовать его скорому выздоровлению.

И все-таки однажды во дворе зазвучала мелодия шичапшины — скрипки. Вслед за ней жалобно запищала бжами — легкая тростниковая дудочка. На ней вообще-то было принято играть лишь во время поисков тела утопленника, но нередко допускалось и обычное, неритуальное применение нехитрого инструмента. В такт зазвучавшей мелодии слышался дробный перестук пхачича — трещотки, сделанной из сложенных стопочкой и скрепленных с одного края дощечек.

Поначалу игрались веселые танцы, но вскоре веселье пошло на убыль. Видно, вспоминали мужчины недавнее кровопролитие, вспоминали, что еще не высохла земля на могиле Емуза. И тогда один из пожилых крестьян начал вполголоса старинный героический орэд, как бы отдавая дань мужеству погибшего. Песню подхватывали поочередно то один, то другой, а все остальные подтягивали негромкими голосами мелодию припева.

Потом крестьянам стало совсем грустно и тогда они затянули печальную песнь о злобном и коварном князе и отважном тлхукотле:

*Страшный набег учинил
Карашай, Тотлостанова лютый сын.
Мягко и сладко он жил,
В шелках щеголял гордого князя сын.*

*Красным ружьем потрясал —
Насечка блестит золотая.
Метко он цель поражал —
Мушка ружья золотая.*

*А кто без огня
И без ружья бился?
Кто вперед гнал коня
И саблей одной бился?*

*Кто был в бурке худой
И совсем без кольчуги,
В папахе простой.
И один губанеч* без кольчуги?
Кто ладони имел,
Как пороха мерки, большие?
Кто имел кулаки,
Как спелые тыквы, большие?
Это Маша Ташуков, знайте —
Храбрец из крестьянского рода.
Зря его не ругайте
Тлхукотлем низкого рода.*

В нем сердце асланово,
Что хвороста воз, усы;
В нем мощь пелуанова
И до груди свисают усы.*

*Но от пули горячей — о горе! —
Падает конь чернохвостый.
Больше по лужам крови
Не будет скакать чернохвостый.*

*Мирно мы жили — о горе! —
И овцы паслись на равнине.
В диких горах теперь мыкаем горе:
Бежать нам пришлось с равнины.*

*Все, чем род наш владел, — о горе! —
Все, что скопил он за век,
За час разорил о горе! —
Лютый шиш Карашай — о горе!
Жадный шин Карашай — о горе!
Мы нищими стили навек!*

** Губанеч (каб.) — подкольчужная рубашка.
Аслан (каб.) — лев.*

* * *

Последние слова этой песни слышал и Канболет. Сейчас он проснулся сам, просто как выспавшийся человек, никакие «испы» его больше не посещали.

В комнате было почти совсем темно, и только в очаге краснели горячие угольки. Потом он еще долго слышал неясный мужской и женский говор. Наконец вес голоса утили, люди, наверное, разошлись по домам.

Капоолет понял, что он сегодня владеет своим рассудком, и попытался оценить свое положение. Значит, так. Он видел, как в него целились из лука. Теперь ясно, что наконецник глубоко вонзился в грудь, иначе он не свалился бы, как мертвый. От таких ран редко выживают. Обычно раненые умирают, как только из

их груди извлекают наконечник стрелы. Если же этого не случается, то раненый несколько дней лежит в беспамятстве, а потом либо все равно умирает, либо — так бывает гораздо реже — выздоравливает. Выходит, мы еще поживем, думал Канбо-лет. И это все Нальжан! Если бы не она... Грудь совсем уже не болит. Ну, особенно ворочаться тоже пока нельзя. Так. С ним, с Канболетом, все ясно. А как там Куба-ти? Как Емуз? Скорее пришла бы Нальжан.

Даже самые выдержанные люди становятся во время изнурительной болез-ни по-детски нетерпеливыми. Канболету казалось, что Нальжан не появляется слишком долго. Но вот за плотно прикрытой дверью послышались негромкие женские голоса. В одном из них — сильном, но богатом нежными оттенками — Канболет с облегчением узнал голос Нальжан (да он различил бы его среди тыся-чи голосов); другой — высокий, чуть дребезжащий, принадлежал, наверное, ста-ренькой, но бодрой бабушке.

— На этот раз я приготовила мазь из шкэпля (*кабардинское название синя-ка красного*) — телячьего хвоста, — вещал старушечий голос. — Она ускоряет за-живление раны. Сейчас это снадобье будет как раз впору.

— Дай тебе аллах еще столько лет жизни, сколько шагов ты сделала сегодня по дороге к этому дому! — горячо благодарила Нальжан.

— А твой аллах неужели так всемогущ, что может это сделать? — старуха была то ли хитра и насмешлива, то ли уже совсем простодушна.

Канболет решил, что первое, пожалуй, более вероятно. Однако Нальжан от-ветила вполне серьезным тоном, будто ручалась за близкого и надежного родича.

— Аллах все может.

— Может так может, — охотно согласилась старуха. И пусть Уашхо-кан, Псатха и все другие боги благословят вашего аллаха!

Что там ответила на старушкино кощунство Нальжан, Тузаров не разобрал, но услышал опять отчетливый бабкин голос:

— Ну хватит, строгая девушка, успокойся. Что я такого сказала?! Да не оби-дится твой аллах! Хочешь, дам тебе еще красного отвара из корней шкэпля? Мо-жешь себе щеки подрумянить. И того джигита скорее к себе привлечешь. У-о-ой-ой! Да ты и без шкэпля стала вся красная!

Канболет нахмурился. «Какого это «того джигита»? Откуда в такой глуши мог появиться мужчина, достойный того, чтобы щеки Нальжан окрасились ру-мянцем смущения? Может быть, Джабаги? Во-о-от кто! Да... Нет, не может быть. Я и то ростом чуть поменьше Нальжан, а Джабаги — тот ей вообще по плечо будет. И сам щуплый, легонький... Совсем он ей не подходит. Нет, не Казанок. Тогда кто же?» Мысли Канболета стали путаться, голова разболелась, он почувствовал сильное утомление — и незаметно для себя крепко уснул. Теперь уже до утра. Не проснулся даже, когда Нальжан и Сана смазывали ему на ночь рану той самой це-лительной мазью из «телячьего хвоста».

* * *

Оконце в стене, обращенное к восходу, очень маленькое, по и его вполне хватало, чтобы почувствовать, как дышит мир в то погожее, ясное, но пока еще со-всем не жаркое летнее утро. И казалось Тузарову, что он видит, слышит и всем своим естеством ощущает беспредельную щедрость и просторность сегодняшнего утра, вобравшего в себя и терпкий дух высокогорного леса, и возбуждающую све-жесть ледниковых речек, и радостный пересвист веселого птичьего племени, и озабоченное гудение пчел, и хмельную бесшабашность упругого ветерка, соби-рающего по всей округе вести о том, что где растет и что цветет, и где какой огонь горит. Утро вобрало в себя весь мир с его властной жизнотворной магией. Утро струилось сквозь крохотное оконце над ложем раненого и наделяло его новыми силами, бодростью и радужными надеждами.

Он вспомнил свои мучительные вечерние размышления и тихо рассмеялся вслух. Сейчас ему верилось, что «тот джигит» — это он сам. Правда, ему тут же стало немного страшновато от этой мысли и он попытался ее поскорее забыть (боялся самого себя сглазить), но ничего не получилось. Кто-то нахальный и упрямый без конца выкрикивал у Канболета в голове: «Это я! «Тот джигит» — это, конечно, я!» Когда вошла Нальжан, Канболет внимательно посмотрел ей в лицо. Женщина слегка смутилась, но сказала спокойно и приветливо:

— Ты смотришь, как совсем здоровый человек. Рана уже не так болит?

— Послушай, хозяйка, — улыбнулся Канболет. — Я бы сейчас не отказался от маленького кусочка мяса.

— Неужели?! — всплеснула руками Нальжан. — Тогда наши дела быстро пойдут на лад! Я сейчас... — она встала и заторопилась к двери.

— Эй! Строгая девушка! — остановил он ее. — Подожди немного.

Она опешила.

— Как же так? — растерянно пробормотала Нальжан. — Мы так громко болтали вчера с Хадыжей, что разбудили моего... — Хлоп! — широкой крепкой ладонью она запечатала себе рот: оплошала — чуть не произнесла вслух ласковое прозвище, с которым в мыслях обращалась к Канболету.

— А если я и слышал вашу беседу, так разве это беда? Вы же никаких страшных тайн не раскрывали...

Однако вид у Нальжан был именно такой, словно она получила известие о том, что самая ее сокровенная тайна стала всеобщим достоянием.

Канболет внезапно почувствовал прилив неожиданного счастья и смешливого веселья. Во-первых, Нальжан все же выдала свою тайну — и не вчера, а сегодня (когда же она наконец вспомнит, что имя Канболета даже не называлось, а если старуха и кивала в сторону его комнаты, то видеть этого он не мог). Во-вторых, она сейчас нечаянно проговорила и назвала его «мой» — значит, уже придумала ему и какую-то ласковую кличку. И это забавно и приятно. Канболет сделал вид, что ничего не понял, а про себя порадовался: ведь такого рода клички дают неспроста...

Но вот Нальжан, кажется, поняла, что ее «тайна» как будто бы осталась при ней, и шумно, с облегчением вздохнула.

— Ты что хотел сказать, сын Тузарова?

— Я спросить хотел. Где Емуз, где Кубати и Куанч? Она ждала этого вопроса, и потому к рассказу о том злосчастном дне была готова уже давно. Говорила ясно и толково, без слез и стенаний. Даже Алигоко Вшиголового прокляла только два раза.

Тузаров, бледный, как покойник, долго молчал. Потом потянулся к руке Нальжан, слегка пожал ее у запястья, медленно проговорил:

— Нельзя мне долго залеживаться. Как считаешь, добрая душа, скоро ли я смогу сесть на коня? У-о! Совсем забыл! А... Налькут? — он уже и спрашивать боялся.

— Твой конь ждет тебя. Скучает, — грустно улыбнулась Нальжан. — Так что ешь побольше, тогда и встретишься со своим Налькутом быстрее. А пока Сана его прогуливает. Подружились они. Вчера, негодница, скакала верхом. — И без всякой связи с предыдущими словами Нальжан добавила:

— Бедная девчушка! Без отца осталась... И еще — думаю, даже уверена, что так оно и есть, — переживает она и из-за Кубати тоже. О горе!

— Тебе это может показаться странным, — медленно проговорил Канболет, — но я за своего кана не очень сильно беспокоюсь. Понимаешь, он умен и находчив и, когда надо, умеет сдерживать юношескую горячность. Сейчас ему, конечно, грозит немалая опасность, однако я все-таки уверен — Кубати найдет ходы и для шаха и для мата.

— Какого шаха, какого мата? Он что, наш мальчик, какую-то турецкую игру, что ли, играет?

— Да не турецкая она...

— А мне сейчас все равно, что Турция, что Крым, что Ермолы (*Армения*), как тому пшитлю, которому чувяки жмут. Только вот тесный чувяк мне будто на сердце натянули...

— Пройдет и эта боль...

— А ты помнишь слова Джабаги Казаноква: «Можно пережить вчерашнюю печаль, можно пережить и завтрашнюю, а как пережить печаль сегодняшнюю?»

— Но тот же самый Джабаги говорит, что печаль сегодняшняя уже завтра станет вчерашней.

— Скорей бы это «завтра», — вздохнула Нальжан.

* * *

Хадыжа, то бормоча, а то и напевая себе под нос, с увлечением перебирала засушенные травы, семена и корешки каких-то растений, а задумчивая Сана перетирала в ступке будущие снадобья.

— Хадыжа знает много целительных трав, — говорила о себе старушка. — Хадыжа легка на руку и быстра на ногу, а глаз ее безошибочен, как у курицы, которая, разгребая лапами землю, всегда находит лакомое зернышко и мигом его склевывает. У Хадыжи бывают мази и отвары на всякие случаи, в любой беде они могут помочь. А тебе, девочка, пока еще ничего не нужно. Ты здоровая и гладкая, как козочка, выросшая на лучшем пастбище. Бывает, правда, что такие вот молоденькие хотят, чтобы поскорее сердце одного из джигитов знакомых потянулось к сердцу, которое сладко замирает под их туго стянутой коншибой — корсетом. Для этого надо...

— Нет, бабушка, мне этого не надо, — грустно сказала Сана. — Лишь бы живого и невредимого его увидеть. Хоть раз еще увидеть — и ладно...

— Постой, постой! — перебила ее старуха. — Неужели ты говоришь о... Ну, конечно, я могла бы и раньше догадаться. А почему тебе достаточно лишь только увидеть его? Или он остался равнодушен к твоей красоте редкостной?

Сана низко наклонила голову и ответила еле слышно:

— Нет, равнодушным он не остался...

— И я бы в это не поверила. Парень, который повстречался мне в лесу и подарил мне, старой, свою охотничью добычу, совсем не был похож на какого-нибудь недоумка или несчастного калеку! И разве ты не под стать такому джигиту, э? — Хадыжа лукаво погрозила девушке тонким костлявым пальцем.

— Нет, бабушка, не про меня такое счастье, — две слезинки упали с длинных ресниц Саны. — Вот и отца теперь нет у меня, вот и Кубати...

— Молчи, молчи, глупая девчонка! — рассердилась Хадыжа. — Мы говорим, что кривой несчастен, да с нами слепой не согласен. Отцы всегда должны уходить раньше детей. А с тобой — молодость, красота, любовь, будущие дети. Охотник твой обязательно вернется, и тогда...

— Если и вернется, да не ко мне. Найдет себе по своему княжескому достоинству!

— Ах, вот ты о чем! — крикнула старушка высоким куриным голосом. — Думаешь, недостойна... А я так скажу, — Хадыжа хитро прищурила один глаз и опасно втянула голову в плечи, — это Кубати пусть подумает, достоин ли он такой избранницы или нет! Понятно?

Слегка озадаченная, Сана отрицательно покачала головой:

— Ничего не понятно.

— А объяснять я ничего не стану, — с таинственным видом заявила старуха. — Я и так сказала слишком много.

**РУКОПИСЬ,
обнаруженная в дорожной сумке одного черкесского джигита,
владевшего перед своей безвременной, но вполне естественной
(т. е. в рукопашной схватке) кончиной дорогим мушкетом
с колесцовым замком, часами типа «нюрнбергское яйцо»,
серебряной табакеркой с гербом города Лейдена,
а также одним огромным ботфортом со стальной шпорой**

Означенная рукопись переведена с иностранного языка и снабжена примечаниями созерцателя, решившего, что хотя она и содержит в себе немало вздора, однако отражает в немалой степени взгляды тогдашней просвещенной Европы на тогдашние (не слишком просвещенные) народы Северного Кавказа.

Каким образом рукопись (заметно пострадавшая от ее частичного употребления и качестве пороховых пыжей) штили к нашему лихому джигиту, а равно и вышеуказанные предметы, которые, несомненно принадлежали ее автору, остается неразрешенной исторической загадкой.

Итак, дословный текст рукописи перед вами.

Уважаемому другу (с надеждой, что это именно так и есть), бакалавру изящных искусств Иерониму Боку обращает свое послание благородный дворянин, любитель наук и путешествий

*Клаус Пфедферкопф.
(В лето от Р. Х. 1702).*

Прежде всего, любезный мой товарищ по студенческой скамье в нашей alma mater, я должен объяснить свое столь многолетнее отсутствие и нежелание давать о себе сведений.

Глубокая обида на тех, кто распускал обо мне злостные сплетни и гнусную клевету, а тако же нежелание пачкать свой благородный клинок об их грязные потроха заставили меня, не тратя времени на прощальные церемонии, со всею возможною поспешностью уехать в Швецию. Я считал ниже своего достоинства опровергать слухи о том, будто я

ПРИМЕЧАНИЯ СОЗЕРЦАТЕЛЯ

беру деньги в долг, а потом скрываюсь от кредиторов, и еще, якобы пользуясь благосклонностью одной дамы из почтенной семьи, я выманил у нее какие-то паршивые драгоценности и снес их в ломбард. Хуже всего, что вся эта клевета исходила от наших же с тобой собутыльников, которые вдобавок распускали свои вонючие языки относительно не **наших**, а именно **моих** «похождений» по ...ским тавернам. Сейчас я объясню, как все было на самом деле, и пусть клеветники подавятся собственным дерь.....

.....деюсь, мне удалось восстановить в твоих глазах мое доброе имя. Из всего вышесказанного можно еще раз понять, насколько правы были предки нынешних итальяшек, утверждая, что «*magna est Veritas, sed rara*».

Теперь, с облегченной душой, я продолжаю повествование.

В Швеции, в славном университете города Упсала, я еще два года изучал медицину, философию и право. И я бы преуспел в науках, если бы роковые обстоятельства не заставили меня покинуть этот город.....

.....ой пьяной потасовке я тоже немного участвовал, но не я проломил к квартовой пивной кружкой пустую голову этого рыжего ублюдка, чтоб его... Постоянное упование на господа нашего Иисуса Христа — да святится имя его и веках! — амен — и еще доброе знакомство (*par excellence*!) с одной дамой из влиятельной в Стокгольме помогли мне попасть на секретарскую должность к послу Его Величества Карла XII в России, а затем в Иране, Людвигу Фабрициусу. Жизнь среди персов, коих некоторые народы Кавказа именуют «*kizilbash*», мне вскоре надоела, ибо не вызывала у меня интереса. К тому же в посольстве обнаружилась пропажа солидных казенных сумм, а подозрение (чудовищное своим свинстве) могло пасть и на меня. Словом, *periculum in mora* оказалась нешуточной, и твой покорный слуга, собрав пожитки.....

.....емче нескольких лет мне пришлось прослужить в качестве хирурга на провонявшемся пряностями корабле гол-

1. *Здесь есть нечто, наводящее на размышления.*

2. *Неразборчивое слово.*

3. *Обрыв рукописи.*

4. *Увы, это подмечено верно: «Великая вещь — правда, но редкая».*

5. *Обрыв рукописи.*

6. *Кварта — объем жидкости, равный 1140 гр.*

7. *Грубое ругательство.*

8. *Par excellence — по преимуществу (франц.). Этот Пффефферкопф сам не замечает, как ханжество соседствует у него с кощунством.*

9. *Piriculum in mora — опасность в промедлении (лат.).*

10. *Обрыв рукописи.*

ландской Ост-Индской компании. (Молю бога, чтобы меня простили мои бывшие пациенты, ведь им, наверное, совсем недурно в раю).

И вот теперь, по прихоти судьбы, этой продажной бабы всем времени и народов я вновь на шведской службе. Теперь я агент короля в Крымском ханстве и на Северном Кавказе. Не спеши осуждать меня, ученый бакалавр — а ныне, возможно, и магистр, в том, что я оказался на стороне сегодняшних врагов нашего милого сердцу *faterland*! Да, мое отечество оказалось в коалиции тех государств, которые воюют против Карла XII. И, к великому моему (а возможно и еще кое-кого из видных политиков Европы) прискорбию, эти государства оказались в союзе с Россией, широкая длань которой простирается на Кавказ и готова проникнуть в еще более отдаленные пределы. Но смотри, что получается дальше. Русский Питер уже потерпел сокрушительное поражение. Датский Фридрих капитулировал, Саксонский курфюрст Август более силен и дамских будуарах, нежели па поле брани. Дело идет к тому, что Европа рано или поздно откажется от поддержки русского медведя, и тогда Карл (не исключено, что в союзе с турками и крымцами) загонит его в такую берлогу, откуда он сто лет не вылезет! Московии будет не до южных провинций. Кому-то, *ergo*, придется заполнять освободившуюся пустоту, брать под благосклонную опеку здешних (прежде всего северокавказских) дикарей. Кому-то? А почему бы — в том числе — и не нашему государству? Ведь одним шведам этот кусок не по зубам, да не очень он далек от их разинутой пасти. Теперь, надеюсь, ясно, что ты имеешь (и нсегда имел) дело с истинным патриотом, каковым и надлежит быть доброму католику и потомственному дворянину. А добрым католиком, смиренным, искренним и.....

.....ступаю наконец к описанию той земли, которая так потрясла мое воображение.

Страна эта населена черкесами, кабардинцами, адыгами, погаями и татарами

11. *Сильное выражение, но...*

12. *Под Нарвой, в 1700 году.*

13. *Август имел прозвище «Сильный».*

14. *Ergo — следовательно (лат.).*

15. *Знаем мы эти «благосклонные опеки».*

16. *Нам теперь ясно, что характеристика, которой «патриот» Пфферкопф одарил судьбу, больше подходит к его собственной персоне.*

17. *Обрыв рукописи.*

18. *А лучше сказать — пробудила алчные устремления.*

19. *Всех свалил в одну кучу!*

— все они вместе называют себя «ады- ги».

Земля очень красива и изобилует хол- мистыми равнинами, горами и пре- красными лесами, растущими по бере- гам рек, в коих, однако, нет рыбы. На северо-западе адыги граничат с Черным морем и Меотийским озером, на восто- ке — с Каспийским, на севере — со сте- пями, где кочуют ногайцы, называемые еще казаками, а на юге — с высочайши- ми горами и рекой Доном, за которыми простирается Грузия. Адыги — строй- ный и красивый народ, особенно хоро- ши женщины, относящиеся к чужезем- цам с любопытством и радушием. Они общительны и чистоплотны. Почвы здесь плодородные, но черкесы не сеют ни ржи, ни овса, а только возделывают в малых количествах ячмень и просо. Страна богата серебряной рудой. Еще недавно народ состоял большею частью из идолопоклонников, хотя раньше ис- поведовал христианскую веру греческо- го толка. Теперь же здесь распростра- нилось мусульманство. Правда, не в та- ком строгом виде, как в Турции. Вообще адыги к религии небрежны, зато строго соблюдают старинные обычаи. Мужчи- ны более всего ценят своих знаменитых лошадей и оружие; и тем и другим они владеют мастерски, однако неспособны вести настоящие военные действия. Они понятия не имеют о войсковом по- строении и маршировке колонн. Уздени и мурзы — т.е. здешние дворяне — целыми днями ничего не делают, не интересуются ни хозяйством, ни тор- говлей, а собираются по вечерам в раз- бойничьи шайки и отправляются в гра- бительские набеги. Эти набеги произ- водятся не только на соседские страны, но и на свои же области, где похищается все, что попадется. Хищники захваты- вают даже людей, своих соплеменни- ков, и продают их в рабство туркам, персам и прочим. Черкесские рабы весьма ценятся. Хочу, кстати, заметить, что сами черкесы (и даже их князья) не знают цену золотым и серебряным мо- не.....

...добных эпизодов я мог бы привести еще немало. А *propos*, когда я вынул ча-

20. *С чего это он взял, что нет рыбы?*

21. *Меотийское озеро — это Азовское море.*

22. *Давай, давай, вали всех в ту же ку- чу!*

23. *Каким это образом туда попал Дон?*

24. *А еще полбу...*

25. *Кто ему это сказал?*

26. *Вот уж точно! И, может быть, хорошо, что не наоборот...*

27. *Опасное заблуждение.*

28. *А вот это подмечено верно.*

29. *Уздени и мурзы — слова неадыгские.*

30. *Увы, увы!*

31. *Обрыв рукописи.*

32. *А *propos* — кстати (франц.).*

сы, чтобы посмотреть который час, мои проводники сгрудились вокруг меня и с изумлением разглядывали диковинную, по их мнению, вещь. Особенно их поразило тиканье часов. Туземцы воспринимали это «нюрнбергское яйцо» как живое существо и спрашивали, на каком языке оно говорит. Потом у меня еще допытывались, есть ли в тех краях, откуда я родом, луна и светит ли там солнце. Польше всего, однако, местное туземное население занимал мой белый напудренный парик, завитой в мелкие букли. Они то и дело с меня «снимали волосы» и надевали снова.....

Постель состояла из аккуратно сшитых вместе бараньих шкур, лежащих на кожаном матрасе, набитом сухими ароматными травами. Одеялом также служили сшитые шкуры, и подушка из тонкой кожи была туго набита шерстью. Удивило меня и то, что каждый вечер на подушку нашивался свежестырианный лоскут белого полотна — в том месте, где кладут голову. Не успевал я утром встать, как всю постель разбирали и выносили во двор, где ее развешивали на подпорках, похожих на те, что применяют наши красильщики для просушки тканей. Чуть ли не с самого рассвета к моему временному жилищу стекались любопытные туземцы. Кто хотел просто поглазеть на меня, кто стремился пощупать сукно моего камзола и при этом попытаться незаметно оторвать пуговицу. Многие с помощью энергичной жестикуляции зазывали меня в гости. Мальчишки указывали пальцем на мою треуголку и покатывались со смеху. Старшие на них прикрикивали и швыряли в убежавших дьяволят комками сухой грязи. Не было отбоя от желающих затеять со мной меновой торг. Кстати, один мурза отдал мне хорошую вьючную кобылу за маленькую подзорную трубу и два талера (в московских копейках). А знаменитый кабардинский кинжал в ножнах черного серебра с филигранным узором я выменял на простую оловянную кружку, какие у нас в городе стоят гроши. Для них обыкновенные стеклянные бусы.....

Черкесия и Кабарда заинтересованы в

33. Ходовая черкесская шутка тех времен, принимаемая иностранцами за чистую монету. Могли также спросить, сколько ног у заморских лошадей и не ядовиты ли там кошки.

34. Жаль, что не вместе с головой.

35. Обрыв рукописи.

36. Копейки тогда были и серебряными.

37. Обманывать детей — самое верное дело.

38. Обрыв рукописи.

получении ружейных стволов, различных частей конской сбруи, удил и подков с гвоздями, седельных ленчиков тебеньков, хотя все это здесь прекрасно умеют делать и сами, однако не всегда делают из-за нехватки хорошего сырья. Так же охотно они покупают, вернее, выменивают луки и стрелы, порох, железо в брусках и полосках, всевозможные ткани — персидскую камку, ситец, кисею для женских окрывал, ленты, галуны и прочее, следует иметь в виду и многочисленные мелочи: иголки, наперстки, гребни (самшитовые и роговые), растительные краски, пряности, мокко, изюм, маслины и — не забыть бы — мыло. Они неохотно пользуются тем мылом, что делают крымцы из бараньего и бычьего жира, так как оно хотя и неплохо отстирывает белье, но оставляет после себя, неприятный запах. За настоящее они ничего не жалеют. Теперь о тех товарах, которые адыги могут поставлять в изрядных количествах. Во-первых, шерсть, причем обязательно мытая и хорошего качества. Тысячи красных бычьих кож! Ежегодно тысяч пять кинталов превосходного меда! Далее — огромное количество воска. Не менее четверти миллиона шкур куницы, лисы, волка и медведя — вот где настоящее богатство! Полмиллиона ежегодно — шкур бараньих. Это тоже золотое дно! Не стоит сбрасывать со счетов и сотню тысяч пар бычьих рогов. Наконец о кабардинских лошадях. Они ценятся чрезвычайно. Особенно известными являются породы sholoc и haга. Бывает, за одного скакуна дают по восемь рабов. А сами же адыгские рабы, как уже писал я ра.....

Теперь я перехожу к заключительной части своего послания: она, кстати, заслуживает внимания не меньше остальных частей, ибо, как говорят эти надменные вездесущие британцы, last, not least, последнее по счету, но не по важности.

Возвращаясь к вышесказанному, я вновь хочу напомнить о скорой возможности дать этой красивейшей и богатейшей земле настоящего хозяина. Кто успеет раньше, тот и будет иметь

39. *Вот где наш Пфефферкопф сел на своего конька!*

40. *Кинтал — около 62 килограммов (тур.).*

41. *Наверное, шолох и хоара.*

42. *И хорошо, что обрыв рукописи, а то уж очень мерзко читать откровения «просвещенного европейца», который не постеснялся бы погреть свои нечистые руки даже на торговле людьми.*

самый большой гешефт. Опоздавшему на званый пир достаются одни объедки. Уже сейчас надо подумать о тех людях, которые возьмут на себя бремя управления и торгового посредничества. Надо готовиться к тому, что губернаторское место в Азове будет занимать не Pedyr-pasha, а опытный, знающий и решительный европеец. Дорогой друг Иеронимус! Твой долг сейчас perfas et nefas донести мою idee fixe до сильных мира сего — до влиятельнейших коммерсантов и военачальников нашего любимого faterland, а в конечном счете — и до нашего обожаемого монарха. Надеюсь, сильные мира сего — особенно если они еще и справедливы — ценят мое усердие по достоинству и honoris causa, за неустанные труды свои я буду соответствующим образом вознагражден. Я желал бы для себя....

...онченное и даже запечатанное сургучом послание раскрыл снова и теперь собавлю еще несколько страниц. Делаю это из-за вынужденной задержки по пути к морскому побережью. Лишь одному господу богу известно, сколько часов, а то и дней, придется мне еще сидеть на этой крошечной сырой полянке, окруженной непроходимыми зарослями терновника. Из целого десятка опровождавших меня людей со мной остался один-единственный. Он прорубил в колючей чаще просеку к полянке, затем, когда мы имели на травянистый островок лошадей, он взял подрубленные у самого основания кусты и вновь водворил их на место, сделав тем самым проход в зарослях совершенно незаметным. Это называется у туземцев «зашить тропу».

Скверная история, в которую я влип, квк шмель в горячую патоку, началась таким вот очень обычным для здешних мест образом. Когда мы проезжали равнинным редколесьем по берегу какой-то реки, то столкнулись с бандой конных головорезов, которая значительно превосходила по численности. Но самое ужасное то, что главарь встречной банды оказался кровником нашего достойного предводителя, чтоб ему в преисподней было потеплее! Наш

43. Педыр-паша — это, наверное, царский губернатор Федор Апраксин.

44. Правдами и неправдами (лат.).

45. Навязчивую идею (франц.).

46. Это против его, Пфефферкопфа, обожаемого монарха сейчас воюет другой монарх, которому Пфефферкопф служит.

47. За заслуги (лат.).

48. Из-за очередного пропуска в рукописи мы так и не узнаем, что же именно желал для себя рыцарственный Пфефферкопф. Можем только предполагать, что желал он немало.

49. Очень любопытно: «другая банда превосходит нашу». Что это такое? На шутливую иронию не похоже. Проговорился от волнения? Неужели решил поучаствовать в грабительском набеге?

мерзавец успел выстрелить первым и навсегда избавил своего врага от сует повседневной жизни, зато что началось потом! О, святая дева Мария! Что началось потом! Мой так насыпаемый кунак мог торжествовать по поводу гибели кровника не более минуты — ему просто снесли голову, причем так быстро и ловко, что он не сразу это заметил и еще футов сорок, пока не свалился наземь, скакал верхом без головы. Резня шла ожесточенная и беспощадная. И с той и с другой стороны было уже по нескольку убитых, когда нас загнали в реку. Посреди стремнины вода доходила лошадям до половины брюха. Несколько ретивых всадников из неприятельского отряда бросились в реку и, размахивая клинками, сходясь с нами вплотную, мешали переправиться на тот берег. Остальные головорезы, устрашающе гикая, перезарядили ружья и стали целиться в меня и моих проводников. Еще несколько трупов (или тяжелораненых людей) с гулким всплеском низвергнулись в воду. Крепко досталось и некоторым нашим преследователям.

На тот берег мне удалось перебраться первому и там я не щадил коня. Позже меня нагнал пожилой джигит, единственный из нашей команды оставшийся (кроме меня) целым и невредимым. Этот устрашающего вида старикан, со злой и хитрой физиономией, испещренной десятками шрамов, в рукопашной схватке был самым дьяволом. Наверное, потому-то он и остался живым до сих пор. И все же поразительно — как при жизни такой его не зарезали гораздо раньше! Итак, мы сидим среди зарослей терновника и боимся пошевеливаться. Нас ищут. Мы слышим, как негодяи перекликаются, как ржут их лошади. Наши кони помалкивают, не отвечают. Приучены. Чувствуют, когда хозяева не хотят выдавать свое присутствие. Настоящие бандитские лошади. Стоит пасмурная осенняя погода. Ноги у меня мокрые: я набрал полные ботфорты воды. Один сапог так и остался в реке. Теперь я продрог и, кажется, подхватил насморк. Что же делать? Вот уж действительно (ve vis...) дело — дрянь.

50. Теперь снова «проводники».

51. Теперь понятно, почему у того черкеса хранился только один сапог!

52. Эти латинские буквы были зачерк-

Даже костер нельзя разжечь.
С этого островка посреди терновых джунглей видны лишь облака да верхушки высоких деревьев — лес тут гуще, чем у реки. Виден шаг в трехстах отсюда и одинокий утес с плоской вершинкой — кажется, это та самая гранитная скала, мимо которой мы проезжали за пару минут до роковой стычки.

Только что преследователи проскакали совсем рядом с нашим убежищем. Был слышен не только топот копыт, но и дыхание лошадей. Конечно, этих абреков интересует не разбойничья рожа моего спутника, а непосредственно моя скромная персона. Уверены, конечно, что тут найдется чем поживиться. О, мой бог! Когда же им надоест и они уйдут? Найти нас, правда, так же трудно, как пару мышей на огородной грядке. Главное, нам нельзя и носа отсюда высунуть. Холодно. Слякотно. На душе — будто крысы нагадили. Кончаются чернила в моей старой бронзовой чернильнице, всегда висящей на поясе. Перо приходится обмакивать чуть ли не после каждого слова... Что это?! Святители небесные! Не оставьте, защитите раба вашего преданного! Какой-то абрек стоит на вершине утеса и указывает рукой в нашу сторону...

*нуты. Наверное, нашему рыцарю стало не до латинизмов и прочих броских фраз, нахватавшихся им из разных языков. А впрочем, он, наверное, хотел вспомнить крылатые слова *vae victis!* — горе побежденным!*

53. Все равно найдут.

54. Хоть о мертвых не говорят плохо, но так ему и надо, нехорошему человеку.

55. Конец рукописи.

ХАБАР ТРИНАДЦАТЫЙ, *утверждающий, что*

*Если на белом поедешь коне.
На себе привезешь белый волос.*

Уорк, стоявший возле Кубати, выронил охапку дров и в растерянной задумчивости сел на мокрую речную гальку. Другой шогенуковский прихвостень — Зариф, щедро наделенный аллахом богатырской силой и неустрашимостью, быстро перебрался вброд через ручей и начал карабкаться вверх по каменистой круче, то и дело срываясь со склона и скатываясь вниз.

Забегал взад-вперед по берегу речушки и возбужденный Джабой Келеметов, однако не решался войти в воду.

Алигот-паша требовательно выкрикивал какие-то приказания пополам с грубой бранью.

Шогенуков, жалевавший, что он вначале оказался таким несдержанным, теперь молча кусал ногти и пытался унять мелкую дрожь. Он яростно сверкнул желтыми своими глазами на сидевшего у ручья уорка и повелительным жестом указал на скалу. Тот испуганно помотал головой и резво пополз на четвереньках подальше от князя. Алигоко выхватил пистолет из-за пояса. Уорк вскочил на ноги и бросился бежать вверх по ручью. Вдогонку ему грянул выстрел. Уорк, не останавливаясь, бежал дальше и вот уже он скрылся в чаще прибрежных кустарников. Его никто не преследовал. Да было сейчас и некому это делать.

— Ответишь мне, предатель! — крикнул Вшиголовый. — Весь твой род...

Но тут на князя накинудся Алигот-паша.

— Что за скоты твои люди! — брызгал слюной сераскир. — Одни бегут, другие не могут на камень залезть! А ты что мельтешишь перед глазами! — заорал наша на Келеметова. — Слушай сюда, бараний таубий! Давай... Это... живо на тот берег и вместе с тем олухом заходите сбоку скалы и лезте! Ну!

Как прирожденный горец Джабой сразу определил ют участок склона, по которому взобраться на гребень обрыва было бы не очень сложно. И он, человек грузный и, казалось бы, неуклюжий, довольно легко полез по склону, осторожно минуя глинистые осыпи и недоверчиво обходя камни, которые грозили обрушиться. Последний из шогенуковских подручных, оставшийся при своем господине, встал после очередного падения и полез за Келеметовым.

Солнце уже опускалось за кромку горного хребта, желтое пятнышко на панцире сверкнуло прощальным лучиком и погасло. Кубати, ничем не выдавая своего полнения, напряженно следил за Джабоем и Зарифом. Они уже добрались до середины склона, им оставалось подняться еще на три-четыре десятка шагов, когда с гребня вдруг отвалилась глыба величиной с лошадиную голову и покатила вниз, увлекая за собой груды камней помельче. Джабой испуганно взвизгнул и метнулся поперек склона в сторону. Там он попал на рыхлую глинистую осыпь и благополучно съехал вниз. Зариф оказался не таким расторопным. Один увесистый гранитный обломок ударил его по колену, повалил набок. Он сразу же вскочил на ноги и понесся под горку огромными шагами. Остановился он только в воде, плашмя плюхнувшись в самую стремнину быстрого потока и с ног до головы окатив холодными брызгами Алигота-пашу: сераскир стоял ближе всех к месту падения неудачники.

— Чтоб тебя водянка раздула, уздень ты навозный! — бесновался Алигот. — Да я тебя каждый день буду водой поливать, а сохнуть не давать!

Молодой Хатажуков украдкой давился от смеха, князь Алигоко с ненави-

стью уставился на смущенного и робкого Джабоя, который с замиранием сердца ошупывал на штанах сзади изрядную прореху.

Один Зариф почти не потерял душевного равновесия. Он выбрался снова на тот берег и, сильно хромая на правую ногу, двинулся опять к началу своего бесславного пути.

— Вот этим железом клянусь... — он вынул саблю из ножен, грозно посмотрел вверх и вдруг осекся...

Все остальные тоже устремили взоры на вершину скалы: никакого панциря там не было.

Первым опомнился от немого изумления Алигоко Вшиголовый. Он бросился к Кубати:

— Где панцирь? Ведь ты знаешь! Ведь знаешь!

— Панцирь? — удивился юноша.

— Да, да, панцирь! — шипел Шогенуков. — Куда он девался?

— Так вот зачем они туда полезли...

— А зачем же еще! Или там, на скале, еще что-то было?

— Да не видел я там ничего, — спокойно сказал Кубати. — Ни панциря, ни наручей, ни налокотников...

— Стой! Ты над кем насмехаешься?

Подошел, а вернее, снизошел, не сдержав любопытства, чванливый ханский баскак.

— Это кто тут насмехается? Это кто тут ничего не видел? — стал грозно вопрошать Алигот-паша. — Это где тут... эта... налокотники? Хорошие налокотники или дрянные? Э?

— Мы тут спорим о том, сиятельный паша, куда мог пропасть панцирь, — уклончиво ответил Алигоко, не желавший посвящать сераскира в тайны своих взаимоотношений с юным Хатажуковым. — Да и вообще откуда он, этот панцирь, взялся там, на скале?

— А не тебе ли, князь, знать об этом лучше других, — сузил глаза Алигот. — Кто кричал на все ущелье: «Мой! Мо-о-ой!» Что ж ты теперь молчишь? Говори!

Зариф и Джабой развели тем временем большой костер и сушились у огня. От их одежды клубился пар. В наступивших густых сумерках оранжевые отсветы пламени заиграли на обращенном в сторону костра жирном лице Алигота, и теперь оно казалось более злым и капризным, чем при дневном свете.

— Мне просто почудилось, что это бывший мой панцирь, — хмуро пробормотал Шогенуков.

Но Алигот, как и все не умные, но по-своему хитрые люди, был недоверчив и подозрителен:

— Мутишь, князь, воду в своем роднике!

— Чем прогневал я...

— Ладно, ладно, доблестный и прямодушный черкес. После поговорим. А может, завтра панцирь появится снова? — Паша неожиданно обратился к Кубати: — Ты как считаешь, юнец лукавый, э? Появится или нет?

— Если будет на то воля аллаха, — скромно ответил Кубати.

Алигот озадаченно уставился на парня — никак, он его не мог понять.

— Ну ладно, — сказал паша после некоторого раздумья, — если будет на то воля аллаха и если пши Алигоко поторопит своих дармоедов, мы сможем наконец, утолить голод.

Трапезничали молча и без удовольствия. Потом запалились спать в наспех выстроенном шалаше. Поставленный на ночное дежурство Зариф связал Кубати руки и прилег рядом с ним на брошенную на землю бурку. Скоро он спал безмятежным сном праведника. Во сне улыбался. Ему снилось, как он снимает богатые доспехи с целого войска убитых врагов. Снимает и по-хозяйски складывает на те-

легах, вытянувшихся длинной вереницей по краю широкого поля. В одну телегу Зариф луки складывает — добрые луки, из тиса вырезанные, тисненой кожей, костяной и перламутровой инкрустацией украшенные. В другую телегу — сабли в; ножнах роскошных с серебряной чернью, с золотой филигранью, а клинки — в Дамаске сделаны или у румов где-то, а еще и паленом русском городе Златоусте. В третью телегу — ружья и мушкетоны замковые, пистолеты, в четвертую — мисюрки с бармицами, ну и там дальше, в остальных арбах, повезет Зариф кольчуги и панцири, зеркала и щиты, груды одежды хорошей и зелье огнестрельное — порох. А ко всему да к этому — целый табун лошадей погонит Зариф к себе, на лесистые берега Куркужина. Покончено теперь будет с его захудалым житьем, побогаче самого Вшиголового станет...

Доблестному сераскиру снилось, как он ползет на четвереньках по пыльным и душным коридорам ханского дворца в Бахчисарае. Он уже устал, поясицу разламывало на части, но кто-то страшный и упорный все время подбадривал Алигота пинками в зад, заставляя двигаться быстрее. Паша знал, что его ждет грозный хан, и спешил изо всех сил, отчаянно потев и задыхаясь, но коридоры, галереи, лестницы — все это превратилось в какой-то немыслимый лабиринт, конца пути не было, а пинки в зад становились все чувствительнее...

Самый глупый сон оказался у Джабоя. Он увидел себя голым, но обросшим густой бараньей шерстью. Было ему тепло и совсем даже удобно, но тут появился Алигот-паша с ножницами для стрижки овец.

— Хотя ты и таубий бараний, хоть ты и аксюек (*балк.*, «белая кость», *лица аристократического происхождения*), а с шерстью расстаться обязан!

— Не надо! — кричал Джабой. — Я ведь замерзну.

— Ничего! Другие бараны не мерзнут, не замерзнешь и ты. А потом у тебя новая шерсть отрастет, и тогда я тебя снова обстригу.

Джабой хотел бежать, но не мог с места сдвинуться — ноги, казалось, вросли в землю...

Шогенуков почти всю ночь «провел» в гареме. Его окружали нежные и невесомые девушки, похожие на райских гурий. В руки они не давались, ускользали, подрагивали зыбким миражным маревом и таяли в воздухе. Они играли на каких-то сладкозвучных музыкальных инструментах, с ласковой кокетливостью улыбались князю и тихонько напевали:

*Алигоко, ой, дуней!
В мире нет тебя подлея!..*

Кубати с трудом уснул уже после полуночи и до самого утра спал крепко, без всяких сновидений...

* * *

Время для Алигота-паши было в последние дни очень дорогим. Он понимал, что находится в положении беглеца, спасающегося от погони. Сегодня он тем не менее не слишком торопился. Верил почему-то, что вновь увидит диковинный панцирь. Чутье богатого сквалыги ему подсказывало: эта вещь — настоящее сокровище. Загадочное поведение Шогенукова тоже наводило на некоторые мысли.

А вот Шогенуков теперь не знал что и думать. Такой растерянности, такой мешанины в голове и чувствах у него никогда еще не было. В жизни своей он знал страх и перед людьми, и перед болезнями, и перед дикими зверями, но испытать нечто похожее на суеверный трепет ему пока не приходилось. Сейчас вот пришлось. И в самом деле: чем объяснить появление панциря? Разумеется, это может быть и людской проделкой, но... зачем? Какой смысл? А если человек здесь не причем? Неужели на свете чудеса существуют не только в сказках?! Алигоко по-

дозревал, что молодой пши, с безучастным видом сидящий в стороне с развязанными уже руками, но с колодкой на ноге, знает, наверняка знает разгадку — держит ее за щекой. А вот с какого боку к этому парню подступиться, чем прельстить, где ему капкан поставить — Шогенуков никак не мог решить. Может, силы темные, колдовские, рассудок его нарочно ослабили? Страшненько, ох, и страшненько!

После утренней трапезы долго ждали, с волнением посматривая на вершину скалы: панцирь не появлялся. Ближе к полудню Зариф вскарабкался наверх, обыскал там кустарник, обшарил все камни и не нашел ничего. Спустился вниз, развел руками. Тогда начали спешно и суетливо собираться в дальнейший путь. Сразу тревожно стало на душе у беглецов. У них появилась невольная потребность постоянно озираться по сторонам, опасливо вслушиваться во всякие — подозрительные будто — звуки.

А мир, каким он сейчас выглядел, совсем, казалось, даже не был способен таить в себе что-либо угрожающее. В это доброе летнее утро мир словно народился заново на радость и зверю, и птице, и человеку, и всякой твари на земле. Под прозрачно-лазурным куполом неба сегодня легко и свободно дышала густая и сочная зелень лесов и лугов, неправдоподобно чисты и приветливы были горные потоки, даже камни и скалистые утесы, облитые яркой щедростью солнечного света, выглядели почти живыми созданиями природы. Хотелось доверчиво прильнуть к ближайшему валуну и погладить ладонями по его теплой шершавой коже. Хотелось уткнуться лицом в пахучую траву и замереть на несколько мгновений, плотно смежив веки. Хотелось разуться и бесцельно бродить по колено в реке до тех пор, пока ноги не онемели бы и не потеряли чувствительность к холоду талой ледниковой воды.

Так воспринимал сегодняшний мир Кубати, которому вообще-то следовало бы побольше думать о превратностях судьбы, помнить о колодке на ноге и цепи на запястье, а не поддаваться очарованию красоты земной. Сейчас он реже размышлял о Канболете, чаще в его мыслях и сердце появлялась Сана. Не слишком сильно занимала его и загадка, связанная с появлением панциря. Он решил ее еще вчера и теперь был спокоен. Ясно, что Канболета пока нет поблизости. Ведь он легко бы справился и один с этой жалкой шайкой, где некоторую опасность представляет лишь туповатый Зариф. Поблизости от панциря кто-то другой, тянет время, выжидает...

Когда все собрались в дорогу и взгромоздили Кубати на коня, снова, как и в прошлый раз, с вершины скалы донесся мелодичный звон...

Крик вырвался сразу из нескольких глоток — изумленные восклицания, проклятия, татарские ругательства, воззвания к аллаху. Один Кубати помалкивал. В его глазах — спокойная понимающая улыбка. Не без некоторого страха перехватил полунасмешливый взгляд этих глаз Шогенуков. Алигот-паша тоже посмотрел на пленного юношу, промычал что-то требовательно-вопросительное и вдруг умолк, будто ему внезапно приоткрылась завеса над некой жуткой тайной.

Джабоя нигде не было видно — забился, наверное, в чащу кустарника и лежит там ни жив ни мертв. А Зариф уже карабкался вверх по склону. Теперь он благоразумно держался у самого края глинистой осыпи, где камнепад, подобный вчерашнему, вряд ли мог его задеть. Как замороженный смотрел он на такой сейчас близкий панцирь: бора маиса ослепительно сверкала в солнечных лучах. Еще две-три сажени и... сверху обрушилась небольшая лавина камней, но прогрохотала мимо. Зариф с новой силой ринулся — уже на четвереньках — к верхнему уступу обрывистого склона. Сейчас он напоминал злющего пса, который с неутомимым упорством вновь и вновь бросается на дубинку, бьющую его по морде. Оставалось сделать еще один, последний рывок, но тут из кустов сверху вылетел не-большой булыжник и глухо стукнулся о голову Зарифа. Неустрашимый уорк оп-

рокинулся навзничь и сначала медленно, а потом все быстрее поехал вниз по склону. Вот он раз-другой перевернулся со спины на живот и оказался на берегу речки ногами на суше, а головой в воде. Его шапка быстро поплыла вниз по течению. Зариф очнулся достаточно вовремя, чтобы не захлебнуться. Сел, ощупал на темени шишку (совсем рядом с прежней раной), погрозил кулаком вверх.

— Вот этим железом клянусь, — он потряс саблей, которую с самого начала сжимал в руке, — клянусь этим железом, ты от меня не уйдешь! — и побежал ловить свою шапку.

Панцирь медленно наклонился назад и будто бы упал с камня, на котором стоял. Снова исчез.

На берегу Бедыка воцарилось всеобщее отупелое молчание его нарушил вырвавшийся из зарослей колючей облепихи Келеметов.

— Уходить надо! — закричал он заячьим голосом. — Что шурпы мне век не нюхать, скорей надо отсюда... скорей, чего ждем?

Молодой чабан, сидевший на корточках и прятывшийся за одним из привязанных к дереву баранов, громко всхлипывал, трясясь всем телом.

— Ал-лах ак... ак... ба... бар! — заикаясь, пробормотал Алигот-паша.

Шогенуков, о чем-то напряженно, закусив губу, думавший, обернулся к Джабою и крикнул:

— Умолкни, ты, выпавший из-под хвоста свиньи! Джабой продолжал о чем-то верещать, подпрыгивая на месте и хлопая себя по ляжкам.

Алигот-паша выхватил тяжелый пистоль и выстрелил поверх головы Джабоя. Тот в ужасе заткнул уши, захлопнул рот и сел на землю.

Шакалы глазки Алигоко сверкнули неожиданной решимостью — наваждение, навеянное панцирем, оказалось сильнее страха.

— Надо залезть наверх и там ждать, — сказал он тихо, сквозь зубы, сераскиру. — И даже переночевать...

Алигот одобрительно кивнул головой:

— Хоп! Ты правильно говоришь. Вот и полезешь сам. Вместе с этим дураком, — он показал пальцем на Зарифа.

— И полезу! Только ты, сиятельный, тоже последи за пленником. На этого, как ты остроумно заметил, бараньего таубия надежды мало. Здесь только мы с тобой мужчины.

— Опять правильно говоришь, — согласился паша. — Я послезу.

С лошадей сняли поклажу, снова развели огонь и набрали в котел воды. Нового барашка резать не стали — еще от вчерашнего осталась добрая половина туши. После отдыха и обильной еды Зариф почувствовал себя готовым к новому подвигу.

Бледный, но внешне спокойный Шогенуков переехал на закорках у Зарифа речку и начал первым подниматься в гору. Уорк еще вернулся за парой бурок и теперь, фыркая и отдуваясь, как лошадь, догонял своего господина.

Они без всяких происшествий одолели крутой подъем, медленно, с опаской вылезли на гребень и долго вглядывались в чащу кустарника. Потом обернулись, посмотрели вниз. Вшиголовый махнул рукой сераскиру и, мягко ступая, пошел вглубь подлеска.

Алигот-паша, Джабой, чабан и Кубати провожали князя с уорком взглядами, пока охотники за таинственным панцирем не скрылись из виду.

Алигот шумно вздохнул, посмотрел задумчиво из Джабоя — так смотрит объевшийся кот на полузадушенную мышь: съесть ее сейчас или немного погодя?..

Келеметов съежился.

— Свяжи этому парню руки и давай его эта... сюда, ко мне поближе вместе с его драным войлоком.

Таубий с готовностью исполнил приказание.

— Буду эта... говорить с тобой, — снисходительно заявил Алигот-паша юноше.

— О, аллах! Дай превратиться мне в одно сплошное внимательное ухо! — благостным тоном произнес Кубати.

— Постой! — раздраженно махнул пухлой рукой Алигот. — Мне не только твое ухо... Эта... язык тоже надо. Чтоб отвечал, когда спрошу.

— И отвечу, — с готовностью закивал головой Кубати, затем добавил смиренно: — Коли будет на то воля аллаха.

— Опять за свои эти... как их... — Алигот досадливо поморщился. — Скажи лучше, чей ты все-таки сын?

— Я сын своего отца, а мой отец такой же правоверный мусульманин, как и ты, сиятельный паша.

— А имя у тебя есть, сын своего отца?

— А разве гостю, который еще и трех дней не ел шуг-пасту своего бысыма, намекают о том, что хотят узнать его имя?

— Ты увертлив, как форель, которую пытаются поймать голыми руками. Да неужто ты считаешь себя моим гостем, нахал?

— Все мы гости на этой земле, — уклончиво ответил Кубати и притворно вздохнул.

— Ладно, хватит болтать всякую чепуху. Ты скажешь, где мои драгоценности? Ты скажешь, что это за шайтанский панцирь? По глазам вижу — знаешь! Ведь такому доспеху цены нет? Э? Ведь недаром Алигоко взвыл, как шакал, едва увидел его?

— Сразу столько вопросов, — застонал Кубати, — а у меня руки связаны...

— Вот щенок! Руками ты разговариваешь, что ли?

— Руки иногда хорошо помогают языку. Когда столько вопросов...

— Не хитри. Я не вчера родился. Так я о панцире толкую. Такого, наверное, на всей земле нет, э?

— В Коране сказано, что аллах украсил землю всем сущим, создал всякие ценности, дабы испытать людей и узнать, кто из них будет поступать лучше другого. Это шестой аят из восемнадцатой суры. Ты, сиятельный, конечно, конечно, помнишь эти слова наизусть?

— Ну как и всякий эта... — замылся Алигот, но тут же расвирипел: — Да я тебе сейчас как дам! Ах ты, наглец! Да ведь жизнь твоя в моих руках!

— В руках аллаха, — мягко возразил Кубати. — А знаешь, о чем гласит семьдесят второй аят девятой суры под названием «Изъятие и покаяние!»

— И покаяние... — тупо повторил паша.

— Верующие, мужи и жены, являются друзьями друг друга, — заметь, высокопочтенный, друзь-я-ми, — они советуют друг другу творить благое и запрещают друг другу поступать дурно, они соблюдают молитву, творят милостыню, повинуются аллаху и Его посланнику. Аллах окажет им свое милосердие, ибо аллах могуч и мудр.

— Лучше я потом с тобой побеседую, — устало сказал паша. — Вот еще мулла выискался на мою голову. Так и самому недолго муллой стать.

Алигот посмотрел замутненным взором в небо. Солнце садится. Время вечернего намаза.

— Эй, Джабой! К тебе, к тебе я обращаюсь. Слушай сюда, пророком ушибленный! Развяжи парню руки, пускай тоже помолится. Потом опять эта... завяжешь снова.

В небе рождались тусклые звездочки. С гор потянуло зябким ветерком. Непонятно откуда донесся тоскливый и протяжный крик совы. Молодой чабан прошептал Джабою на ухо:

— Сова кричит — кто-то умрет...

* * *

Эту ночь Кубати почти не спал. Под самым боком, за тонкой стенкой шалаша тяжело храпел Алигот. Джабой и его чабан о чем-то долго шушукались, после чего вдруг разом затихли и долго лежали не шевелясь. Среди ночи стали с превеликой осторожностью шарить по стоянке, седлать лошадей, навьючивать на одну из них всякую хурду-мурду. Кубати все слышал отлично, но притворился спящим: пусть удирают.

И таубий со своим ясакчи, или кто там он у него был — караваш, а может, каракиш или казак, благополучно ушли. С тремя лошадьми, со всеми баранами и даже с остатками баранины, с одной буркой и одной хорошей кошмой и, наконец, прихватили с собой и котел медный, хороший очень...

И — странное дело — после того, как ушел Келеметов, едва растворились в ночной тьме последние тихие шорохи, приглушенное постукивание копыт по каменной тропке, Кубати уснул с такой спокойной умиротворенной душой, словно лежал в доме Емуза.

Разбудил его — уже далеко не ранним утром — сам Алигот-паша, испуганный, растерянный.

— Эй, ты! — он толкал Кубати в плечо. — Куда они, э? Где они? Зачем?

Молодой Хатажуков протянул паше связанные руки. Тот непроизвольно вынул нож и разрезал ремни. Разминая затекшие кисти, Кубати с притворным интересом оглядел стоянку и спросил:

— А где же достойный таубий Келеметов? Неужели срочные надобности позвали его в дорогу? И, кажется, вместе с овцами?

— Удавки он достоин, твой таубий! — заорал сераскир. — Ограбили и удрали! Даже котел увезли и баранов угнали!.. — дальше Алигот-паша начал изъясняться таким языком, какого не выдержал бы ни один пергамент. Можно только отметить, что словами он пользовался не только татарскими, но также турецкими, русскими, греческими и еврейскими.

Когда вспыльчивый паша выдохся, он с усталой укоризной обратился к Кубати:

— Ну, а ты куда смотрел?

— Можно подумать, что это я тут над вами стражник, а не вы надо мной, Кубати искренне, как-то по-детски рассмеялся. — А руки у кого были связаны? И коловка на чьей ноге?

— Что жрать будем? — мрачно спросил паша.

— А что аллах пошлет, — беспечно откликнулся юноша.

Алигот усмехнулся. Этот парень все больше ему нравился Алигот сопротивлялся растущему в его душе чувству благорасположения, но ничего не мог с собой поделать. А ведь этот шайтаненок его ограбил! Что за напасть такая?

— Мы у аллаха не одни, — буркнул посерьезневший паша. — Только и дела Ему, — толстый указательный палец задран кверху, — выискивать по проклятым горшам трущобам обворованных путников и посылать им пропитание.

— Не наша с тобой забота, сиятельный, забивать себе голову такими неприятными раздумьями.

— А чья же?

— А пши Алигоко для чего? Не он ли устроил для сераскира эту прогулку в долину Шеджема?

— Он! Клянусь потрохами верблюда, это он затащил меня в эта... как там...

— Вот пускай он сам и думает. Все равно голова у него и так чешется. Коростой она покрыта. Чешется снаружи — пусть почешется изнутри.

— Вшиголовый! Гы-гы-ы! — злобно расхохотался Алигот, впервые произ-

нося вслух известное ему прозвище. — Пускай думает. Ты правильно говоришь. Пускай у него изнутри, гы-гы, почешется.

Солнце поднялось высоко и его лучи уже достигли дна узкого, но неглубокого ущелья Бедыка. Голодный паша стал терять терпение.

— Застряли там. Как два репья в ослиной шкуре. Панцирь все равно больше не появится. Раз не появился до сих пор, то нечего и ждать. Сидим тут...

Но вот всколыхнулись кусты на краю обрыва, и показался Шогенуков. Он сразу же стал спускаться к речке. Следом за ним — Зариф. На берегу они долго и жадно пили воду.

— О, сиятельн... — начал было Алигоко, но паша не дал ему говорить.

— Молчи. Ни слова. Сам вижу: панциря нет. И не будет. Припасов тоже у нас нет. Слава аллаху, лошадей нам еще оставили. Добряк Джабой!

— Ка-ак?! — завопил Шогенуков. — И этот сбежал? Ну я ему, жирному кабану, я ему... уж я ему клыки пообломаю! На пузе будет передо мной без штанов ползать! Всенародно!

— Уймись! — оборвал его паша. — Забылся! Все ты виноват! Ты один! Ну, об этом потом. Собирайтесь и едем без промедления. Хотя что собирать? По твоей милости, благородный и хитроумный пши, мы теперь и кусочка мяса не имеем. Подумай, что будем кушать в пути! Молчи! — он не дал князю вставить и словечко. — До полудня я еще могу потерпеть, а дальше...

К полудню перебрались вброд через Баксан там, где река растекалась по своей пойме (широкой в этом месте) несколькими мелководными рукавами. На том берегу, голом, безлесом, паслась отара овец. Шогенуков и Зариф даже спрашивать не стали, чей скот. Отбили десятка полтора голов и погнали вверх, к перевалу. Старик-чабан не осмелился возражать, а его лохматая собака, не такая сговорчивая, получила пистолетную пулю от князя.

По извилистой тропе, ползущей поперек то одного склона, то другого, ехали еще долго. Наконец остановились у одного веселого родничка, и Зариф наскоро зарезал и освежевал барана, разжег костер из той вязанки хвороста, что предусмотрительно везли с собой, и мгновенно изжарил легкие, печень и почки. Львиная доля досталась, естественно, сераскиру — совсем пропадал сиятельный от голода. Неплохо подкрепились и Зариф с Алигоко. Пленнику тоже немного досталось.

К вечеру достигли перевала. Здесь начиналась лесистая часть водораздела между Баксаном и Тызылом. Всадники спустились пониже и, свернув от набитой тропы в сторону, углубились в лесную чащу. Там и устроили стоянку. Теперь уже всерьез опасались нежелательной встречи — ведь вполне возможно, что небольшие дозорные отряды Кургоко Хатажукова рыщут сейчас по верхним (северным) пределам Большой Кабарды. Путешествие через недружелюбные адыгские земли тоже не сулит ничего хорошего. До безопасного правобережья Псыжа — того места, где река эта становится уже полноводной и течет с восхода на закат, надо было одолен, еще гри или четыре дневных перехода.

* * *

Кубати проснулся, когда небо стало едва светлеть, а звезды уже потускнели и не мигали больше острыми своими лучиками. Кто-то, развязывая руки Кубати, прерывисто и хрипло дышал ему прямо в лицо.

— Тс-с-с! Лежи тихо. прошептал еле слышный шепот. — Это я, Куанч.

— Хорошо, ладно, — чуть дыша и боясь рассмеяться, ответил Кубати. — А Канболет где?

— Молчи. Потом. А что, что у тебя на ноге?

Вдруг громко шикнула цепь. Зариф, лежавший рядом, вскочил, как конь, обожженный ударом хлыста: опытный хищник всегда просыпается мгновенно и с

ясной головой. Правда, не всегда с глупейшими вопросами в голове, как это было в случае с Зарифом.

— Эй! Ты зачем так делаешь? Кто тебя просил?! — ревел громила-уорк, сгребая в охапку и подминая под себя худенького Куанча.

Куанч издал вопль отчаяния и боли, но все же изловчился вытащить пистолет из-за пояса Зарифа и нажать на спуск. Повернуть руку, как надо, он не смог и пуля ушла в землю. От криков и грохота выстрела повскакивали насмерть перепуганные сераскир и князь. Они еще раздумывали, стоит ли броситься на помощь Зарифу или это им дороже обойдется, но тот успел обойтись собственными медвежьими силами. Видя, что Кубати сейчас подкатится к нему и лягнет ногой в колodge, а руки — страшные его руки — вот-вот освободятся от ремней, Зариф оглушил неожиданного гостя ударом кулака по голове и, не мешкая, навалился на Кубати. Довольно урча от сладостного упоения дракой, он в два счета скрутил парню руки, а заодно и ноги. После, уже не торопясь, он спеленал и бесчувственного Куанча.

— У такого волкодава, как Зариф, — уорк гордо стукнул себя кулаком в грудь, — ни один ягненок не пропадет! Клянусь вот этим желе...

— Прикуси язык, волкодав, — зашипел Алигот-паша. — Сколько ты шуму наделал! Только и умеешь бахвалиться. Забыл, как у такого пса, как ты, не ягненок, а сераскир Алигот-паша все равно что пропал! Еще и пасть раскрывает, шайтаном ушибленный! Меня и убить могли у тебя на глазах. Уж ты бы несколько не помешал, помет ослиный! — паша разошелся не на шутку. — После ты еще мне ответишь и за потерянные камни, и за унижение, и за все беспокойства...

Надо все-таки отдать должное Алиготу-паше. Важный сановник испытал столько тревог, был на волоске от гибели, потерял великолепные драгоценности, однако проявил после этого гораздо больше кротости и терпения, чем это можно было ожидать от знатного крымского мурзы, попавшего в такие передраги. Он даже плетью никого не ударил, он не трогал Зарифа, пока тот не вызвал его раздражения глупыми своими высказываниями. Он не только не убил на месте, но и не стал истязать Кубати, что вообще следует поставить ему в огромную заслугу! Объяснять все это одними лишь его страхами и неуверенностью было бы, конечно, недостаточно. Бедняга Зариф, естественно, не понимал таких тонкостей. Он тоже не мог бесконечно сносить грубости — благородный как-никак! — и в неповоротливой его душе начинало прорастать семя недовольства и обиды. А тут еще и князь злобно выплюнул сквозь зубы:

— Скройся с глаз, гадюка!

Зариф скрылся с глаз, но про себя мстительно подумал: «Смотри, как бы тебе эта гадюка не ужалила когда-нибудь!»

Алигот-паша и пши Алигоко не успели еще обменяться и двумя словами, как услышали со стороны тропы топот множества конских копыт, а в чаще подлеска — и справа, и слева, и спереди — осторожный шорох раздвигаемых ветвей. Вот где она, гибель! Вот чего добился волкодав Зариф своим проклятым шумом!

— Эй! Тут их всего трое или четверо! — крикнул кто-то невидимый в нескольких шагах от них... Крикнул... по-татарски, с чисто крымским выговором.

— Пусть сами выходят! — ответил со стороны тропы чей-то начальственный голос.

— Эй! — прозвучал прежний голос. — Лучше сами выходите, а то...

— А кто вы такие? — громко спросил Алигот-паша, пытаясь за строгостью тона скрыть боязнь обмануться в радостном предчувствии.

— Ханские джигиты. И нас тут очень... — голос предводителя осекся. — О, аллах, правду ли говорят мои уши? Если правду, то мои недостойные глаза будут иметь счастье узреть сиятельного Алигота-пашу?

— Ты не ошибся, воин! — возликовал сераскир. — Давай скорей сюда своих олухов — тут у нас еще лежат связанные пленники!

Надежда, которая все эти дни ярко светила молодому Хатажукову, теперь стала медленно гаснуть, как блекнут и растворяются звезды и бездонной глубине рассветного неба.

Лежащий рядом Куанч застонал и очнулся.

Сквозь заросли хлынула к стоянке целая орда вооруженных до зубов крымцев.

* * *

В Сунджук-Кале Кубати сподобился чести узреть луноподобный лик самого Каплан-Гирея, только в этом году взошедшего на престол...

Известие о гибели алиготовской сотни быстро дошло до хана, и он, находясь в это время на кавказском берегу, приказал в кратчайший срок найти и доставить к нему сераскира вместе... «с тем самым пши».

У Алигота всю дорогу стучали зубы, темнело в глазах, его постоянно мучила неприятная болезнь живота — такое было бы с каждым, кого срочно вызвали бы к подножию трона! Однако, против ожидания, хан встретил оскандалившегося баскака довольно милостиво. Алигота не удавили шелковым шнурком, не посадили в клоповник и даже не послали присматривать за работами по очистке бахчисарайских нужников. Хан оказался настолько великодушным, что лишь собственной священной рукой три раза стегнул камчой расprostершегося у его ног пашу — и делу конец. Донельзя счастливому Алиготу, оставленному при своем бунчуке, высочайше затем позволили облобызать сапог властелина. О подобной награде трудно было и мечтать!

Еще больше повезло Шогенукову: рассказ о вероломстве князя — правителя Кабарды хан решил услышать из уст «главного свидетеля».

Теперь Алигот и Алигоко поняли, что резня на берегу Баксана состоялась как нельзя кстати. И тут Шогенукова осенило: он не промахнется, если скажет сейчас, что сын князя Кургоко у него в руках и что он, скромный пши осмеливается просить луноподобного (*«Солнцеподобным» был турецкий султан*) принять в виде пустячного подарка этого юношу, редкостного по красоте и наделенного небывалой силой.

Да, Шогенуков не промахнулся. Хан соизволил выразить интерес к наследнику пши Кургоко и повелел привести Кубати. Шогенуков бросился выполнять монаршую волю самолично. При выходе из большой, украшенной со сказочной роскошью, каюты (дело было на корабле, на котором хан собирался отплыть под утро к берегам Крыма) он наткнулся взглядом на выпученные от изумления глаза Алигота-паши. Глаза эти не сулили ничего хорошего в будущем: как посмел Вшиголовый скрыть от сераскира имя такого пленника! «Ладно, ладно, пучеглазый! — подумал Алигоко. — Потом как-нибудь договоримся».

И вот очень скоро Кубати, которого в считанные мгновения успели обрядить в новую черкеску, обуть в новые тляхстены (по всем правилам их влажными натянули на ноги, как чулки), Кубати, которому быстро побрили голову и подобрали на нее красивую шапку, взамен окровавленной и грязной, Кубати, которого ни о чем не предупреждали, втолкнули в ханскую каюту.

Увидев сидевшего на покрытом коврами возвышении человека средних лет в раззолоченных одеждах, Кубати вежливо, приложив правую руку к сердцу, поклонился. Краем глаза он заметил Алигота-пашу: сераскир заметно горбился, на морде — подобострастно-искательное выражение. Чуть позади и сбоку юноша чувствовал жаркое прерывистое дыхание Алигоко. По обеим от входа сторонам каюты стояли очень, вероятно, важные шишки — калги и нурадины, лица у них были настороженные, что-то выжидающие и лицемерно угодливые. Взоры

скромно потушены, но время от времени — зырк из-под внезапно приподнятых век, зырк! Ни одну мелочь не оставят без внимания!

Раззолоченный человек, сидевший напротив входа под четырьмя маленькими окошками кормовой стенки, мелко затряс редковолосой козлиной бороденкой — это он беззвучно смеялся.

— Гордый! — кивнув на Кубати, сказал он терпеливо-добродушным тоном. — Они все, черкесские пши, такие. А в этом, аллах свидетель, сразу видно породу — с ног до головы настоящий князь. Заметили? Поклонился он точно так же, как любому старшему по возрасту.

— Можно поучить его хорошему поведению! — высокий, более пышно, чем другие, одетый сановник выступил на один шаг вперед — это был начальник ханской охраны, любимец Каплан-Гирея (поэтому он и держался смелее других).

Хан только повел в сторону блеклыми невыразительными глазами — и самоуверенному вельможе пришлось замолчать и втянуть голову в плечи.

— Ничего, — вздохнул Каплан-Гирей, — будет служить у нас — станет более воспитанным. Вот как этот, — хан кивнул на Шогенукова.

Кубати отрицательно, но без вызова покачал головой.

— Мы у тебя не спрашиваем сейчас согласия, — чуть раздраженно сказал хан. — Посидишь до осени на весельной палубе нашего каика и подумаешь. Уведите. И без того мы потратили на этого юного гордеца слишком много слов.

Кубати увели, а Шогенуков получил в тот же вечер щедрые ханские дары. Князь ликовал, ему и не снилось распорядиться судьбой Кубати настолько выгодно. Еще по дороге к морю он разуверился в том, что сможет выпытать у парня тайну панциря. По всей вероятности, мальчишка и сам ничего не знает... Лишь одно обстоятельство удручало Алигото Вшиголового: придется сидеть в этом пыльном и вонючем приморском поселении все лето. Не сейчас хотят крымцы двинуть на Кабарду свое войско. Хан решил выждать, пока созреет и будет убран кабардинскими крестьянами урожай. Им пригодятся лишние запасы зерна, когда они двинут свои полчища на московитов.

Обиды и притязания Алигота мало беспокоили князя: «Ничего, пучеглазый! Как-нибудь договоримся. Не впервой дурить твою умную голову. Все равно на моей будешь арбе ехать и петь, сам того не зная, мою песню».

* * *

На весельной палубе — смрад и духота. Ряды гребцов — по четыре в каждом — терялись в сумраке низкого помещения. Кубати усадили на ближнюю к люку скамью, у прохода. Здесь одного гребца не хватало. Он покосился вправо, туда, где было вырублено окошко для тяжелого весла, и чуть не вскрикнул: в лицо ему грустно улыбался Куанч. Их разлучили еще утром. Значит, Шогенуков сегодня даром времени не терял.

Прямо напротив Кубати сидел лохматый и бородатый детина лет пятидесяти с пронзительно голубыми любопытными глазами и курносый носом. Когда он слегка повернулся и свалывшиеся русые патлы его волос чуть раздвинулись, Кубати заметил, что у мужчины нет одного уха, а левую щеку украшает диковинного вида шрам, похожий на кружок с хвостиком наверху.

На каждое весло приходилось по четыре гребца, сидящих попарно лицом друг к другу. От вделанных в пол колец шли цепи, которые прикреплялись к железному обручу, охватывавшему пояс гребца. Обруч состоял из двух половинок, которые складывались вместе и замыкались на ключ.

Скоро и Кубати был надежно приобщен к скамье, на которой ему предстояло и есть, и спать, и трудиться и поте лица, а отдыхать лишь при попутном ветре, когда судно шло под Парусами.

Надсмотрщик, огромный и толстый боров, щелкнул ключом и повесил его на связку у пояса, за который была заткнута тяжелая рукоять длиннейшего бича.

Кто-то швырнул сверху лохань с полупропеченным ячменным тестом. Боров-надсмотрщик отправился в дальний конец палубы раздавать еду.

— Уадыга? (*каб. — ты адыг?*) — спросил мужчина напротив, — Я так и думал. Кого только не перевидал тут. На всех языках научился болтать. И на черкесском тоже. Меня Жихарь ищут. Урус я. Этот, — он ткнул пальцем в Куанча, — малкар, я уже знаю. А ты откуда? Из Кабардея? Ага, понятно...

В это время надсмотрщик дошел до их ряда. Жихарь поставил ладони, и в руки ему шлепнулся комок теста.

— Эй, ты, держи! — рявкнул над ухом Кубати грубый голос. От этого — тоже равноправного детища рода человеческого — разлило потом, чесноком и гнилыми зубами.

Тесто упало Кубати на колени. Еще за мгновение до этого у пария и в мыслях ничего подобного не было, а тут он схватил тесто и с силой залепил глаза надсмотрщику. Не теряя времени, привстал, ухватил левой рукой за шею, рванул вниз, подхватил правой под челюсть и в загравке у борова что-то тихо хрустнуло, и он всей своей тяжелой тушей грохнулся на пол, растянулся в проходе.

Не зевал и Жихарь: связка с ключами оказалась у него руках еще, кажется, раньше, чем надсмотрщик упал. Нужные ключи Жихарь тоже отыскал быстро. Отомкнув свой пояс, Кубати и Куанча, бросил связку в проход.

Галерники шумно и глупо загалдели, к ключам потянулось сразу несколько рук.

На верхнюю, открытую, палубу выскочили без оглядки, неосторожно, как три джина из одной бутылки. Совсем не думали о стражниках, но беглецам повезло: караульные были в это время в другой части судна.

Кубати, теперь неслышно ступая, направился прямо к сходням. Еще не успев спуститься на причал, он заметил, что вся эта часть берега битком набита охранниками — было их десятка три, не меньше. Правда, службу они несли не слишком добросовестно. Некоторые спали, привалившись спинами к грудам каких-то мешков, трое сидящих ближе всех к кораблю, у небольшого костерка, играли в кости. А вот там, из-за кучи непонятного хлама, поднимаются в ночное небо тоненькие голубые дымки, отчетливо видные в лучах лунного света. Это несколько стражников предавались губительному пороку: курили гашиш.

Об отступлении не могло быть и речи. Кубати сделал знак товарищам и спокойным шагом человека, который знает, куда и зачем идет, зашагал мимо костра. Жихарь, едва ступив на твердую землю, закачался, как пьяный, и, наверное, упал бы, если б Куанч не поддержал его.

— Э?! — спросил один из стражников. — Куда это, а? Зашевелились и остальные.

Спасительная ложь прозвучала в устах Куанча так просто и естественно, словно была придумана заранее:

— Вот у этого, — он кивнул на пошатывающегося Жихаря, — чума началась. А мы с хакимом (*каб. — доктор*), — он кивнул на отлично одетого Кубати, — уводим его отсюда. Еще всех тут галерников заразит...

— О, аллах... — прошептал стражник и отскочил в сторону.

Его товарищи, сидевшие у костра, попятнулись на четвереньках в темноту, высоко задрав свои тугие зады.

Да и то — зрелище было впечатляющим: полуголый волосатый мужик с мутным взором и отвисшей челюстью, с непослушными ногами (еще бы, восемь лет не ступал на твердую землю!) — такой кого хочешь испугает. И вдруг этот мужик (он понял, какую игру ему надо играть) издает леденящий душу стон и закатывает глаза так, что видны одни лишь огромные белки с красными прожилками:

надо же, как удачно совпало, — он у самого костра все это проделал и его лицо было видно очень ясно.

Беглецы благополучно миновали охраняемую часть берега, и лишь тогда на судне замечались огни факелов, слышались крики, лязг металла, выстрелы — шум неизбежной свалки. Значит, толпа каторжников хлынула на палубу.

Судьба в эту ночь выкидывала кости для нашей троицы шестерками вверх. В конце темного переуллка, на выгоне, паслись стреноженные лошади. Тут же дремал под деревом, преклонив голову на седло, беспечный коновод — молодой парень в ветхой одежонке. Его быстро «стреножили» и заткнули рот полой собственного чекменя. Забрали валявшиеся тут же, на земле, уздечки.

Одного из коней Кубати оседлал и предложил Жихарю, уже вполне освоившемуся с земной твердью.

Скакали быстро, не останавливаясь почти до самого утра. Чтоб не загнать лошадей, Кубати иногда переходил на шаг. Перед рассветом свернули с дороги в лес и Кубати повел кавалькаду замысловатыми кривыми путями, чтоб сбить с толку возможную погоню.

Когда взошло солнце, они остановились в узкой лесистой лощинке, по дну которой протекал тихий ручей. Запаренных лошадей выходили, потом дали им напиться и привязали к деревьям. Куанч повалился на землю и тут же заснул.

Жихарю, зверски голодному и усталому, было все же не до сна. Воля, волюшка! Упоенный счастьем, он едва не прыгал, как дитя. Бегал босой по ручью, окунул голову в чистую воду, плескался. На солнечном склоне лощины он обнаружил густой малинник и с жадностью набросился на спелые ягоды. Принес целую пригоршню и Кубати, в задумчивости покусывавшему стебель травинки. И тут Жихарь вдруг успокоился и... заплакал.

* * *

В лето от Рождества Христова 1662-е некие воровитые людишки развешали в разных частях Москвы подметные письма. В сих пасквилях утверждалось, что бояре царские со всякими немцами стакнулись и хотят Москву продать. Вzbунтовались черные люди, к Кремлю пали: выдавай-де, царь-батюшка, дворян продажных. А великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец и многих государств, и земель восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель спешно в село Коломенское удалился и там во дворце заперся. Десять тысяч душ черного люда пришли в Коломенское и почти половина полегла там под картечью и саблями немецкого и стрелецкого корпусов. Все остальные были в железа взяты и судимы.

Сильно осерчал царь по прозвищу «Тишайший». Махал своими белыми ручками и топтал ножками. Еще две тысячи человек были повешены, обезглавлены, четвертованы. Остальных пощадили. Только уши бунтовщикам обрезали, да на левых щеках выжгли букву «б» и в Сибирь с семьями сослали. Мальчишкам от 12 до 14 лет отрезали по одному уху. Затесался среди этих мальчишек и Жихарь, сирота, в безвыходных крепях пребывавший у самого боярина Долгорукова.

В Сибирь он не попал, а вместе с несколькими Иванами, родства не помнящими, на Дикое поле побежал. Несколько лет спустя стал Жихарь вольным казаком веселого Стеньки Разина воинства. Ходил на стругах славного атамана в Персию, богатую добычу привез оттуда — на целый год хватило вина пить от пуза. Потом по Волге-матушке гулял. Брал и Астрахань, и Царицын, гулял и в Камышине, и в Саратове, и в Самаре. Под Симбирском на рожон наткнулись. Побил там боярин Барятинский бунтующей крестьянской голытьбы большие тыщи. Побежали казаки вниз по матушке, по Волге, а вдогон им плыли страшные плоты с висели-

цами, на которых горемыки несчастные гроздьями висели.

Стало после этого таять войско Степана Тимофеевича. Уж недолго оставалось атаману до того дня, когда в Кагальницком городке своя же казачья знать его схватит и в Москву потащит (в 1670 году).

Жихарь с частью казаков к запорожским сечевикам пробирался, да угодил в татарский полон. Двадцать лет ему тогда было. После этого вот уж тридцать седьмой год пошел, как он в неволе крымской. Последние восемь лет — к веслам прикованный.

* * *

Под вечер, когда поспали по очереди и Кубати и Жихарь, двинулись дальше, к маячившим в туманной дымке к величественным снежным горам. Голод все больше давал о себе знать, но никто не жаловался — мелочь!

Всю ночь ехали по-над краем лесистых предгорий, все так же держась в стороне от проходившей через селения дороги.

На рассвете устроили вторую стоянку. Умылись, попили воды.

Хорошо бы сейчас хоть табачку, — мечтательно сказал Жихарь.

— Не-е-ет! — покачал головой Куанч. — Сейчас бы кусок мяса и чашечку айрана.

— Оружие нам надо, вот что! — тоном старшего заявил Кубати. — А то едем, как без штанов. Цыпленок попадется — даже зарезать нечем. Без седел тоже плохо. У нас одно всего...

Жихарь вдруг расхохотался:

— «Чумой заболел!» От умора!

Кубати ласково шлепнул Куанча по затылку:

— Он у нас молодец! Куанч горестно вздохнул:

Молодец, молодец... а Емуза убили... В этом ты не виноват, — строго сказал Кубати. — И не горюй. Он как мужчина погиб.

Куанч отвернулся. Со страхом он думал о судьбе Канболета. Что, если тоже погиб? Наверное... А кунаку наплел он, будто рана пустяковая, будто Канболет и трех дней не пролежит... Вот горе-то!

— А долго нам еще бегать? — спросил Жихарь.

— Еще одна такая ночь, — ответил Кубати, — и мы в безопасности. Тогда езжай в любой дом и отдыхай спокойно. Татар в этой местности уже не будет. Крепко их напугал князь Кургоко...

В безопасности они оказались раньше, чем думал молодой Хатажуков.

Пониже того места, где устроилась тройка наших доблестных джигитов, за чащей кустарника виднелась продолговатая поляна. Десятка два всадников вынырнули из леса и крупной рысью стали пересекать поляну с юга на север. Кубати напряженно всмотрелся — нет, не татары — и вдруг резко вскочил на ноги и крикнул во всю мощь своих богатырских легких:

— Канболе-е-ет!

Всадник, скакавший впереди, резко осадил коня и повернул голову на крик.

* * *

На поляне весело потрескивал костер. Жихарь от души резвился среди огромных кусков вяленой говядины, кругов копченого сыра и кувшинов с махсымой. Кубати и Куанч уже насытились — им, как и подобает горцам, нужно было немного.

Теперь они сидели вчетвером под старой дикой яблоней и тихо беседовали. Четвертым был человек возраста Канболета со страшным вдавленным рубцом на

виске, доходившим до глаза. Вернее, надо было сказать, до бывшего правого глаза. Канболет представил его:

— Это Нартшу. Мы с ним вместе еще в юности участвовали в кое-каких небольших стычках.

Нартшу буркнул что-то невнятное, но его единственный глаз смотрел на Канболета с восторженной влюбленностью.

— Здесь все люди — его люди, — продолжал Канболет. — Это свободные джигиты. Вы понимаете. Нартшу появился там... на Шеджеме, когда я, как последний лентяй, еще пролеживал бока под присмотром Нальжан. Вот он по-дружески и предложил мне заняться розыском моего непутевого кана, который стал мне доставлять слишком много хлопот в последнее время. Скорей бы уж сбыть его в отцовские руки и вздохнуть свободно, — Канболет дернул Кубати за ухо. — Но панцирь! Где же он? Ты говоришь, дружище Куанч, что в ту ночь его спрятал в расщелине, как и раньше, а он непонятно куда исчез.

— Клянусь, Канболет! Сам дурную свою башку чуть не поломал. Ничего не понимаю. Колдовство, что ли?

— Ну, нет! В колдовство я не верю. Люди иногда выдумывают вещи позагадочнее любого колдовства. Пошарим еще в том месте. Хорошенько пошарим...

Кубати скакал почти рядом (позади на полкорпуса) с Канболетом и чувствовал себя на вершине блаженства: хороший конь, отличное кабардинское седло — самое удобное в мире, на поясе наконец-то кинжал. И кинжал просто роскошный! Это подарок Нартшу. Увидев столько золота на ножнах и рукояти, Кубати смущенно попросил «что-нибудь» попроще, но одноглазый абрек, человек очень милый и душевный, только рассмеялся:

— Бери. Тебе попроще нельзя. Теперь ты самого Каплана любимый приятель.

На одном из привалов Кубати спросил потихоньку у аталыка — тот был сильно похудевшим и бледным:

— Рана была большая? Еще не совсем зажила? Тузаров помолчал немного, затем ответил:

— Была... Да что толковать о таких пустяках. Раны у нас еще будут. Сами себе такую жизнь выбрали... А уж если на белом коне поедешь, то и белый волос на себе привезешь. А ты слышал, что отец твой с алиготовской охраной сделал? Не знаю, какого цвета коня прищипорил Кургоко, но скакун этот опасный...

— Я услышал об этом от тех крымцев, которые Алигота разыскивали. А Шогенуков не сказал мне ни слова. Сам сераскир тоже не обмолвился.

— У-о-о! Шогенуков, Шогенуков... И как же я отпустил его тогда, на берегу Тэрча!

* * *

В ущелье Бедыка надолго задерживаться не пришлось. Куанч показал расщелину и скале, где прятал панцирь на ночь, показал и укромное место в сотне шагов, где он спал. И тогда начались поиски, в которых участвовали все. Осмотрели каждую пядь земли на довольно большом участке леса, а разгадку нашел Нартшу возле самой скалы.

— Смотри, Канболет, интересные дырочки в земле, правда? Как будто наконецником копыа сделаны.

— Я вижу, ну и что же? — заинтересовался Тузаров.

— А то, что я знаю человека, чей посох оставляет в земле точно такие же дырочки.

ХАБАР ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ,
*убеждающий в многозначительности того изречения,
которое гласит: «Для того, чтобы подняться ввысь,
птице нужны крылья, а человеку — разум»*

Старик Иуан сидел на куче старых овчин, заменявших ему постель, и медленно раскачивался из стороны в сторону. Его тоскливые глаза под белыми лохматыми бровями блуждали по стенам просторной и сухой пещеры. Довольно широкий ее вход был обращен к южной стороне, потому внутри было светло. По ночам этот вход старик занавешивал тяжелыми бычьими шкурами. В одну из наклонных стенок, в каменную трещину, был вбит массивный железный крюк. На нем сейчас висела часть кабаньей туши и коптилась над дымным костерком. Пахло (кроме дыма и мяса) ароматными засушенными травами.

Перед стариком лежала толстая растрепанная книга с побуревшими страницами, чуть поодаль воткнут в земляной пол длинный посох, в верхней части которого была крестообразующая перекладина.

Долгие часы одиночества приучили Иуана к беседам с самим собой. Чаще всего он бормотал что-то невнятное, а иногда его взор загорался, и старик начинал вещать со страстью проповедника, вскрикивая и размахивая руками.

Сейчас он бережно перебирал ветхие страницы книги.

«Во всей Кабарде одна, наверное, осталась... Да и мне она стала совсем недоступна. И раньше я был не силен в русской грамоте, а теперь забыл и то, что знал в свое время. Когда же это было? Вот, помню, русские послы ходили к Курджий. Через балкарское племя Бахсанчилыла они шли. Провожал я их до перевала Донгуз-Орун-Баши... *(Это русское посольство направлялось через Кабарду и Балкарию в Грузию в 1650 году)* — Старик задумался. — Молод я еще был тогда: еще и полувека не прожил. Вот Библию мне в то время и подарили эти русские... — дед перекрестился по старообрядчески — двумя перстами. — Ох-хо-хо... (Хоть молитвы еще некоторые помню).

Потом на старика, видно, накатило другое воспоминание, и он затянул тонким голосом нечто совсем не божественное:

*Моя сабля, ой, дуне-е-ей,
Словно зуб собаки...*

— Как там дальше?.. — старик покачал головой и тяжело вздохнул. Он долго думал, забрав в кулак свою ключкастую бороду, и наконец вспомнил еще один отрывок из песни:

*Ой, дуней, да есть у нас
Сын Химиша Батараз,
Чьи усы как семь колбас,
А тело... а тело...*

Старик снова осекся.

— Совсем голова дырявая стала. Что же там этот, Батараз?..

Потом он опять полистал немного Библию и спрятал ее под овчинами. «Сходить, что ли, к Дигулипх? Ходить-то теперь стало опасно. Татары попадают на каждом шагу. Язычников пока терпят, а меня не помилуют».

— ...Еще тыщу и еще полтыщи лет назад, — тоном ученого рассказчика заговорил старик, — султан *(Конечно, не султан, а император)* Диоклетиан преследовал, пытал и казнил христиан. И служил у него соглядатай по имени Спийон Подлеций, от чьего зоркого ока мудрено было укрыться. Ныне означенный Спийон

Подлеций служит султану Ахмеду и хану Каплану. И будет он так же служить и другим владыкам, выискивая инакомыслящих в течение еще одной восьмой тысячелетия... И можно бы избавиться от бессмертного соглядата, да вот... нельзя. Всем людям и вождям их надо бы дружно ополчиться, но не могут они.

Старик подумал и выкрикнул со злостью, по-русски:

— Промеж их бысть пря! — и, укоризненно покачав головой, добавил:

— Яко бестие, но не яко человеци...

Кто-то вдруг появился в проеме пещеры.

— Мир этому дому!

Глубокие морщины на впалых щеках старика слегка разгладились:

— У-о-о! Кто ко мне пожаловал! Это ты, Нартшу, безбожник легкомысленный?

— Да, да, отец! — весело усмехнулся гость. — Это я, твой старый друг Нартшу. Первый безбожник пришел к последнему шогену.

— Не кощунствуй! Бог накажет.

— Страшнее, чем люди, никто не накажет.

— Да уйми ты язык свой! — рассердился шоген. — А то я тебя палкой!

— Шогеновским посохом?! — с притворным ужасом спросил Нартшу.

Старик хотел было дать волю своему гневу, но то ли вспомнил о приличествующих духовному пастырю терпению и кротости, то ли от внезапной перемены настроения, он устало махнул рукой.

— Спорить с тобой... — Иуан встал и пошел навстречу гостю. — Заходи, садись. Не побрезгуй моей нищенской шуг-пастой.

— Я тут не один, а с друзьями. — Нартшу вошел в пещеру, а старик увидел в нескольких шагах от входа двух молодых парней и одного мужчину лет тридцати. — Только им не всякая шуг-паста по вкусу, хотя она и пахнет так соблазнительно, — Нартшу кивнул головой на коптящуюся кабанятину.

— Ага, мусульмане, значит, — чуть слышно пробормотал шоген, а затем сказал уже погромче:

— Ничего, у меня еще коза есть, вон там, на лужайке пасется.

— Коза тебе, дорогой хозяин, еще пригодится — не оставаться же старому человеку без молока. А мы тут нескольких баранов пригнали. Оставим их здесь. Одного только зарежем.

— Балуешь ты старика Иуана...

Оживленный, но полный достоинства шоген вышел из пещеры и величавым жестом пригласил Канболета, Кубати и Куанча в свое жилище. Сделал он это так, словно обитал не в горной пещере, а в богатом княжеском доме.

Обоих молодых старик знал, но не выдал себя — может, эти люди желают остаться неизвестными?

И Кубати узнал старика: совсем немного времени прошло с тех пор, как видел его возле «сукообразного» камня. Еще мясо убитого кабана, как отметил про себя Кубати, не успело закоптиться. Он, конечно, не подозревал, что старик тоже его видел, но позже, на берегу Бедыка, с колодкой на ноге. Там же «последний шоген» с любопытством наблюдал из кустарниковой чащи за хитрыми проделками Куанча. И вот когда этот балкарский парнишка исчез куда-то, чтобы устроиться на ночлег, а Вшиголовый полез на обрыв, тогда старик решил забрать панцирь и унести к себе: крикливый татарин и злобный князь всколыхнули в его душе враждебные чувства, а пленник в колодке вызвал сострадание.

После неторопливой трапезы старик уже готовился рассказать о своем подвиге и торжественно вручить джигитам панцирь, как вдруг услышал спокойный вопрос Нартшу:

— А ты знаешь, уважаемый шоген, что хозяин той блестящей стали, которую ты унес из-под носа Алигоко Вшиголового, сидит с тобой рядом?

Старик в изумлении приоткрыл рот и перевел взгляд с Нартшу на Канболета.

— Вам что, бог помогает? Как вы догадались?

Нартшу рассмеялся:

— Нам твой посох помог.

Старик поднялся с места, выдернул посох из земли, воткнул снова и, покачивая головой, направился в темный угол пещеры. Там он раскидал какое-то тряпье и вытащил панцирь.

— Вот он, возьмите...

— Уж и не знаю, чем отплатить тебе, добрый человек за твою услугу, — мягко прогудел могучий бас Канболета.

— Мне по моим заслугам бог воздаст, — смиренно ответил шоген и перекрестился.

— А я думаю, если воздают люди, это, пожалуй, надежнее, — возразил Нартшу.

— Как опрометчивы твои слова! — со стоном воскликнул старый отшельник. — Ведь все сущее на земле носит признак промысла божьего. Неужели вам неясно, что в этом мире ничего не происходит без Его воли и ведома! И каждый — будь то язычник, мусульманин или приверженец единственно истинной религии — религии Ауса Герга — получит свое!

— Любая религия считает себя истинно верной, — вмешался Канболет. — Вот и муллы говорят, что в мире нашем ничего не делается без волеизъявления аллаха. А велика ли разница между христианской и мусульманской верой?

— Прости его, господи! — испугался шоген. — Он сам не ведает, что говорит. Канболет добродушно усмехнулся:

— Ведаю. А скажи мне, уважаемый христианский мулла, говорится ли в вашем священном китабе, что все иноверцы будут жестоко наказаны?

— Говорится... — слегка растерялся шоген.

— Вот и в Коране говорится: «Не раз пожалеют неверные, что они не сделались мусульманами». Для всех для них уготовано место в аду, не так ли? Спрошу еще: кому ваша религия обещает рай на том свете — самым набожным, самым богобоязненным, правда?

— Правда...

— А теперь я тебе скажу еще один аят из Корана: «Самый достойный перед господином и среди вас тот, кто питает особенно сильный страх божий».

Иуан угрюмо молчал. Он сейчас не чувствовал в себе привычного в прежние времена стремления доказывать свою правоту, убеждать, вести благочестивый спор. Сейчас он думал о том, что вот уйдут гости, и разум его снова зашатается, как одинокое деревце на ветру, и не будет больше ни сил, ни желания воспарить усталым своим умом ввысь, подняться над горами и долинами, окинуть мир пронзительным ясновидящим взором. Да и обладал ли он когда-нибудь крылатым разумом? Видел ли то, чего не видели до него другие? Сумел ли сказать людям слово новое?

А Канболет находил все новые «родственные» черты между разными религиями.

— Христиане ходили военными походами на мусульман с именем бога на устах и крестами на знаменах. Мусульмане тоже не оставались в долгу: объявляли священные войны — джихад или газават — и тоже проливали кровь с именем своего бога на устах. И те и другие, считалось, творили богоугодное дело, когда убивали, жгли, грабили. И те и другие кричали, что действуют во имя истинной веры, во славу господина бога, но при этом не забывали и о себе: награду в виде чужих земель, чужого богатства они хотели получить не на том свете, а здесь, на грешной земле...

— Не надо, — устало попросил шоген. — Хватит. Мне подумать надо. Приезжай как-нибудь еще, тогда и поспорим.

— Хорошо, — согласился Тузаров, — а то я и в самом деле не в меру разболтался.

На прощание Канболет и Нартшу подарили хозяину пещеры новую добротную бурку.

Шоген благодарно кивнул головой, но подумал тоскливо: «Зачем мне эта бурка? Я умру скоро...»

Недалеко от моста через Чегем, уже восстановленного односельчанами Емуза, распрощались с Нартшу.

— Где тебя искать, если надо будет? — спросил Канболет.

Нартшу загадочно улыбнулся:

— Если надо будет, я всегда найдусь сам. Тебя, Тузаров, я больше никогда из виду не потеряю. А теперь поеду. Мои шалопаи ждут меня. — Он приветливо посмотрел единственным своим глазом на Кубати и Куанча. — Больше не играйте в чен (*каб. — игра в альчики*) с Алиготом. Второй раз это может плохо кончиться. А за своего русского казака не беспокойтесь. Он теперь наш товарищ. Ему у нас нравится, да и деваться этому Жарыче (*каб. — Нартшу намеренно искажил русское слово Жихарь и получилось «отбегавшийся»*) больше некуда. — Нартшу поднял коня на дыбы, развернул его на месте и поскакал в лес.

— Удачи тебе! — прогремел вслед Нартшу медвежий рев Канболета.

Солнце клонилось к закату...

* * *

Нальжан и Сана жили надеждами на возвращение «друзей Псатына», как они стали между собой называть наших героев. После отъезда Канболета они снова перебрались в свой дом и уже успели придать ему уютный вид. В хачеше все блестело чистотой — и висевшее по стенам оружие Емуза, и посуда, и большой медный котел над очагом, где были сложены сухие дрова, готовые в любое время вспыхнуть ярким гостеприимным пламенем.

Тлхукотли из соседнего коаже, попеременно сменяясь, несли охрану дома, делая это ненавязчиво, почти незаметно для хозяек. Они же и коней выгуливали.

Частенько навевывалась бойкая разговорчивая Хадыжа. Она умела отвлечь Сану и Нальжан от грустных размышлений и даже смешила их веселыми былями и небылицами.

Разговоров о том, что будет после приезда «друзей Псатына» (если они и в самом деле приедут), избегали. Пока лишь молили всех богов, имена которых когда-либо слышали, чтоб только «славные эти джигиты» остались целыми и невредимыми. Сана украдкой гадала на ножницах, пытаясь по звуку сдвигаемых колец угадать свою судьбу. Ничего определенного она так и не смогла услышать: только тихий скрежещущий скрип да короткий лязг, вызывающий в ее памяти жуткий блеск обнаженных клинков.

Нальжан знала, что по сравнению с племянницей ее можно считать почти счастливой, и потому она чувствовала себя виноватой перед «бедной девчушкой» и снова, как это бывало и раньше, старалась носить на лице маску излишне суровой невозмутимости. А пока и Нальжан и Сана ложились спать и вставали утром с одной и той же мечтой: вот прогрехочет по жердевому настилу моста дюжина конских копыт, и еще издали узнают они и гордого Канболета, и могучего юношу Кубати, и веселого, доброго Куанча...

И вот, гораздо раньше, чем они ожидали, прогрехотала — не дюжина, а, наоборот, дюжина дюжин подкованных копыт по настилу моста и еще издали они узнали в одном из всадников Джабаги из Казанокее. Все остальные были незна-

комые.

Сам по себе Джабаги был бы, разумеется, приятным и желанным гостем, но сегодня он сопровождал лицо более важное — Кургоко Хатажукова. С молодой хозяйкой дома и ее юной племянницей князь-правитель беседовал мягко и приветливо, но лишь закончил разговор, помрачнел снова.

Весть о новом разбое предателя Шогенукова, о похищении Кубати — уже почти обретенного сына — дошла, конечно, до Кургоко, но позже, чем до самого последнего пшителя Кабарды. Дело в том, что больший князь ездил в это время в Терский городок — бревенчатый оплот русской державы в устье Тэрча. Он рассказывал тамошнему воеводе о стычке с ханским сераскиром и просил поддержки на случай неизбежной теперь войны с крымцами. Однако союзники до сих пор еще переживали последствия недавнего бунта стрельцов и солдат в Астрахани. Просил Кургоко русских фузей и пищалей, огнестрельного зелья и хотя бы одну пушку, но и в этом ему было отказано. Воевода пытался утешить кабардинского князя тем, что подарил ему шубу и шапку на куньем меху.

Понял Кургоко: рассчитывать придется только на себя. Уже в Малой, а затем и в Большой Кабарде встречался с некоторыми князьями, разговаривал с ними необычно строго, убеждал забыть хотя бы на время их вечные дразги. Кажется, удалось преуспеть в этом. Джабаги — «молодой старейшина» — немалую помощь оказал. Умеет он сказать нужное слово в самый нужный момент. Боятся и уорки и князья именитые острого казаноковского языка.

Теперь вот приехал Кургоко к дому бедного Емуза уже наконец по своим делам — семейным. Узнать хотел подробности о разбойном нападении, прежде чем двинуться с небольшим отрядом к северо-западным пределам Кабарды. Может быть, удастся там что-нибудь выяснить, а даст аллах, так и предпринять...

Солнце клонилось к закату. Правый склон ущелья — здесь он весь день бывает в тени — на короткое время ожил под теплым золотисто-оранжевым светом, затем быстро потускнел и снова — уже одновременно с левым склоном — оделся тенью, только теперь не дневной, а сумрачной, которая размывает очертания деревьев с их кружевными контурами кудрявых крон, сглаживает причудливую вычурность скалистых утесов и до утра гасит яркое многоцветье всей земли. На пока еще светло-сером, а там где недавно зашло солнце розоватом, небе начали робко пробуждаться к жизни едва заметные звездочки. Травы к вечеру стали пахнуть так одуряюще свежо и сильно, словно это был последний вечер их полнокровной жизни. Ворчащий говор реки зазвучал громче, увереннее, а близость ее стала чувствоваться всей кожей. Чуть повыше емузовского дома на полянку осторожно вышел табунчик диких кабанов. Но вот крупная свиноматка, первой учуяв запах множества двуногих и четвероногих чуждых ей тварей, громко фыркнула и снова скрылась в лесной чаще, увлекая за собой всю свою стаю...

В наступившей темноте все ярче разгорались костры, разведенные людьми Хатажукова. Сам он, озабоченный и угрюмый, сидел в хачеше и протягивал к очагу холодные руки. Последние дни князя все время знобило, на лбу то и дело выступал холодный пот.

На правах друга осиротевшего дома Джабаги взялся за исполнение обязанностей хозяина. Несколько мужчин и молодых парней из селения с готовностью стали помогать ему и Нальжан, хлопотавшей под навесом кухни.

Сана двигалась как во сне. Руки ее и ноги жили, казалось, совсем отдельной, самостоятельной жизнью. Когда она увидела князя, в ее душе заколосилось что-то и рухнуло. Девушка опять, как и в день гибели отца, почувствовала себя повзрослевшей сразу на несколько лет. Вид князя вызвал в ней непонятный страх. Нет, она не человека этого испугалась, а чего-то другого, более страшного и тесно с ним, с отцом Кубати, связанного. Сначала она действительно не поняла, что с ней

творится, а сейчас вот все ей стало яснее ясного. И Сана решила: вернется Кубати или нет, а она его не должна больше видеть. Так будет лучше.

Но что случилось с ее теткой? Нальжан широко раскрытыми глазами уставилась поверх головы Саны в глубину двора и вдруг побледнела, пошатнулась и чуть не села в таз с неостывшей пастой. Сана обернулась: к ним шел своей легкой, на первый взгляд неторопливой, а на самом деле быстрой поступью... Канболет. За ним почти вприпрыжку — плутовато ухмыляющийся Куанч. Теперь и Сана побледнела, а затем залилась краской. Но где же Кубати? Этот же вопрос, но только вслух задала Нальжан.

— Здесь он, неподалеку, — зачем-то шепотом ответил Канболет. — Не беспокойтесь, все хорошо. — Кивнул головой в сторону хачеша, спросил:

— Сидит, а?

— Сидит. Пойдешь к нему?

— Да.

— А как же мальчика нашел?

— Он сам нашелся. Этот мальчик еще всем покажет. Правда, красавица? — спросил он Сану.

Вконец смущенная девушка закрыла лицо ладонями и побежала в сад.

— Передай поклон Семи Братьям, — ласково прогудел ей вслед Кубати. Настроение у него сейчас было бесшабашно-игривое, как у легкомысленного юнца.

— Нальжа-а-ан! — раздался сбоку жалобный голос — А что, Куанч не человек, что ли? Вот не буду тебе ничего рассказывать!

— Ах ты, мой хороший! — она ласково тряхнула его за плечо, и Куанч едва устоял на ногах. — Да глаз ты моих отрада! Ведь если бы вместо тебя сейчас тут стоял Кубати, я бы только о тебе и спрашивала.

— Ладно! — расплылся в счастливой улыбке Куанч. — Все буду тебе рассказывать.

— Мы с тобой, дружище Эммечь, тоже поговорим. Только попозже. — На губах Канболета промелькнула чуть виноватая застенчивая улыбка. — Пойду я.

— Иди, иди, сын Тузарова. А я здесь буду, — в голосе Нальжан прозвучали решительные нотки.

Канболет перешагнул порог гостевой комнаты и остановился у входа.

— Гупмахо ашши! *(каб. — Да будет счастье доброй компании!)* — поприветствовал он собравшихся, стараясь не слишком громыхать своим басом.

Кургоко чуть вздрогнул, рука его непроизвольно потянулась к чаше, которую он сразу же подал Джабаги, а тот в свою очередь протянул ее Тузарову. Канболет выпил пряную махсыму, подождал, пока «кравчий» наполнил чашу снова, и с поклоном вернул ее Казанокону. От Казаноконна она пошла по назначению дальше, и круг замкнулся на тхаме — старшем, затем воцарилось напряженное молчание. Князь вперил свой тяжелый, исподлобья взгляд прямо в глаза Канболета. Тузаров спокойно, без вызова этот взгляд выдержал. Джабаги не без некоторого волнения (впрочем, тщательно скрываемого) посматривал то на Хатажукова, то на Тузарова. Сейчас Джабаги подумывал, не нарушить ли молчание первому и не назвать ли имя нового гостя. И то и другое, конечно, против обычая, но Казанокону приходилось порой отступать и от более неукоснительных правил: бывали такие случаи, когда интересы дела оказывались поважнее, чем соблюдение каких-то тонкостей из адыге хабзе.

Но вот Кургоко сам вывел Джабаги из трудного положения:

— Таким, значит, стал сын Каральби... — Ни Джабаги, ни Канболет никак не ожидали, что князь сам узнает (или угадает), с кем имеет дело. — А видел я тебя совсем мальчишкой еще. Какое слово у тебя есть ко мне? Я готов выслушать. Только не стой там в дверях, садись.

— Прежде чем сесть, — начал Канболет, — я скажу то, что тебя, светлый

князь, сейчас больше всего интересуется: сын твой жив, не ранен, свободен. И он так близко, что может легко услышать мой зов.

Джабаги заметил, как у князя перехватило дыхание. Кургоко чуть торопливей, чем следовало, взял чашу и отхлебнул из нее.

— Ну, твой голос, Тузаров, можно услышать и с границ Малой Кабарды.

Все, кроме Канболета и самого князя, сдержанно рассмеялись.

— Давно я не был у этих границ, — сказал Канболет нарочито равнодушным тоном.

— Хочешь услышать от Хатажукова, считает ли он тебя виноватым в том, что ты давно не бывал на родном берегу?

Канболет молчал.

— Скажу тебе прямо: я верю, что не ты был зачинщиком. Верю, что раньше погиб твой отец, а уже после — мой брат Мухамед. Но мне очень трудно поверить в то, что Мухамед, каким бы он не был необузданным, убил Исмаила.

— Это видел Кубати. Он подтвердит.

— Мне хотелось бы услышать подтверждение и от... Шогенукова.

— Примешь ли, светлый князь, мою клятву, что я приведу тебе этого предателя на аркане, если только он не потеряет свою вшивую голову до встречи со мной? Ведь, в сущности, смерть твоих братьев и моего отца — на его совести.

— Да... подстрекательство опаснее клинка и пули... И еще скажу тебе, смело смотрящему в глаза старших: мое доверие или недоверие, мои добрые чувства или недобрые, пока я до конца не разберусь в этой истории, не будут руководить моими поступками, — и, обращаясь вполголоса к Джабаги, — хорош я был бы сейчас, подавая пример любителям искать шерсть в яйце... Это накануне татарского набега...

Джабаги сверкнул радостной белозубой улыбкой:

— Хочешь сказать, чтоб аталык позвал своего кана?

— Считаю, что сказал.

Канболет вышел на порог и крикнул:

— Кубати-и!

Лошади на дворе вздрогнули, а где-то в темноте, со стороны моста, послышался drobный цокот копыт.

Тузаров, не останавливаясь теперь у двери, вошел снова в хачеш, приблизился к самому очагу и сел на место, предложенное ему еще в начале встречи с Кургоко.

И снова стало тихо. Только на этот раз молчание было не таким, как во время первого появления Канболета. Все замерли в ожидании события, которое все еще казалось несбыточным.

У входа раздались звуки быстрых шагов, и в дверном проеме возник юноша. Его большие черные глаза, по-взрослому умные, но и по-детски доверчивые, обвели взглядом всех присутствующих и остановились на Хатажукове.

Князь встал из-за своего столика-трехножки:

— Подойди-ка поближе, маленький мальчик.

Кубати подошел. Он был ростом с отца. Хатажуков положил руку на плечо сына и, обратившись к Тузарову, спросил:

— Надеюсь, без подмены? — тут впервые улыбка озарила хмурое лицо князя.

Кубати ткнулся лбом в отцовскую грудь. Кургоко провел ладонью по его затылку:

— Ну иди, постой возле аталыка. Ты пока еще не у себя дома, — он сел поудобнее на скамью и громко сказал:

— Будем делать все, как полагается по нашим обычаям. Аталык сам доставит своего кана в отчий дом. Устроим праздник. На восходе луны я уезжаю. А ты,

мой брат Джабаги, останься. Подождите один день, а на следующий трогайтесь в путь вместе с Тузаровым и его воспитанником. А сейчас пейте да слушайте повнимательнее Каральбиева сына, который не откажется, наверное, рассказать нам о последних событиях.

* * *

...Кубати придерживал стремя, когда отец садился на коня. Хатажукову захотелось услышать хоть несколько слов от сына.

— Скажи мне, маленький мальчик, — тихо спросил он, — ты, может быть, понял там из разных разговоров, когда крымцы думают начать набег?

Кубати ответил деловито, без колебаний:

— Как только наши земледельцы закончат жатву.

Хатажуков понимающе кивнул головой и, кажется, хотел сказать что-то еще, но тут подошел Канболет с панцирем в руках:

— Это, мой уважаемый князь, тот самый... Бесценный и злополучный. — Панцирь и в лунном свете сиял загадочно и маняще, мягко искрился голубыми отблесками.

— Тот самый? Понятно теперь: от такого булата заболит голова у кого угодно. Даже если она и не покрыта паршой, как у моего приятеля Алигоко.

— А я буду рад от него избавиться, Кургоко. Возьми наконец эту бору маису и сделай так, как вы еще с моим отцом договаривались. Пусть панцирь достанется победителю на праздничных игрищах.

— Тогда он все равно достанется тебе, — усмехнулся Кургоко.

— Нет. Его получит наш мальчик. А я и участвовать в состязаниях не буду.

— Если ты еще слаб после ранения, мы можем устроить игрища попозже.

— Да воздастся тебе за твою справедливость, светлый князь, но я не по слабости отказываюсь состязаться.

— А почему же?

— Я хочу, чтобы панцирем владел этот — отойди-ка в сторонку, кан, не слушай — этот замечательный юноша. Если бы панцирь считался моим, я бы все равно надел бы его на Кубати в день возвращения парня в отчий дом... — Канболет вложил панцирь в кожаный нед и приторочил к седлу Хатажукова. — Больше никому не могу доверить. У-ух! Избавился.

— Ты не алчен и не завистлив... — медленно проговорил князь.

— Отец мой был таким... Счастливой дороги, добрый Кургоко!

— Жду вас, как договорились.

Хатажуков уехал, оставив из своей свиты десятка полтора всадников для почетного сопровождения в послезавтрашней поездке Джабаги, Канболета и Кубати.

* * *

В углу сада, возле емузовской кузни сидел под опрокинутой плетеной корзиной-сапеткой заметно повзрослевший зайчонок и с увлечением похрустывал свежесрезанной травкой. Кубати пришел сюда еще до рассвета и терпеливо поджидал Сану.

Солнце уже взошло и успело не только подняться над лесистой кромкой ко-согора по ту сторону долины, но и выпить на этой освещенной стороне обильную росу. Скоро послышался стрекот кузнечиков, а над венчиками луговых цветов за-жужжали хлопотливые пчелы.

Девушка все не появлялась.

«Она обязательно должна прийти, — уговаривал себя парень. — Не может

ведь забыть про своего... зайца! — Кубати подсунул руку под сапетку и осторожно дотронулся до пушистого зверька. — Уо-о, братишка! В один день и в один час взяли нас с тобой в плен. И почему я не оказался на твоём месте?.. В таком плену сидел бы всю жизнь...»

Кубати резво поднялся с чинарового чурбака, на котором сидел все утро, и вдруг почувствовал странную слабость в ногах: Сана подошла почти бесшумно и потому совсем неожиданно, хотя Кубати только ее и ждал.

— А-а, это ты? — очень уж не к месту спросил он. — Ну как... ты...

Девушка и сама была немало смущена, когда только увидела Кубати, но его забавно растерянный вид, его тихий и даже чуть дрожащий голос вернули девушке смелость и невозмутимость истинной горянки, всегда готовой со скромным, но гордым достоинством ответить на любое обращенное к ней слово.

— Да, это я. И в этом нет сомнения даже у моего зайчонка. — Сана приподняла корзинку и взяла своего подопечного на руки.

— Я ему завидовал сейчас, твоему зверю. — Кубати начал с трудом преодолевать застенчивость. — Мне бы такую хозяйку.

— Таких хозяек, как я, у князей не бывает, — многозначительным тоном ответила Сана.

— Почему?

— Таких как я, князя просто крадут, а потом, потешив сердце, продают татарам на берегу Псыжа.

— Никогда не думал, вот ну никак не думал, чтоб такие слова, такие жестокие слова...

Сана, кажется, поняла, что всерьез обидела парня:

— Я ведь не о тебе сказала такие слова...

— Но я не хочу равняться с теми, про кого можно так говорить. Или хотя бы думать.

— Тебя другие приравняют. — Сана опустила зайчонка на землю, и тот, неторопливо вскидывая задом, направился в сторону леса.

— Ты его отпускаешь? — спросил Кубати.

— Да. Скоро он, как и ты, станет взрослым. И свободным. Но совсем не как ты, а по-настоящему.

— А разве я не могу быть по-настоящему свободным? — Кубати отлично понимал, какую несвободу имеет в виду Сана, но ему хотелось с ней спорить, говорить, убеждать в чем-то...

— Никто не может. А юноши, имеющие таких отцов, как у тебя, тем паче.

Кубати долго молчал, растирая в пальцах пахучие листочки сливы.

— Какому отцу может мир показаться тесным из-за такой девушки... — еле слышно прошептал Кубати. Про себя он с тревогой подумал о том, что эта девушка ему роднее и дороже, чем собственный отец.

— Сказать можно что хочешь...

— Нет, нельзя. Я вот, если бы мог — и если б ты захотела выслушать, — сказал бы столько хороших и высоких слов, сколько звезд сияет на Пути Всадника (*Млечный Путь*).

Сана слегка зарделась, но вот ресницы ее глаз вздрогнули, и сегодня впервые девушка посмотрела на Кубати, встретившись с ним на какой-то почти неуловимый миг взглядами. И как же много увидел радостно потрясенный юноша в этих чудных глазах — живых и ясных, готовых вместить в себя любой величины доброту, любой огромности преданность, любой глубины чувство! Сам он теперь ничего не мог, да и не хотел говорить. Сейчас можно было бы только петь, если б... можно было... А так приходилось стоять, захлебнувшись волной внезапного счастья, и не зная, что делать дальше.

Выход из затруднительного положения нашла, конечно, Сана. Она сделала

это легко, непринужденно, нисколько не задумываясь, как до нее делали все девушки земли: просто взяла да убежала.

* * *

А Тузарову так и не удалось встретиться с Нальжан наедине. Во-первых, она как хозяйка была в этот день занята сверх всякой меры, во-вторых, слишком уж много людей толклось во дворе, а, в-третьих, рядом с Канболетом все время находился Джабаги. Казанокону Канболет очень нравился. Нравился не в пример некоторым князьям, которые, несмотря на скромное, совсем не знатное происхождение Казаноконина, искали с ним дружбы. Цену такой дружбе Джабаги знал преотлично. Каждому высокородному хотелось бы при случае наемкнуть себе подобным, что вот, мол, этот мудрец из Казаноконии долго с ним, князем, беседовал и почерпнул у него, князя, кое-какие мысли.

В Канболете Джабаги видел человека совсем другого, чем-то он был похож и на Емугу, и на Кургоко Хатажукова, но больше на спокойных, рассудительных, немало видевших в жизни простых кабардинских крестьян. На тех крестьян, которые хорошо знают свое дело, умеют и любят работать и не любят тратить лишних слов. С Тузаровым было приятно беседовать, этому человеку хотелось верить самое сокровенное. Канболет больше любил слушать, на обращенные к нему вопросы старался отвечать покороче, но не в ущерб ясности. Изредка Канболет спрашивал сам — и Джабаги едва сдерживал сияющую улыбку: вопрос всегда бывал труден и интересен, речь обычно шла о сложных людских взаимоотношениях, о прошлом народа, о возможных путях в будущем. Такие вопросы наводили на неожиданно светлые мысли.

— Вот ты заговорил, брат мой Канболет, о несовершенствах нашего мира подлунного. Сомневаешься в том, что мир можно исправить, сделать справедливее и человечнее. А я не сомневаюсь... Мир переделать можно. Однако сегодняшнему поколению людей это не под силу. Если говорить не об одной семье, не об одном селении и даже не об одном народе, то люди, которые живут сегодня на земле, могут лишь слегка, на какую-то крохотную малость улучшить свой мир, а наградой им будет вера в благодарную память потомков. И это прекрасно! Но если бы все так думали! Если бы каждый понимал, что и в малом и в большом надо творить для грядущего! Тогда и жизнь сразу бы стала и справедливее, и человечнее.

Они прогуливались по берегу реки, затем направились в сад. Проходя через двор, встретили Нальжан. Она улыбнулась обоим, но от лица Канболета отвела взор чуточку быстрее, чем это делают просто близкие, дружелюбно настроенные люди. Канболет спросил Джабаги:

— А разве наше настоящее, пусть и несовершенное, не стоит того, чтобы и ради него потрудиться тоже? — В его глазах, до сих пор выражавших глубокий сосредоточенный интерес к беседе, теперь появилось загадочно-мечтательное выражение.

— Да я и не говорил, что не стоит, — озадаченно пробормотал Казаноконин. — Конечно же стоит! — с веселой решимостью добавил он, когда выбежавшая из сада разгоряченная дочка Емуга едва не столкнулась с молодыми мужчинами и, смущенно вскрикнув, помчалась дальше.

* * *

Вокруг усадьбы Хатажукова народ собирался задолго до приезда виновников торжества. Множество людей шло и ехало из соседних, а то и отдаленных селений.

Вся Кабарда уже знала, что нашелся сын пши Кургоко, и такой джигит — прямо нартам под стать.

Двор Хатажукова стоял на пологой покатости взгорья, восходящего где-то там, подальше, к более крутым склонам лесистого Черного хребта. Пять-шесть жилых домов (один из них довольно большой), построенных, вернее, сплетенных и слепленных на обычный кабардинский лад, конюшня, закрома для хранения зерна, широкие навесы, загон для овец — выглядит все это хотя и внушительно, но, в общем, неказисто и беспорядочно.

В почтительном отдалении от усадьбы, на обрывистом берегу тихой речки — несколько десятков крестьянских халуп, чуть выше по течению — дома уорков, похожие по своим достоинствам (тоже весьма скромным) на княжеское жилье.

Между кургоковским двором и селением — широкое и ровное пространство свободной земли. В обычное время — это выгон для скота, а по торжественным случаям — место для веселых и мужественных игр.

Погода была пасмурная, накрапывал мелкий дождичек, но людей, толпившихся возле усадьбы, это не беспокоило. Они пришли бы сюда и в ливень с градом. На обширном кургоковском дворе разгорались костры, отблески пламени играли на медных боках огромных котлов. Один из котлов особенно поражал своими размерами: высокому мужчине пришлось бы встать на цыпочки, чтобы заглянуть через край этой глупой посуды.

— Не в развалинах ли Алигха-я-уна (*развалины древнего строения, где жили, по преданию, Алиговы — потомки греческой (элинской) знати*) выкопал наш князь этот котел? — спросил кто-то из мужчин.

— Не-ет, — протянул худенький старичок в ветхой одежке. — У Алиговых был котел, вмещавший одновременно сорок быков. А в этом только два поместятся.

— Ну нам и этого на все коаже хватило бы, — сказал здоровенный парень с бычьей шеей.

— Хватило бы, — согласился старичок, — если бы ты, Шот, работал за столом вполсилы.

Все засмеялись, а громче всех — Шот.

— Да, уж сегодня, я думаю, можно будет поработать во всю силу. Не часто выпадает мне такой случай.

— Едут, смотрите! — раздался чей-то крик. — Это они!

— Нет, — возразил всезнающий старичок, — младший Хатажуков должен появиться с захода, а эти с восхода едут... — чуть помедлив, он добавил:

— Ахловы это. Братья Ахловы. Самый старший — в знаменитой своей шапке. Хотя он и не самый высокий пши в Кабарде, зато шапка у него самая высокая!

— А вон, смотрите, еще какие-то важные птицы приближаются!

— Вижу, вижу... Ну правильно! Князь Касаев с сыновьями и со своей многочисленной и всегда голодной свитой. Уж эти повеселятся!

— Кайтукин Аслан-бек, говорят, уже здесь.

— И Атажукин Мухамед приехал.

— И Атажука Мисостов...

— И Казиев Атажука...

— Ислам-бек Мисостов...

— Какие у них одежды богатые!

— И оружие, и конская сбруя...

— Да что там говорить! У них девять шуб на одного, а у нас, бедняков, на девятых — одна!

— Истинно так! Нам есть чем кроить, да не из чего шить...

Именитые гости, не останавливаясь, въезжали во двор. Молодые люди из семейств второстепенных и третьестепенных уорков принимали у них коней. Уор-

ки поважнее провожали гостей в главный хачеш, где их радушно встречал хозяин дома, сидящий с теми, кто прибыл раньше. На столиках-трехножках сейчас стоят чашки с медом, блюда с орехами, сухими фруктами, с изюмом, сладкими лепешками — лакумами. Есть, конечно, и напитки — махсыма, мармажей, крепкая арака и даже несколько привезенных из Терского городка зеленоватых бутылок с русским хлебным вином. Главный пир еще впереди, а пока — спокойная неторопливая беседа.

Все знали, по какому поводу устраивается праздник, но об этом помалкивали. Гости украдкой скашивали глаза на великолепный панцирь, стоящий на отдельном столике, но не подавали виду, что заметили награду для лучшего джиги-та. Зато когда сам Кургоко попросил их обратить внимание на «тот самый панцирь», гости уже без стеснения повскакивали со своих мест и, обступив столик, покачивали головами, цокали языками, любовно поглаживали потными ладонями гладко отшлифованную сталь.

— С такой одежкой никакая рукопашная не страшна! — заявил один из братьев Ахловых.

— Мне бы ее, эту одежду, — тоскливо сказал Атажука Казиев, — так бы в татарское войско и врезался! Пусть приходят крымцы!

Ислам-бек Мисостов с ехидцей возразил ему:

— Неубитого оленя не потрошат, дорогой князь. Крымцы сильны, да и панцирь пока еще не твой.

— Но и не твой! — обозлился Казиев. — И твоим не будет!

Лицо Мисостова начало медленно наливаться гневным багрянцем, но тут вовремя вмешался Кургоко, приглашая всех вернуться за столы, и не дал вспыхнуть ссоре.

* * *

На дворе свежевались туши бычков и баранов, в котлы шлепались большие куски еще теплого парного мяса, ветерок носил в воздухе куриные перья и запах жаркого — это подрумянивались на вертелах вяленые бараньи бока.

Зазвучала музыка, несколько голосов затянули старинный орэд.

К шумному сборищу возле дома князя тянулись последние из опаздывающих.

— И тебя, наш могучий нарт, заманил сюда запах жаркого? — верзила Шот хлопнул по спине приятеля из соседнего хабля.

Щуплый и низкорослый молодой человек ответил с добродушной ухмылкой:

— Нет, мой малыш, для меня — звук песни, как запах жаркого! Пошли туда. Видишь, девушки тоже...

— Нет уж, дружище Тутук, сначала я дождусь говядины из этого котелочка, а потом и танцевать пойду. Уж недолго осталось терпеть, вон пену снимать начали!

С дальнего конца выгона примчалась, разбрызгивая мелкие лужицы, стайка босоногой детворы:

— Уже здесь!

— Рысью скачут!

— Все у них, как солнце, блестит!

Зрелище и впрямь оказалось таким, что запоминается надолго. Видно, всадники, остановившись где-то неподалеку на берегу речки, вычистили одежду, помыли коней, тщательно протерли ножны шашек и кинжалов, наборное серебро уздечек. Теперь они не спеша ехали по выгону — пусть и простой люд успеет рассмотреть аталыка с его каном.

Восторженный ропот волнами прокатывался по толпе. Некоторые порой не выдерживали и высказывали свои замечания громкими голосами:

- Смотрите, до чего красив!
- А сам аталык? Давно ли из возраста кана вышел!
- Оба друг друга стоят!
- А младший Хатажуков?! Вот князь настоящий! Порода!
- Сын кошки не травкой кормится, сын кошки за мышкой охотится!
- И запасного коня с собой ведет...
- Тоже хорош, буланый, ах, как хорош! Наверное, сосруковский Тхожей был таким!
- У Тузарова хоара не хуже. Я знаю — Налькут зовут его.
- А этот юный князек из тех петушков, у кого рано гребешки вырастают!
- И шпоры...
- Отец его, говорят, в юности таким же был.
- От колючки колючка и рождается!
- Эй, кто там злобствует? Не стыдно?
- Смотрите, с ними Казанок Джобаги!
- Уо! Точно! В черной черкеске!
- Джобаги-и-и!
- Казанкову счастья и удачи!
- Это наш человек!
- Бэрчет ему!
- Он друг Тузарова!
- Тузарову тоже изобилия!
- Молодец, Тузаров!

Когда всадники спешили и — первым Казанок, за ним Канболет, а третьим Кубати — скрылись в дверном проеме хачеша, толпа сразу успокоилась и теперь уже терпеливо ожидала угощения. И долго терпеть не пришлось.

Хатажуковские унауты начали вылавливать из котлов и вываливать на круглые столики, а то и просто на широкие, поставленные на козлы доски увесистые куски дымящейся говядины и баранины, отдельно клали жареное мясо, посыпанное солью в смеси с тминной мукой, сваренных в сметане кур и копченых уток, ставили большие глиняные горшки с зайчатиной или олениной, томленной в соусе из сушеных слив, пахучих трав и перца, несли из-под кухонных навесов просяные и ячменные кыржыны, из темного погреба поднимали пузатые коашины с махсымой, расставляли в деревянных чашах заготовленную впрок тыквенную мякоть, варенную в меду...

Никогда еще не видели здешние простолюдины такого щедрого угощения. Они, правда, не выкрикивали громких похвал князю, не умилялись и не унижались. Все держали себя степенно, не было никакой толкотни, каждый спешил передать соседу любой кусок, на который тот бросил более или менее ласковый взор. И только дети и собаки, шныряющие повсюду, вносили некоторую сумятицу в обстановку праздника. Однако лакомых кусков хватало всем — и взрослым, и детям, и даже собакам.

Из растворенных дверей княжеского дома вырвались, звуки музыки. Вот зазорная трескотня пхацича, вот душевно-тоскливая песнь срины (*каб. — свирель*) и накыры (*каб. — горн*) — большого искусства требует игра на этих дудочках. Затем вступает в игру шичапшина — тоненько плачет смычок, скользя по струнам из конского волоса. А вот подала свой низкий волнующий голос пшинадыкуа (*каб. — род арфы*), похожая на лук с несколькими тетивами, — чем ближе тетива к центру дуги, тем она короче и звончее.

Люди во дворе и почетные старики из простонародья, усаженные на длинной скамье под навесом, — все встрепнулись, приободрились, стали меньше есть

и больше налегать на махсыму.

— Ну, теперь уоркский зао-орэд пойдет! — уверенно сказал все тот же все-знающий старичок.

Он оказался прав. Чей-то голос в хачеше затянул:

*Слушайте песню — зао-орэд (каб. — походная песня)
О пиш молодом Каракане.
Песню сложил на старости лет
Гордый отец пелуана.*

*Сам Захаджоко, героя отец,
Зао-орэд запекает.
В доме большом, где живет наш храбрец,
Ханы гостями бывают.*

*Красные ткани в подарок везут —
Даже нарты таких не имели,
И чудо-часы Каракану дают —
Нарты б от зависти онемели!*

(Старичок горестно покачал головой:

— А еще говорят, будто есть предел бесстыдству!)

*Уорки с почтением ждут его слов,
Неустрашимого князя-аслана,
Шумной стаей голодных орлов
Уорки летят к его стану.*

(— Вот уж верно! — сказал старичок. — Стервятники — они и есть стервятники!)

*А речь Каракана лишь об одном:
Лишь о новых лихих набегах.
Хоара — конь всегда под седлом,
А хозяин — всегда в доспехах.*

*Сталь его шлема — бора мауса —
Пишак ярче солнца сверкает,
Лука дугу из прочного тиса
Ему Тлепи, бог-кузнец, выгибает.*

(— Как будто Тлепи больше делать нечего, как только помогать грабителям!)

*Крепкорукый, он саблей блестящей
Метит дамыгу на лицах поганных. (дамыга, каб. — тавро)
Ой, не уйти от мощи разящей
Грозного пиш Кабарды — Каракана.*

*С ладонь наконечники стрел героя,
Орлиными перьями окрылены —*

*Много врагам принесли они горя,
Стрелы, что смертью начинены!*

*В безлунные ночи лесами он бродит,
В дерзких набегах стада отбивает,
По бездорожью свой путь находит,
Овец и коней на Кум пригоняет.*

*Ой! Высока и звучна его слава!
И там, где он не был, о нем все слышали.
Лев одинокий, наш молодец — шао!
Такого, как он, вы еще не видали!*

*«Отцова привычка!» — крикнул герой,
Убивая пши Болатоко.
Ой! Каракан с белой душой,
Отважный сын Захаджоко!*

(— С «белой душой»... Да ночь безлунная и то светлее!)

В хачеше смолкла музыка, и какое-то короткое время было тихо и в доме и во дворе.

— А у нас тут лучше, чем там, — старичок показал рукой в сторону хачеша. — Что там у них? Я знаю. Каждый косится по сторонам — как бы не унизили его высокого достоинства, как бы не забыли в очередной раз ему честь оказать. А если он слово скажет, так не могли не восхититься! Он будет приbedняться, скромничать, называть себя недостойным, но не дай тебе аллах, если ты не станешь с ним спорить и убеждать его в обратном! Каждому интересно только тогда, когда говорят о нем или он сам говорит. Бедный тузаровский воспитанник сейчас стоит у дверей и мается. Он, я знаю, умный мальчик и ему трудно выслушивать всякие глупости. Хорошо, когда говорит наш Джабаги или хотя бы Кургоко, а вот если другие... Тузаров Канболет — большой умница, но сейчас молчит. Да и зачем ему говорить? Свое дело он сделал. Кургоко в это время его усиленно потчует своим любимым блюдом: костным мозгом оленя с медом. Считается, что такая еда помогает быстрее восстанавливать силы после ранения и продлевает молодость. А я думаю, не такая уж беда, когда сила уходит из рук и ног, гораздо хуже, когда ум дряхлеет. Птицу носят крылья до последнего дня ее жизни. Вот таким же сильным должен оставаться до самого конца и человеческий ум. Для того, чтобы устремляться ввысь, птице даны крылья, а человеку — разум. Сейчас в хачеше кто-нибудь говорит хох. Давайте и мы попросим нашего старшего произнести для всех нас старинную здравицу.

Все старейшины воссияли довольными улыбками.

Самый ветхий из них, заросший до глаз белой бородой, поднял чашу двумя слегка трясущимися руками.

— Не знаю, все ли услышат мой слабый голос, но другого у меня нет. А у кого нет быка, тот и подтелка впрягает. Ну да поможет мне добрый Псатха! Скажу я всем, кто вместе со мной тут сидит, соседям скажу и приедем гостям. Скажу так, как еще наши деды любили говорить... Пусть в наших домах молока будет вволю, как в источнике горном, сыры пусть будут, как колеса татарской мажары, огромные. Всем нам по девяти невесток. Все девять пусть полными чашами хмельное питье гостям подносят. Пусть не жужжат, как мухи, не крикают, как утки, не кудахчут, как куры, а будут нежны голосами, как ягнята. Детей в изобилии пусть рожают. Пусть работающими будут, как сытые кобылы с поступью твердой. Хох! Вся наша баранта — из овец цвета голубого, упитанных, с курдюками огромными.

Двойняшками наши овцы пусть ягнятся, траву сочную пусть едят в изобилии. Хох! А тому, кто против нас пойдет, пожелаем брюхо глиняное. Наши враги, как пузыри, пусть раздуваются! Да будет так. Хох!

Все были растроганы и дружно благодарили древнего тхамату, который, как утверждали его пожилые внуки, еще помнил великое море Ахын замерзшим, скованным льдом от берега до берега (*Кажется, насколько я помню, было это в 1630 году, прим. созерцателя*).

Один из стариков затянул песню, длинную, как и все старинные героические орэды, где говорится о бесчисленных подвигах витязя, а в конце — обычно — и об его гибели:

*В миг свой смертельный
Такого же нарта, как я,
Положу себе в изголовье —
Эту клятву свою, погибая,
Не забыл Озырмес,
Истекающий кровью.
Вот могучий кумыкский герой
К нему подскакал,
Желая скорее прикончить.
Но успел наш герой стрелу
Из своего бедра пронзенного вырвать,
Наложить на тугую тетиву
И врагу прямо в сердце направить,
И грозный низвергнулся всадник,
А Озырмес подтащил его тело,
В изголовье себе пристроил,
И с белого света сошел
Озырмес Ешаноко.*

Песня за песней, одно громкое имя за другим:

*Сбитый с гнедого коня,
За палисад прорвавшись,
Вровень с конным бьется
Храбрейший Тузаров Саральп.
Чей обычай копье искрошить
О вражьи доспехи!
«Эй! Кто со мною? — кричит, —
В сердце врага,
Как змеиное жало,
Пусть каждый вопьется!
А на того, кто отступит,
Рубаху труса натянем,
Тот, кто останется,
Пусть под женским подолом сидит!»*

Эта песня словно послужила сигналом для начала игры в «шу-лес», где происходит сражение пеших с конными. Несколько всадников пытаются с налета преодолеть высокий плетень и подавить сопротивление пеших, обороняющих «крепость». Конные вооружены плетями, пешие — древками копий или просто палками. Удары по рукам, ногам, а то и по особо горячим головам сыплются направо и налево. Крики, топот копыт, лошадиное ржание — все как в настоящей

драке. Кое-кто и ранения получает настоящие. Всадника, прорвавшегося за плетень и пытающегося отеснить конем защитников «крепости», стараются вытащить из седла, сбросить па землю и таким образом вывести из игры. А наш знакомый Шот (уже, наверное, потрудившийся у котла) сумел свалить одного из всадников вместе с конем.

Сконфуженный не меньше своего седока жеребец быстро вскочил на ноги и умчался на самый край выгона. А хозяин коня — им оказался щедедушный Тутук — с трудом поднялся с земли и, сильно прихрамывая, отошел в сторону.

— Ну что, мой могучий пелуан? — хохотал довольный Шот. — Запах жаркого или звуки музыки, а?

Тутук добродушно усмехнулся, пересиливая боль:

— Ничего, мой маленький друг, впереди еще и другие состязания. Как, интересно, ты покажешь себя на скачках?

— Ха! Да никак! Вот если устроить скачки наоборот — чтоб лошади верхом на джигитах ехали, там бы я себя показал!

— И верно, малыш, равных бы тебе не было! — согласился Тутук.

На другом конце выгона толпа молодежи окружила высокий, обильно смазанный жиром столб, на самом верху которого была прикреплена доска с разными соблазнительными приманками. Тут и подкинжальные ножи, и женские серебряные пояса, и красивые чаши, и «ряболицы из Крыма» — наперстки, и богато отделанные газыри, а с самого края доски, куда труднее всего было бы дотянуться, висели на тонком ремешке сафьяновые тляхстены и шапка — настоящий бухарский каракуль. Да, не поскупился и здесь добрый пши Кургоко!

Юноши и подростки один за другим бросались к столбу и карабкались вверх. Успех сопутствовал каждому в разной мере, точнее, до разной высоты, но конечный результат долгое время был один и тот же — под дружный хохот и язвительные замечания толпы ретивые молодцы неизменно соскальзывали на землю. Наконец одному из парней удалось добраться до самой доски, он потянулся рукой — тут все увидели его черную, измазанную в золе ладонь (вот хитер, балагур!) — и сумел ухватить самый близкий приз — женскую шапочку, расшитую бисером. Затем, не удержавшись, он стремительно съехал вниз — без сил, но с победой! Свою добычу он тут же вручил стоявшей ближе всех к нему девушке. Она улыбнулась парню и отступила от столба подальше: следующий подарок пусть достанется уже не ей.

Скоро с призовой доски исчезло все, что предназначалось для девушек, затем и мужские «игрушки», и только тляхстены с шапкой оставались недостижимыми — уж чересчур далеко надо было за ними тянуться.

Со стороны княжеского подворья раздался пронзительный голос «крикуна» — глашатая:

— Эй, маржа! *(каб. – обращение к толпе, собранию, сходу)* Слушайте все! Настал час, когда лучшие из тех, кто с достоинством носит черкеску и проводит в седле больше времени, чем под крышей своего дома, будут соперничать в стрельбе, в скачках и искусстве рукопашной схватки! Расступитесь, люди, по краям поля, освободите место для благородных состязаний. А все, кто имеет коня, оружие, даже простые землепашцы, могут участвовать в игрищах и оспаривать почетную награду — драгоценный румский панцирь! Так решил наш больший князь Кургоко! Хвала ему!

Со двора князя выехали один за другим десятка два всадников. Кони у них были один лучше другого — не меньше, как до четырнадцатого колена от самых породистых предков, отлично ухоженные, сильные, выносливые. Каждого из этих коней со знанием дела готовили к любым испытаниям, кормили отборным зерном и сеном, но не давали накопить хоть сколько-нибудь лишнего жира или ослабить хоть одну мышцу.

На бугорок, к ограде усадьбы «домашние люди» — унауты вынесли длинную скамью для Хатажукова, для его нескольких наиболее важных гостей и для Тузарова Канболета — сегодня он как аталык тоже пользовался правами почетного гостя.

К «высокой» скамье тут же были поднесены столики-трехножки с новой переменной питья и закусок.

Кубати выделялся среди всадников лишь своей молодостью да шириной плеч. Его вороной (без единого пятнышка) конь, так им и названный — Фица (*каб. — черный*), стоял не шевелясь, как вкопанный. Оружие Кубати не блистало, как у других, золотой отделкой, зато хороший знаток определил бы, что и кинжал княжеского сына, и сабля, и лук сработаны руками редкостного мастера.

Неожиданно в самой гуще нарядных всадников появилась старая Хадыжа. Она проворно пробиралась между конями, похлопывая их по бокам, — причем кони доверчиво тянулись к ней мордами, оглядывала каждого седока, по-куриному склонив набок сухую головку, и кудахтала весело, без умолку:

— Куда это я затесалась, тха! Еще люди подумают, что я тоже стрелять собралась из этих немислимых дурацких огнеметов! А мармажей у этих Хатажуковых недурен, тха! Какие все вы красивые! А вот этот, — она указала пальцем на Кубати, — лучше всех. Вот ведь рождаются такие детеныши у кабардинцев! Самый лучший, я правду говорю. Все эти княжеские сынки и седьмой его доли не стоят.

— Бабушка! — крикнул кто-то из толпы. — Мармажей Хатажуковых, наверное, был и в самом деле хорош, но разве настолько, чтобы не узнавать младшего Хатажукова?

— Уей, горе мне! — запричитала Хадыжа. — Мой разум помутился. Вот уж верно, ум горы сдвигает, а хмель ум сокрушает! Как же я сразу не поняла, что он, — снова Хадыжа указала пальцем на Кубати, — сын князя?

В это время глашатай громко возвестил о том, что цели для стрельбы приготовлены и можно начинать соперничество в твердости руки и зоркости глаза.

Цели для стрельбы из лука и ружей — чисто в адыгском духе: на высоких шестах прикреплены круглые дощечки не шире конской подковы. На полном скаку, свесившись набок ниже гривы коня и цепляясь за седло одной только левой ногой, надо было натянуть тетиву и выпустить стрелу в дощечку. Шумным успехом пользовались те выстрелы, которые не только попадали в центр мишени, но и сшибали ее на землю.

С такой меткостью и силой удалось послать свои стрелы только двоим — Кубати и хатажуковскому пшикеу Тутуку, к бурной громогласной радости его приятеля Шота.

В стрельбе из ружья Тутук уже не мог оспаривать первенства у Кубати по той простой причине, что хотя он, Тутук, и был довольно благополучным крестьянином-вольноотпущенником, приобрести столь дорогое оружие он до сих пор не смог. Кубати почувствовал даже легкий укол совести и дал себе слово, что обязательно при случае подарит этому парню хорошее ружье. А пока он небрежно с расстояния ста шагов разбил небольшую тыкву, затем попросил положить на то же место куриное яйцо и перезарядил знаменитую тузаровскую эржибу, принадлежащую теперь ему.

Кубати мог надеяться на свое искусство: он знал, что само-то ружье не подведет, если все время пользоваться одним и тем же сортом пороха (и, конечно, из самых лучших), тщательнейшим образом отмеривать заряды — они должны быть одинаковыми с точностью до крупницы — и наконец главное — вес и форма пули: менять их нельзя ни в коем случае. Кубати аккуратно соблюдал все эти условия.

Никто не верил, что из ружья возможна столь точная стрельба. Тяжелые неуклюжие русские фузеи, европейские мушкеты, кабардинские или турецкие кремневки того времени бой имели весьма приблизительный. Хорошо, если уда-

валось поразить врага или зверя лесного с полусотни шагов, а тут... Словом, пока этот молодой Хатажуков целился, стоя на земле и положив дуло ружья на сошки, толпа затихла, будто дышать перестала. Но вот грянул выстрел, и от невероятно маленькой беленькой мишени, на которую были устремлены взоры всех собравшихся, полетели желтые брызги, и толпа дружно, как по команде, вздохнула. Люди молча переглядывались и озадаченно крутили головами: они с трудом верили своим глазам.

Прогремело еще несколько выстрелов, но даже в тыквы сумели попасть только два уорка средних лет — Арзамас Акартов и Султан-Али Абашев. (Кстати, это были будущие кабардинские послы в Петербурге.)

Когда начались скачки, никто уже не сомневался в победе Кубати. Правда, верзила Шот пытался зажечь боевым азартом друга своего Тутука:

— А может, мы не уступим именитым, э? Ты у нас легонький, тебя твой же-ребец, как пушинку...

— Не-е-ет, мой мальчик, — грустно отвечал Тутук. — Я поскачу, конечно. Хочу на ходу присмотреться к этому красавцу, что с луны к нам свалился... Победить его сейчас нелз. У нашего брата и кони не те, и времени, чтоб самим упражняться да коней обучать, к сожалению, у нас нет...

Надо было доскакать до высокого раскидистого дуба, что виднелся на отдаленной поляне, срубить с него ветку и вернуться обратно. Победа присуждалась тому, кто первым вручит привезенную ветку старшему на игрищах, которым считается сегодня сидящий рядом с Кургоко белобородый тлеотлеш Инал Выков. (Сам Кургоко от такой чести отказался: ведь не судить же достижения собственного сына.)

Прозвучал выстрел из пистолета — и всадники (теперь уже их было не менее четырех десятков), рванув с места в галоп, понеслись по выгону. Каждый старался занять место на узкой дорожке, которая поведет их над обрывистым берегом реки с одной стороны и довольно крутоватым пастбищным склоном — с другой. Там нелегко будет обогнать ушедших вперед. Первым вырвался из беспорядочной массы всадников Тутук, причем сразу же на четыре-пять лошадиных корпусов. За ним скакал Кубати. Позади — возбужденные, злые, но еще на что-то надеющиеся пши и уорки, уже заляпанные грязью, летящей из-под копыт. Их нарядная богатая одежда теперь стала мокрой и бесцветной — все тот же морозящий дождик не прекращался, а наоборот — усилился...

Еще никто не знал, чем кончится этот день. И никто не знал, что знаменитого панциря в это время уже не было в хатажуковском доме, бесценная реликвия исчезла — уже в который раз! — снова...

Слово созерцателя

Мая месяца 16-го дня в лето от Р. Х. 1703-е на реке Неве, на Веселом острове была крепость заложена и именована Санкт-Петербургом. Быстро, как грибы после теплого дождичка, росли бревенчатые стены с шестью бастионами, домик царя Петра, причал для судов, казармы.

Рождалась новая столица совсем еще молодого и по-молодому неуклюжего и жесткого государства Российского. Рождалась одна из редчайших в мире столиц, которую не было суждено захватить ни одному иноземному завоевателю хотя бы на один день.

Высоченный и худющий тридцатиоднолетний государь стремительно носился по острову, выкрикивал хриплым голосом команды, хохотал, свирепел, бешено сверкая выпуклыми глазами, хватался то за кузнечный молот, то за топор, а то и молча вышагивал взад-вперед по

берегу возле закладываемой судовой верфи и думал, вспоминал или мечтал о чем-то.

Крепнущее могущество России немалых трудов стоило и еще стоит будет. Трудов праведных, а порою неправедных, но равно тяжких и великих.

...Первое славное деяние молодого царя — Азовский поход 1696 года и — «приидох, видех, победих!» — взятие крепости: наконец-то есть выход к южным морям... Три года спустя, ходил уже до самой Керчи на первых десяти построенных в Воронеже судах. На одном из них плыло в Стамбул русское посольство во главе с Украинцевым. Петр вернулся в Азов, а затем в Москву. Появление нежданного русского флота в Босфоре Кимерийском потрясло турок. Год спустя был заключен между Россией и Блистательной Портой Константинопольский «мир на 30 лет».

В ближайшее десятилетие предстояли успехи еще более триумфальные: взятие Нарвы и Дерпта, сокрушительный разгром шведов под Полтавой, овладение Ригой, Ревелем, Выборгом, блестящая победа русского флота у Гангута.

Продолжали укрепляться устои и увеличиваться мощь государства и все большее и безжалостнее давили эти устои и эта мощь на бесконечно выносливые плечи русского крестьянина — смерда и малочисленного пока горожанина, чьи руки держали когда надо орало, когда надо — меч, они же и ковали орала и мечи, они же возводили крепости, они же их и разрушали, они кормили государство и прибавляли ему могущества, того могущества, под тяжестью которого рвали себе жилы.

В 1705-1706 годах вспыхнуло восстание стрельцов и солдат в Астрахани, охватившее нижнее течение Волги и берег Каспия от Гурьева до Терского городка. Едва был погашен этот пожар, как разгорелся новый, еще более страшный: восстали крестьяне и казаки под предводительством Кондратия Булавина и атамана Никиты Голого, разгулялись от Запорожья до Волги, включая Царицын и Саратов, потрясли Воронеж, Тамбов, Пензу. Жестоко расправилось государство с бунтарями, тысячам пришлось положить головушки буйные на плаху, под топор палачей.

Да, немало забот великих и трудов тяжких приносил белому царю каждый божий день. Трудов праведных, а порой и неправедных... Но всюду требовалась его твердая и решительная рука. И повсюду она поспевала.

Не доходила лишь (до поры, до времени) до бедных северокавказских «родственников», ожидавших помощи и покровительства.

Где-то в эти годы уже шлепнулось на землю ньютоново яблоко, и гениальный англичанин открыл закон всемирного тяготения. Людям от его открытия пока что не было ни холодно, ни жарко. Они совсем другой закон ощутимо чувствовали на своей шкуре: закон всемирного тяготения сильных мира сего к чужим землям и чужому добру. На суше и на море, у берегов Европы и берегов Америки бушевала война за испанское наследство. В России и в ближайших к ней землях еще долго будет продолжаться Северная война. Во множестве стран люди стреляли, кололи, рубили, жгли, грабили. А во всех тех странах, которые пока еще не втянулись в драку, сильные мира сего точили клинки и запасались порохом. Они внимательно присматривались к соседям и выжидали: а ну, кто там будет обескровлен раньше других, чьи слабеющие руки не смогут с прежней цепкостью удерживать свое богатство?

Особенно пристальным был взор турецкого султана. Взор, устремленный на Северный Кавказ.

ХАБАР ПЯТНАДЦАТЫЙ,
нисколько не противоречащий поговорке:
«Сначала с медведя шкуру сдери,
а мех потом гуаше дари»

Незаметно промелькнули сухие знойные дни месяца сенокосного (*август*), и вот уже потянулась плавная череда таких же почти жарких, но чем-то более приятных и для души и для тела прозрачных дней месяца жатвы и оленьего рева. И это время в предгорьях на пологих пастбищных склонах, на лесных полянах и в уютных годинах царит благостно-безмятежная тишина. Слегка привядшая листва деревьев застыла в легкой, словно бы рассеянной задумчивости, по полдня неподвижно висит над прозрачной бездонностью неба какое-нибудь одинокое белое облачко, птицы стараются щебетать вполголоса, и даже обычно проворные и болтливые ручьи, кажется, замедляют свой бег и текут с еле слышным журчанием.

Вся земля — и там, где к ней прикладывались руки пахари, и там, где она сама взрастила дикие травы и пуши лесные, — выглядит так, как будто осознает, что у нее есть совесть и есть сердце, похожие на человеческие, и сейчас ее совесть кристально чиста, а на сердце — мир и покой...

Кургоко и Кубати Хатажуковы вдвоем, без провожатых, медленно ехали мимо длинного, вытянувшегося между берегом реки и лесистым склоном, просяного поля, на котором заканчивалась уборка щедрого в этом году урожая.

Тлхукотли и пшикеу — последние были вольноотпущенными княжескими крестьянами и арендаторами княжеской земли — работали не каждый в отдельности на собственной ниве, а сообща: сначала на тех наделах, где зерно созрело раньше, затем переходили туда, где колосья еще могли подождать. Одни трудились на жатве, другие возили воду, еду, дрова, третьи готовили пищу для всех.

На краю поля стоял вместительный балаган из свежеемолоченной соломы. В нем хозяйничала «гуаша просяного шалаша». Сегодня, в последний день жатвы, предстояло веселое крестьянское пиршество с песнями, танцами, соперничеством в удалстве и благодарственным восхвалением богов. Больше всего будут славить Тхагаледжа — бога земледелия (и пусть этот новый аллах не обижается). А пока «просяная гуаша» — женщина, которой посчастливилось быть избранной на столь почетный пост — начинала печь на необъятной общинной сковороде общинный «кыржынище» величиной с тележное колесо. Дело это — испечь первый хлеб из муки нового урожая — святое дело, и по кусочку от «кыржынища» достанется каждому.

Люди работали с такой веселой увлеченностью, словно заняты были не важным делом, требующим старания и аккуратности, а играли в азартную игру.

Уж насколько хорошо знал людей Кургоко, и то озадаченно покачивал головой: удивительный народ эти кабардинцы! Ведь они прекрасно знают, что со дня на день ожидается разбойничье нашествие из Крыма. Знают, что скоро грянет гром, и придется каждому бросать свои закрома, а жен, детей, немудреный скarb, скотину укрывать в труднодоступных горах. А сейчас они вполне довольны, рады, что вечером повеселятся от души.

Кургоко обернулся, скользнув взглядом по Кубати, — тот ехал чуть позади, по левую руку. Хорош парень! И сила, и мужество, и ум, и воспитание... А как он показал себя на игрищах! Ни один старик не мог вспомнить джигита, равного этому юнцу. Единственно, что смущает Кургоко, — это некоторая замкнутость Кубати: что-то в нем есть непонятное, чужое...

* * *

Кубати в это время размышлял примерно о том же самом. Он так же, со сво-

ей стороны, чувствовал исходящий от отца холодок отчужденности. На людях Кургоко держался немножко проще: мог и улыбнуться, и пошутить, а стоило только им остаться вдвоем, как во время сегодняшней конной прогулки, князь погружается в раздумья, будто в чашу колючего кустарника, и от него даже слова было трудно дожидаться. Посмотрит изредка — глаза хоть и строгие, но добрые — вот и все. Не может ведь Кубати сам начинать разговор...

Вспомнились недавние игрища: вот, кстати, и дерево, с которого он тогда вторым сорвал ветку, но первым ее доставил по назначению. А опередил всех на пути к раскидистому дубу тот парень, который здорово стрелял из лука. Кубати обошел его уже перед самой поляной. Остальные всадники сильно отстали...

Хороший парень. Кажется, Тутук его имя. Он потом ловко вознаграждал себя за то, что пришлось уступить первенство: достал снова лук и, тщательно прицелившись, перерезал стрелой ремешок, на котором прикреплены были к столбу шапка и тляхстены, висевшие до сих пор в целости и сохранности. Поощряемый восторженным хохотом толпы, Тутук, не слезая с коня, подхватил с земли ценную добычу и ускакал в сторону своего дома. Скоро он вернулся — уже в обновках — и пошел туда, где звучала музыка, наигрывая завлекательные мелодии кафы пли уджа. Девушки теперь бросали на него смущенные взоры и каждая мечтала, чтобы Тутук танцевал только с ней.

К почетным столикам, за которыми восседали князь Кургоко, Канболет и старейшины, глашатай подзвал молодого Хатажукова и других участников состязания. Самые старые из присутствующих — Инал Быков и тлектотлеш с редким именем Карабин-Кара — торжественно объявили, что лучший в Кабарде и «во всех окрестных землях до самой Андолы» панцирь завоеван сыном Кургоко и будет принадлежать ему и его потомкам по неотъемлемому и никем не оспариваемому праву. Да станет это известно каждому, в том числе и тому, кто убивает собаку в воде, которую пьет, и грубит жене, с которой живет. Все поняли намек на Алигоко Вшиголового и одобрительно закивали головами, а Канболет вздохнул с радостным облегчением.

Стоявший неподалеку от этого своеобразного мехкема (*высший суд*) Шот одобрительно крикнул и со спокойной душой вновь запустил руку в огромный котел, где еще плавали куски остывшей говядины. К нему подошел уставший после танцев и скачек и изрядно проголодавшийся Тутук:

«Не ешь в одиночку, ни с кем не делись, как это делает ногоайский князь!»

— А-а, это ты, мой славный нарт Сосруко! Может, украдешь огонь во-о-он от того костра и мы здесь зажжем свой? Мясо разогреем.

— Ох, мой воробышек! Неужели еще не наклевался?

— Я тебе вот что отвечу. Правильно говорят: печаль желудка скоро забудешь — не скоро сердца печаль. От себя добавлю, что и радость желудка тоже не бывает долговременной.

— Подожди-ка! — насторожился Тутук. — Что там происходит?

Люди, посланные в княжеский хачеш за панцирем, подняли отчаянную суматоху. Кто-то завопил:

— Панцирь пропа-а-ал!!

Множество народу, толкаясь и спотыкаясь, бросились к дому.

— Украли! Украли-и!

Не тронулись с места только Канболет, Карабин-Кара и оба Хатажуковы. Канболет был огорчен, Кубати, хотя не подавал виду, рассержен, Кургоко оскорблен, а старик Карабин-Кара до чрезвычайности заинтересован и оживлен не по возрасту:

— Главное, — веско, но, правда, излишне торопливо, изрекал он, — надо выяснить, дело ли это рук человеческих или, напротив, сил сверхъестественных. В первом случае следует бросить волчью жилу в огонь, и тогда рука у вора скрючится. Вопрос только в том, что вор, может быть, не на виду у нас, а уже далеко отсюда. И еще: где взять волчью жилу? Вот идет старая колдунья Хадыжа. Может, у нее как раз имеется эта...

— Ох, Кара, — усмехнулась старуха. — Поищи колдунью у себя дома, на женской половине. Век бы твои умные речи слушала, да боюсь, уши не выдержат. Простодушный патриарх не понял шутки:

— Если болят уши, три утра подряд, натошак, плюнь через порог, вставив большой палец между зубами...

— Плюйся сам. А меня от твоих слов уже лихорадка трясти начинается

— Лихорадка? Бросайся в одежде в воду — выздоровеешь.

Хадыжа обратилась к Кургоко:

— Послушай меня, князь. Я знаю больше, чем другие люди, хотя я не колдунья и не какая-нибудь жештео. Почти все из того, что я знаю, — свойства разных трав и особенности людских хворей — доступно любому человеку, но некоторые тайны, даже касающиеся тебя, Кургоко-пши, умрут вместе со мной. Ох, что-то не то я говорю. Поосторожнее мне бы надо... Так вот слушай: панцирь, конечно, украл один из шогенуковских прихвостней. В этом можешь несколько не сомневаться. Я все сказала.

— Я думаю, эта старая женщина говорит правильно, — сказал Тузаров.

— Я тоже так думаю, но откуда она знает? — ответил Кургоко.

— Я людей знаю! — заявила Хадыжа.

— Уверен — она права, — с еще большей настойчивостью повторил Канбо-лет.

— Нет, теперь послушайте меня, — встрепнулся Карабин-Кара.

Хвала богам, я уже наслушалась, замахала руками Хадыжа. Ты мне столько дал советов, что и я должна подарить тебе хоть парочку своих. Первое: пей отвар корпя андыза (*каб. — девясил высокий*). Он помогает от поноса, а тебя спасет от недержания слов. И второе: не сей проса на голых скалах. — Бойкая старуха, приветливо улыбнувшись Кубати и смерив остальных мужчин чуть презрительным взглядом, гордо удалилась.

Тузаров и Хатажуков с недоумением переглянулись и тут же, чтобы не расхохотаться, отвели взоры.

В это время дождь хлынул по-настоящему, пришлось поспешить в дом. Да и пора было начинать основное праздничное застолье.

* * *

Хатажуковы медленно миновали поле, на котором заканчивалась жатва, и так же не спеша продолжали ехать в сторону коаже, откуда подул ветерок и донес приятный запах вареной тыквы: сейчас почти во всех семьях хозяйки заготавливали впрок это излюбленное в народе кушанье.

В воздухе вокруг лошадиных морд вились слепни и мухи, но не отваживались садиться на животных, чьи шкуры были протерты уксусным настоем из листьев и зеленой кожуры грецких орехов. Гнедой конь Хатажукова-старшего словно почувствовал, что его задумавшийся хозяин сейчас далек и от этой дороги, и от этого луга, покрывшегося бесподобно густой и сочной отавой, и потому смело свернул на травянистую поляну и там остановился. Его примеру последовал и конь Кубати. Оба Хатажуковы отпустили поводья, не стали мешать своим четвероногим друзьям.

— Не тоскливо тебе в отчем доме? — неожиданно спросил Кургоко, не глядя

на сына.

Кубати слегка растерялся, но ответил быстро:

— Нет, мне хорошо.

— А не слишком ли спокойно?

— Надо уметь ценить и спокойствие.

Кургоко испытующе посмотрел на юношу:

— Правильно говоришь. Но ты еще сам не знаешь, насколько — он сделал ударение на слово «насколько» — это правильно, хотя на твою долю тревог досталось немало. А скоро нам всем достанется...

— Я об этом догадываюсь, — осмелился заявить Кубати.

Хатажуков не обратил внимания на то, что юноша высказался, когда его не спрашивали.

— В твоём возрасте обычно не задумываются о будущих опасностях, а пережитые забывают на следующее утро. Так о чём же ты все время размышляешь, почему вид у тебя либо сосредоточенный, либо рассеянный? Не замешано ли здесь некое существо, перед которым всякое оружие, а подчас мужская отвага бессильны?

Кубати побледнел, в горле у него что-то застряло, дышать стало тяжело.

— Я... я не совсем пони...

— Понимаешь! — уверенно возразил Кургоко. — Завелась, наверно, на том берегу Шеджема юная Адиюх (*каб. — белорукая. Красавица из кабардинского эпоса. Высовывая руки из окна замка, она помогала в кромешной ночной тьме найти своему возлюбленному брод через реку*) с глазами, как у телки? — князь вдруг вспомнил личико Саны, удивился про себя и почему-то встревожился, будто ему сообщили неприятную весть.

Меньше всего хотелось бы сейчас Кубати говорить на эту тему. Он благоразумно откладывал объяснение с отцом на то время, когда закончится битва с татарами. Еще неизвестно, что произойдет во время сражения и какие будут последствия войны. Юноша напрягал свой изворотливый ум, но никак не находил нужного ответа — ведь лгать ему тоже не хотелось, как не хотелось и откровенничать.

Спас положение неизвестный всадник, нещадно погонявший измученного коня и, по-видимому, спешивший как можно скорее встретиться с Хатажуковым-старшим.

— Мне сказали, что князь Кургоко с сыном прогуливают коней в этой стороне — и я сразу сюда! — хрипло выкрикнул всадник вместо приветствия.

Он говорил по-кабардински с заметным татарским акцентом, да и по лицу в нем сразу же можно было узнать татарина. Но Кубати узнал в нем еще и старого знакомого Халелия, хотя тот и виду не подал, что они встречаются не впервые. Юноша тоже остался невозмутимым: вспомнил, что их с Канболетом крымский приятель придерживается очень мудрого правила: не выскакивать без нужды со своими познаниями, особенно если имеешь дело с сильными мира сего.

Много лег не видел Хатажуков бывшего своего конюха, но память не подвела князя.

— Каким добрым ветром тебя занесло в наши края, Халелий? — Кургоко улыбался с добродушным спокойствием, но почувствовал, будто чья-то мягкая тяжелая лапа наступила ему на сердце.

— Не добрый ветер, Кургоко-паша, не добрый, а злой ветер! — Халелий горестно покачал головой. — Каплан-Гирей уже на кавказском берегу.

— Когда выступает войско? — деловито осведомился князь.

— Уже выступило. Двигается, правда, медленно.

— Идут только крымцы?

— И крымцы, и большой отряд ногаев, и те татары, что осели на побережье.

На этот раз они даже не опасаются шапсугов, убыхов и других ваших братьев. Во

всем войске тридцать тысяч человек.

— Тридцать тысяч... — устало повторил Кургоко. — Похоже, они хотят раз и навсегда обескровить нас... Чтоб не было сил поднять голову...

— Да. Так хочет и турецкий султан.

— А ты, мой добрый Халелий, приехал предупредить... Почему?

— Это нехорошая война. Это не совсем война. Не спрашивай, Кургоко-паша...

— Хорошо. Куда же ты теперь?

— К балкарцам поеду. Подальше в горы. Там буду жить... — Халелий тяжело вздохнул.

— Возьмешь у меня с полсотни овец...

* * *

В тот же день хатажуковские гонцы скакали по дорогам Кабарды, сообщая о назначенном князем-правителем месте немедленного сбора всех, кто считает себя адыгом и способен владеть оружием.

К неопишуемой радости Кубати, отец послал его к аталыку — пусть соберет людей, сколько может, и заедет по пути за Казаноквым. Вдогонку князь крикнул:

— Не забывай, что конь твой — не альп (*крылатый сказочный конь из кабардинского эпоса*), и не гони его так, чтоб он летел, словно на крыльях.

Канболет был очень рад возвращению в емузовский дом, в котором мог жить почти на правах хозяина. Правда, в этом доме временно поселилась и почтенная супружеская чета знакомых тлхукотлей — это у них лежал Тузаров после ранения — и потому ни один даже самый строгий ревнитель приличий не стал бы теперь опасаться за честь молодых женщин, сестры и дочери Емуза. Радовало Канболета и то обстоятельство, что вернулся он не с пустыми руками: князь Кургоко наградил его не хуже, чем награждали любого аталыка. Получил он сотню овец, три пары длиннорогих волов ногайских, молодую кобылу лучших кровей, пистолет с колесцовым замком, турецкий ятаган из лучших и наконец унаута лет сорока, тоже из лучших: умел этот Хамац хорошо за скотиной ходить.

Когда Кургоко во время заключительного застолья объявил о своем решении, его именитые гости переглядывались в недоумении. Он, Кургоко, вообще мог не одаривать тузаровское аталычество: ведь Кубати — тлече-жипшакан, за кровь воспитанный! Но, видно, не простые соображения имел на этот счет князь. Он ясно давал понять, что теперь не время ворошить прошлое вспоминать давние обиды и недоразумения.

А Тузаров радовался не столько тому, что вновь становился «владельцем», сколько удовлетворенному чувству собственного достоинства. Кажется, чистая вода правды смысла грязь клеветы, с беспокойной жизнью незаслуженно опороченного изгоя для Канболета покончено. Пора подумать о своей новой жизни, как ее устроить не хуже, чем у людей... Возродить отцовское пепелище?.. Но еще неизвестно, удастся ли уцелеть после ханского набега. Об этом надо бы не забывать, а вот почему-то забывается. Неизвестно, какая судьба ожидает всю родную землю, а не одного размечтавшегося Тузарова, который намерен сражаться там, где будет труднее всего.

Канболету почти удалось было пристыдить себя за легкомысленные и неуместные мечтания, которые осенялись светлым обликом крепкорукрой Эммець, но отрешиться полностью от радужных видений будущего счастья так и не смог. К тому же сбивали с толку разговоры и поведение окружающих людей. Никто и не думал перестраивать быт на какой-то предвоенный лад. Крестьяне определяли земли, которые будут распахать весной, а также поля, которым предстоит «гулять» два-три года; главы семей договаривались о размерах уаса — выкупов. за

невест: намеченные на эту осень свадьбы не откладывались; старики предсказывали раннее наступление зимней стужи и советовали поторопиться с перевозкой сена-и сбором диких лесных плодов. «Что это? Беспечность? — спрашивал себя Канболет. — Но ведь каким народом надо быть, чтобы в такое время сохранять и спокойствие, и веру в лучшие дни!»

После всех этих раздумий Канболету захотелось еще раз поговорить с Нальжан.

* * *

Она срывала с дерева спелые сливы и складывала их в большую деревянную миску. Солнце в этот ранний утренний час только что взошло, и черные с голубоватым отливом плоды были еще покрыты мельчайшими капельками росы.

— Они хороши с утренней росой, — тихо, насколько позволил его мягко рокочущий бас, «прошептал» Канболет.

Нальжан не вздрогнула, а как-то застыла на мгновение, потом медленно обернулась:

— Я не слышала, как ты подошел. Это к девушке, которую хотят умыкнуть, вот так подкрадываются.

— Да нет, славная моя Эммечь, это не я, а ты меня уже умыкнула.

На щеках Нальжан вспыхнул румянец.

— Что ты говоришь, сын Тузарова... Не задавай загадки, непосильные для моего скудного разума. Возьми-ка лучше сливу.

— Мне от тебя сливы одной мало, — обиженно прогудел Канболет.

— Возьми две, а хочешь — три...

— Мне нужны не сливы...

«Как же начать этот главный разговор? Эх, верно сказано, что в неначатом деле змея сидит!» — думал он, холодея от страха.

— Так что же тебе нужно? — оправившись от смущения, спросила Нальжан.

— Может, яблоки? Груши? Весь сад?

— А мне не сад, мне хозяйка сада нужна! — вдруг неожиданно для самого себя сказал Канболет.

Нальжан была умной и чуткой женщиной, потому слова Канболета ее не удивили. Она знала, что рано или поздно их услышит.

— Ты для меня — мой нарт, мой Путеводитель в ночи (*Полярная звезда*). Не хочу я знать никого другого, да и глаза мои никогда и никого рядом с тобой не увидят. Я знаю, что твое сердце к моему сердцу стремится. Но что дальше? Ведь по происхождению мы не равны.

— Послушай меня, хозяйка сада! — Канболет был бледен и взволнован, но речь его звучала твердо. — Что бы ни говорили те, кто ценит людей по родовитости, а я не хочу никакой другой себе гуаши, кроме тебя. Вот и все. А теперь думай...

* * *

В тот же день, незадолго до последнего, пятого намаза, Канболет увидел, как на мост въехал всадник на вороном коне. Сразу узнав Кубати, Канболет поспешил во двор усадьбы, чтобы встретить кана у дверей кунацкой — впервые встретить как гостя. Остановив идущую через двор Сану, он спросил ее:

— Отгадаешь загадку? Что такое шесть ног, четыре глаза, четыре уха и один хвост?

— Это загадка для детей, — усмехнулась девушка. — Человек па коне, разумеется!

— А если одно из четырех ушей чуть-чуть подпорчено свинцовой пулей?

Сана остолбенела, но потом взяла себя в руки и неторопливо направилась к дому. В лагуне (*комната на женской половине дома*) она бросилась на тахту и уткнулась головой в подушку.

Больше всех радовался приезду Кубати этот неисправимо восторженный Куанч, не считающий себя обязанным сдерживать свои чувства. Канболет и Нальжан были тоже рады, но одновременно и встревожены. Рановато еще кану навещать своего аталыка — всего несколько дней прошло со дня расставания. Неспроста этот приезд...

Кубати не стал тянуть с объяснениями...

До самого вечера мужчины осматривали, чистили, точили оружие, придирчиво проверяли конскую сбрую и походное снаряжение. В костяной коробочке — соль, в специальном кожаном подсумке — шило, бритва, жирница, оселок, трут с кремнем и кресалом. К бурочным чехлам привязаны ружейные сошки, в колчане, как и полагается, по три десятка стрел. Не забыты и ремни для стреноживания коней, и седельные топорики, и пороховницы, и кожаные стаканы, и чистые белые тряпочки — останавливать, если потребуется, кровь...

Женщинам тоже забот хватало: подготавливали вяленое мясо (его надо хорошенько обжарить), набивали маленькие полотняные мешочки голилем и жареной мукой, варили пасту и коптили сыр.

Кубати подкараулил момент, когда Сана взяла гогон и пошла за водой. Он быстро, никем не замеченный, пересек двор, спустился к реке и предстал перед девушкой, как абрек, выскочивший из засады.

— Не бойся, это я!

— А я и не боюсь.

— А за меня? Ты ведь знаешь, куда мы едем?

— Знаю.

— Но я тебя просил не на этот вопрос ответить.

— Лучше бы тебе меня ни о чем не спрашивать.

— Почему?

— Спроси своего отца...

— Понимаю. Спрошу, конечно. Приятно, когда все решается по-хорошему. Но знай, каков бы ни был его ответ, я поступлю по-своему.

— А мой ответ тебя не интересует?

— Сама отказалась говорить, а теперь...

— Не теперь, а когда вернешься.

— Я обязательно вернусь. Ты хочешь, чтобы я вернулся?

Сана рассмеялась:

— Да разве я злодейка бессовестная или ты враг мне, чтоб я гибели твоей желала!

Кубати тоже рассмеялся, но как-то не очень весело.

— Хоть это и не совсем те слова, которых я ждал, но пусть и за них да пребудет над тобой благословение аллаха!

— Не шути с именем аллаха! Грех какой!

— Сана, послушай...

— Нет, Кубати. Тебе пора к мужчинам. Иди. А я воды наберу и...

— А что ты мне скажешь, когда я вернусь?

— Уой! Ну и хитрюга! Когда вернешься, тогда и узнаешь! Ты еще выдержи побоище, которое тебе отец устроит. Оно будет страшнее татарского.

— Выдержу, — упрямо процедил сквозь зубы Кубати.

— Вот тогда и посмотрим. А теперь иди. Слишком долго ты тут со мной... А надо бы помнить:

Не делай того тайно,

Что стыдно делать явно.

— Я ухожу, — грустно сказал Кубати. — Больше поговорить не удастся. Еще до рассвета мы будем в седлах.

* * *

Растянувшись на половину дневного перехода, пылила по узким дорогам северо-кавказских предгорий тридцатитысячная орда Каплан-Гирея. На пути встречались обезлюдевшие поселения. Разочарованные и озлобленные татары жгли пустые дома и хлева, рыскали по окрестностям в поисках хотя бы скота, но мало чего находили. Наоборот — случалось, теряли сами: в лесистых урочищах оторвавшиеся от основного войска отряды подвергались внезапным нападениям черкесских всадников, которые налетали стремительно, а затем бесследно исчезали.

Произошли и две серьезные схватки, в которые была вовлечена не одна тысяча воинов. Татары понесли заметные потери, а адыгские отряды, вовремя отступая, сохраняли силы.

Почти каждый татарский конник вел с собой в поводу еще одну лошадь, предназначенную под вьюки с добычей. На каждый десяток пеших была длинная вместительная мажара, запряженная парой сильных лошадей: тоже будет на чем перевозить награбленное добро. Крымцы явно не знали кабардинской поговорки: «Сначала шкуру с медведя сдери, а мех потом гуаше дари...»

Последний привал перед решительным сражением был устроен на берегу Малки. Еще днем Каплан-Гирей поставил здесь свой раззолоченный шатер и ждал, когда подтянется к реке все остальное войско. И вот на вечерней заре огромная масса завоевателей с шумным бестолковым гомоном, смехом и проклятиями стала устраиваться на ночлег. На пастбищных склонах, в ложбинах между холмами, среди редких островков леса и кустарника вспыхнули тысячи дымных костров. Тяжелый дух поднимался от потных разгоряченных тел и влажных кептанов и чекменей: и тела эти и одежда обычно не знали в жизни никакой другой воды, кроме дождевой (да и то лишь в тех случаях, когда не удавалось от нее укрыться).

Возле шатра в толпе приближенных хана тихо тосковал Алигоко Вшиголо-вый. Ему до сих пор не удалось снискать того почета и уважения среди крымской знати, на которые он рассчитывал. После побега Кубати, после той тревожной суматохи на ханском судне, Каплан-Гирей, казалось, забыл о существовании верного кабардинского князя, ни разу не посмотрел в его сторону, не удостоил ни одним милостивым словом. Неужели хан, натерпевшийся страху в ту злосчастную ночь, считает Шогенукова виновным в этой неприятности?

Князь все время думает, чем же снова привлечь к себе благосклонные взоры крымского владыки? Задобрить кого-то из влиятельных вельмож и прибегнуть к его посредничеству?

Но от «старого друга» Алигота вряд ли дождешься помощи. Паша еле уберег свою шкуру и теперь, будто змеей ужаленный, он и аркана боится. К тому же сераскир злобу затаил против своего спасителя: ведь Алигоко так удачно выдал хану хатажуковского отпрыска и обошел при этом сераскира, который считал пленника законной своей собственностью и распорядиться им намеревался по собственному усмотрению. Но и это еще не все! Не сумел овладеть румским панцирем опять Алигоко виноват. И опять этот скот злобствует, будто у него из-под носа стащили отцовское наследство. Ну совсем как голодный пес, беснующийся из-за того, что ему показали кусок мяса, дали понюхать, а потом спрятали! Но как бы засуетился глупый паша, узнай он, что знаменитый панцирь всего лишь в не-

скольких шагах, вон в том скромном шогенуковском шатре, у которого сидит угрюмый Зариф! Алигоко злорадно ухмыльнулся и взглянул в сторону «сиятельного», а тот, встретив взгляд князя, засопел и отвернулся.

Шогенуков отвернулся тоже и с преувеличенным вниманием начал обозревать противоположный берег Малки. Выше по течению, прямо на заход солнца — отсюда прекрасно бывает виден двуглавый Ошхамахо. Сегодня он закрыт плотной завесой облаков. Ниже по течению тянулась долина реки, которую местные жители называли Балк (впоследствии, кажется, не без помощи русских, она стала именоваться Малкой). Прямо перед собой, на той стороне реки, виден Алигоко пологий распадок, расчленяющий высокий правый берег. Там, напротив брода, извивалась, карабкаясь на склон, каменистая полоска дороги. Оттуда совсем было недалеко до обширных владений князя. Сейчас ему вспомнилось семейное предание о том, как в доме его предков впервые появился заморский панцирь. Завтра утром это чудо оружейного искусства вновь будет завезено в Кабарду. Как и тогда, почти два столетия назад...

До сих пор Алигоко охотился за панцирем с единственной целью — овладеть им, поднести как редкостный дар хану и завоевать прочное, долговременное покровительство крымского властителя. Это сулило в свою очередь такие выгоды, о каких не смеет мечтать ни один адыгский князь. А главное — удалось бы дорваться до власти. Вот тогда бы Алигоко показал! (Как и что он показал бы, кия пока еще представлялось не очень отчетливо.)

Достижению заветной цели теперь, кажется, ничто не мешало. Вожде ленный панцирь наконец-то в руках Шогенукова. (Те пройдохи, которых он, узнав о подробностях предстоящего празднества в доме Кургоко, нанял на побережье, хорошо знали свое воровское дело.) Итак, на первый взгляд, ничто не мешало. Однако оставалось еще одно нелегкое препятствие. Этим препятствием был... сам Шогенуков. Дело в том, что ему вдруг стало жаль расставаться с панцирем! Все его существо разрывалось на части: в нем ожесточенно спорили два джина — не белый, олицетворяющий добро, и черный, олицетворяющий зло, как это случается в обыкновенном смертном, а оба черные, только один поумнее, другой — пожаднее. «Отдай панцирь хану — не прогадаешь», — убеждал первый джин. — «Не хочу, — упорствовал второй джин. — Вещь такая драгоценная!» — «А польза? Одни хлопоты!» — «Может, я найду ему лучшее применение...» — «Не найдешь. Не будь дураком. Ведь сколько дней ломаешь голову, с чем бы снова подъехать к хану, чтоб его блохи заели!» — «Когда я смотрю на панцирь, он меня просто завораживает! Вдруг он принесет мне счастье?» — «Принесет, если поднесешь его Каплану». — «Не знаю, не знаю...»

* * *

В полумраке своего шатра Каплан-Гирей свершил молитву, поднялся, озабоченно покряхтывая, с намазлыка и приказал откинуть полог. В шатер скользнул слабый отсвет затухающего дня и — уже становящийся более ярким — свет от двух горевших снаружи, по краям входа, костров. С реки потянуло влажной свежестью, и хан плотнее запахнул полы парчового турецкого халата. Усаживаясь на походной тахте, заваленной пышными шелковыми подушками, он сделал едва приметный знак, и пред его ясными очами стали появляться настороженные сановники. Плечи опущены, животы втянуты, взоры потуплены — само безропотное повиновение и робкая, добродетельная скромность! Они распределялись, соответственно знатности и званиям, вдоль стенок шатра по обе стороны от проема, но не далее стоящего в центре опорного столбика. Дальше застыли, словно каменные бабы Аскании, ханские телохранители.

Усталым голосом сообщил Каплан-Гирей о том, что он молился аллаху о

ниспослании Крыму легкой победы и успешного разорения высокомерной Кабарды (к вящей славе ислама), а также богатой добычи для каждого воина. В ответ послышался негромкий, но восторженный гул ластивых голосов с изъятием благодарности луноподобному владыке и восхищения его безграничной мудростью и милосердием.

Высказался, не утерпел, и Алигот-паша:

— Победа великого хана предрешена! Ему остается только протянуть на тот берег свою священную руку — и...

— И если Хатажуков будет нам сопротивляться так же, — перебил с беспощадной насмешкой хан, — сопротивляться так же, как сопротивлялся кабардинскому правителю наш доблестный Алигот, то мы, конечно, без труда его разгромим.

Алигот съежился и зажмурил глаза. Ханская свита скромненько захихикала, прикрывая рты ладошками.

Каптан-Гирей благосклонно выждал некоторое время, давая приближенным возможность насладиться его остроумием, и заговорил уже о деле:

— Наше войско многочисленно и вооружение у нас хорошее, но мы все равно должны знать, какие силы и где собираются противостоять нам.

Один из главных военачальников хана калга (*высший, после хана, титул в Крыму*) Баттал-паша заявил, что черкесы располагают лишь разрозненными отрядами всадников и беспорядочными толпами пешего простолюда, вооруженного чем попало. Лазутчики доносят о небольших скоплениях людей в лесу, у подножья той горы, которая хорошо видна отсюда, — вон ее ближний к реке окат нависает обрывистыми уступами над долиной. По всем признакам, противостоять славным крымским джигитам смогут не более трех-четырёх тысяч врагов.

Калга грешил, конечно, против истины. Он знал, что адыгских воинов гораздо больше, что они не разрозненны и хорошо вооружены. Знал он и то, что хан не принимает на веру его донесение, но калга представлял дело так, как это могло хану понравиться.

— А все-таки с ними придется повозиться, — предостерег Каптан, — вы же знаете, черкесы — отважные и сильные воины. У них в народе есть неплохая пословица: «Комар виден едва, да кровь сосет у льва». Не так ли, друг наш любезный Алигот?

Бедный паша стал еще меньше ростом и пригорюнился теперь уж не на шутку: неужели это опала?

Хан, однако, не был намерен уничтожать верного клеврета — разве что немножко помучить.

— Ладно, успокойся. Ты еще сумеешь заслужить новые почести. А где твой кабардинский приятель, как его... еще имя на твое похоже?

Наконец-то хан вспомнил о Шогенукове! Князь вошел в шатер, с трудом подавляя противную слабость в ногах, и склонился в низком поклоне.

— Говори! — приказал хан.

«А что говорить?» — с испугом подумал Алигоко, но его изворотливая находчивость не подвела и на этот раз.

— Ослепительный хан! О ты, затмевающий свет луны даже в полнолуние! Пусть руки твои достигнут того, к чему стремятся твой прозорливый ум и великодушное сердце! Мой злостный враг Кургоко Хатажуков сумеет нанести немалый урон крымскому войску, если оно будет растягиваться в походе и расчленяться на отдельные отряды. Кабардинцы большие мастера устраивать засады и нападать неожиданно. Будь мне позволено великим ханом, я осмелился бы предложить, не мешкая ни одного дня и не тратя времени на мелкие стычки, отрезать Кургоко проходы в горные ущелья, а потом вытеснить его постепенно из лесов на откры-

тые равнины. Еще можно успеть перехватить множество мирного люда, двинувшегося вместе с тысячными стадами скота в труднодоступные отроги Главного Кавказского хребта.

— Это мы и без тебя знаем, — махнул рукой хан, однако от пронизательного взора князя не укрылось то, что его слова были внимательно выслушаны и будут, конечно, учтены.

— Ты все сказал? — спросил хан.

Шогенуков понял — если он сейчас ответит «да», то хотя и не навредит себе, но также и пользы не извлечет из этой беседы. И он решился — умный джин взял верх над жадным:

— Не в моих слабых силах оказать великому владыке мало-мальски заметную услугу, зато ее может оказать ему в битвах одна немаловажная принадлежность воинских доспехов, освященная в столице мусульманства...

— Что за принадлежность? — снисходительно поинтересовался Каплан-Гирей.

...И старинный панцирь вновь был извлечен на свет божий.

В шатре к этому времени зажгли с дюжину свечей, которые в Кабарде были редкостью даже в княжеских домах, хотя кабардинцы и поставляли воск Крыму и Турции.

Бесцветные глазки хана алчно блестели, когда он поглаживал руками отражавшую огоньки свечей изумительную голубоватую сталь. Властелин Крыма вдруг утратил изрядную толику своего величия и стал немножко больше похож на человека.

— Так ты утверждаешь, что он принадлежал еще Салаху ад-Дину? Освящен в храме Каабы и имеет чудодейственную защитную силу?

Шогенуков радостно кивал головой. Он уже почти не жалел о своем решительном поступке.

Его величество соизволил примерить панцирь. Он ему оказался слегка свободен, но если, как заявил Баттал-паша, вместо одного подкольчужника надеть два — для этой цели хорошо подойдут кожаные черкесские теджеи (*каб. — подкольчужник*), — то обновка будет точно впору.

— Что означает эта надпись на арабском? — обратился к Шогенукову хан.

Князь ответил, что ему это неизвестно, ибо он, «бедный адыг», не только не силен в арабской грамоте, но в любой другой грамоте тоже. Предание упоминало о каком-то изречении из Корана.

— А где твой грамотей? — с суровой требовательностью спросил Каплан-Гирей своего кадия (*глава мусульманского суда, священник высокого сана*). — Ты, кажется, хвастался, что он чуть не все языки знает.

Кадий, высокий и тощий старик, тяжело вздохнул:

— Коль скоро мои слова вызовут гнев нашего луноподобного, то гнев этот будет праведным. У меня самого сердце ныне полно скорби, а душа негодования: этот внук греха и сын ишачьего навоза не далее как прошедшей ночью накурился шайтанского зелья — гашиша — и неосторожно упал на раскаленные угли прогоревшего костра. Он сильно обжег свою богомерзкую харю и сейчас, наказанный аллахом, мечется в беспамятстве на моей мажаре.

— Дашь ему плетей, когда очнется, — добродушно махнул рукой хан: гневаться «ныне», хотя бы и «праведно», у монарха не было желания.

Панцирь, разумеется, никого не оставил равнодушным. Важные сановники до отказа вытягивали свои жирные шеи, перешептывались и даже не всегда могли удержаться от громких восклицаний. Она, эта сталь с золотыми заклепками и золотым львиным ликом, и в самом деле обладала каким-то завораживающим свойством!

Один лишь Алигот-паша не издавал ни звука. Угрюмо набывчившись, он из-

редка бросал на Шогенукова злобные взгляды.

* * *

Князь Алигоко вышел из ханского шатра вспотевший, по счастливый. В руках он держал расшитый бисером кошелёк с золотыми монетами, а в ушах у него до сих пор звучало сладкой музыкой обещание хана подумать о «дальнейшем положении Алигоко-паши» (имя князя хан, как выяснилось, помнил прекрасно).

Чья-то грузная туша выплыла из темноты и загородила Шогенукову дорогу. Он услышал хриплый, дрожащий от ярости голос Алигота:

— Где взял? Почему скрыл?!!

— От хана я не скрыл...

— Ведь мы должны были вместе... Мы еще там... эта... увидели вместе! И хану должны были поднести его вдвоем. Вдвоем!

— Или, что еще лучше, сиятельный паша сделал бы это один. Не так ли? — Шогенуков поклонился с насмешливым смирением и быстро зашагал в темноту.

Что-то неразборчивое прошипел ему вдогонку Алигот. Князю показалось: вшиголовый шакал.

«Ничего, ничего, — думал Шогенуков, — когда-нибудь и это тебе припомним, боров пучеглазый! А пока можешь бесноваться, только гляди не лопни с натуги».

* * *

Перед рассветом обрушился водопадный ливень, промочивший до костей все войско.

Река вздулась, верхушки больших валунов, еще вчера торчавшие из воды, сегодня скрылись под мутными потоками. Не радовал и неожиданно холодный ветер, налетавший порывами со стороны Главного хребта.

Переpravлялись завоеватели медленно, с частыми задержками. Огромные колеса телег, на три четверти утопавшие в бурой воде, застревали между камней, а лошади, не находя достаточной опоры, не могли сдвинуть с места тяжелый груз. Всадники легче справлялись с разбушевавшейся рекой, но их тоже сносило быстрое течение. Многих своенравная Малка стаскивала с брода и швыряла на глубину; то и дело можно было видеть, как еще несколько человек вперемишку с лошадьми, барахтаясь и захлебываясь, а то и совсем скрываясь под водой, стремительно «плывет» вниз по течению.

Десятки мажар опрокинулись, развалились на части: тонули и кони, если кто-то не успевал обрезать постромки.

Крымцы тащили с собой тяжеленную пушку в упряжке из шести лошадей — это был подарок какого-то из султанов какому-то из ханов. Толку от пушки в такой войне никакого: Каплан, видно, решил взять ее для пущего устрашения противника и придания дополнительного веса своей царственной особе.

Когда переправилась большая половина войска, а было это уже после полудня, переправили и луноподобного с его свитой. Повозку, устланную войлоками и коврами, тоже тянули, как и пушку, шесть лошадей, да еще восемь здоровенных нукеров помогали проворачивать колеса. Хан громко икал, содрогаясь всем телом.

На том берегу орда поднималась вверх по склону и занимала обширное безлесное плато на той самой горе, чей ближний к реке скат написал обрывистыми уступами над малкинской долиной.

Противоположный от реки край плато полого спускался к дремучему лесному массиву.

К вечеру на правый берег Малки перешло уже все войско...

ХАБАР ШЕСТНАДЦАТЫЙ,
*предостерегающий тех, кто забывает
о метком высказывании кабардинских крестьян,
заметивших, что «бугорок, насыпанный кротом,
арбу опрокидывает»*

Маленький Тутук, его громоздкий приятель Шот и еще два человека сидели в густом подлеске у нижнего края плато и наблюдали, как на верхней половине чуть покатога склона накапливалось крымское войско. Старший среди четверки, бывалый шестидесятилетний муж со шрамами на обветренно-багровом лице и чуть сдвинутой набок переносицей, имел круглый деревянный щит с набитыми на его поверхности железными пластинами, русский стрелецкий бердыш и шлем на голове. Все наступательное и оборонительное оружие старого витязя было «по возрасту» значительно старше не только его самого, но, наверное, и его дедушки. Безусый юноша, внучатый племянник почтенного воина, располагал короткой пикой с остро отточенным наконечником. У Тутука — большой боевой лук и сабля. Шот выбрал самое подходящее для себя оружие: огромную дубину с круглым утолщением на конце, утыканном металлическими шипами.

На горе становилось, как отметил Шот, гораздо оживленнее, чем когда-либо это видели здешние чабаны.

— А они все идут, идут, идут, — сказал Шот, — ну как бесконечные овечьи отары во время перегона.

— Только не бывает таких зубастых овец, — мрачно проворчал матерый во-
яка.

— Очень много, очень, — сокрушенно покачивал головой Шот. — Побьют они нас.

Тутук насмешливо фыркнул:

— А ты, мой мальчик, не дойдя до брода, рубаху не задирай!

Старый джигит обвел молодых соратников снисходительным взглядом.

— Ваши мамыши еще вас всех и рожать не думали, когда мы с удалым Каспулатом, сыном Муцала и внуком Сунчалея, били этих татар. Били на реке Тэн (*кабардинское название Дона*), били в степях тургутских (*кабардинцы называли калмыков тургутами*), где целый день скачи — не увидишь ни деревца, схватывались с татарами, да и турками тоже у стен Азова и на великой украинской реке. И всегда почему-то крымцев оказывалось больше, чем нас, но мы их все равно расклевывали, как ястребы куропаток, и славу себе добывали немаловажную. Каспулат, бедный, любил меня — и за то, что мое имя Сунчалея (как у его деда), и за то, что привелось мне разок-другой немножечко отличиться в кое-каких рукопашных стычках. Да-а... А вот этих, — он небрежно кивнул в сторону врагов, — надо было у переправы встречать. Там они не смогли бы действовать излюбленной повадкой — разворачиваться широкой лавиной и напирать всем скопищем. Ведь только в открытом и ровном поле сильна их конница. Да-а... На берегу, на узком берегу, клянусь железными ногами Тлепша, мы должны были на них напасть!

— Верно говоришь, Сунчалея! — согласился Шот. — Мы бы там слегка поразбавили Балк красной краской. Жаль, не успели встретить вовремя. Кургоко сидит сейчас в лесу вне себя от возмущения: некоторые наши князья не слишком спешили на его зов и дружины привели не слишком многочисленные.

— А кое-кто с охотой покорился бы хану! — вдруг вставил слово безусый паренек.

Сунчалея удивленно вскинул седые дремучие брови:

— Эге! Наша юная курочка запела — быть беде! На этот раз ладно, Бишка, прощаю твой невоздержанный язык. — Он обратился к Шоту и Тутуку:

— От волнения у него это. Первый раз в битву. А вообще он сказал правиль-

но, хотя и должен был помалкивать, пока не спросили...

Некоторое время не только Бишка, но и все остальные молчали, глядя в сторону татарского становища.

Косматый серый войлок дождевых туч висел над горами, упрятывая в своей толще наиболее выдающиеся вершины. Ветра не было, но зябкая сырая промозглость добиралась до костей. Четверке джигитов казалось, что весь мир объят суровым, тоскливо-безысходным раздумьем, словно века покатались вспять — к той далекой древности, когда злонравный бог Пако лишил нартов огня и приковал к скалистому утесу в снегах Ошхамахо доблестного и мудрого Насрёра, хотевшего вернуть огонь людям. Казалось, Насрен все еще там, в ледово-каменном плену, и хищный орел, затмевая свет исполинскими крыльями, терзает печень героя. Другой славный герой — Батараз — еще не убил чудовищную птицу, не освободил Насрена Длиннобородого, тхамату нартов, и добрый благодатный огонь еще не скоро запыхает в остывших очагах и унылых людских душах.

— Костров не разжигают, — тихо сказал Тутук.

— После такого ливня и поголовного купания в реке — где им взять сухую растопку? — резонно заметил Шот. — А мы вчера даже все заготовленное тут сено сволокли в лес...

— Ах, бедолаги! Ни обсушиться им, ни шурпу сварить, ни своих лохматых лошадемок сеном покормить!

— Смотри, шатры ставят. А вот и целая стая тетеревов расфуфыренных, — Шот покосился на лук друга и вздохнул. — Далековато. Пять раз по сотне шагов...

* * *

На лесных прогалинах и под сенью вековых чинар, мощным массивом примыкавших к пастбищному плато, занятому татарами, собирались те, кто мог держать в руках оружие и считал себя адыгским мужчиной. С утра этот лес наполнялся защитниками родной земли, подобно тому, как напиток, льющийся из сосуда, наполняет чашу — сначала широкой струей, затем тоненькой, а под конец — отдельными каплями. Пеших воинов было несколько меньше, чем конных. А всего собралось около восьми тысяч человек, не отягощенных, кстати, медлительным обозом или даже вьючными лошадьми.

Простые ратники, из самых бедных земледельцев, дорожную поклажу свою — бурки, переметные сумы с припасами, а то и вязанки дров — привезли на трудолюбивых, но неблагородных ослах.

Жизнерадостный Ханаф, гостем которого недавно был сам пши Кургоко, сейчас подсовывал своему ослу пучки сена и приговаривал:

— Ешь, ешь, серенький! Не обращай внимания на этих надутых уорков, которые, проходя мимо, поглядывают на тебя с насмешливым презрением и зажимают породистые носы. Их, видишь ли, воротит от запаха твоей мокрой ослиной шерсти и моих раскисших шарыков. Но ты не смущайся. Мы ведь тоже, как уорки и их кони, воду не носом пьем.

Отдыхавшие рядом односельчане Ханафа, дружные братья Хазеша, Хакяша, Хашир и Ханашхо, сыновья покойного Хабалы, дружно давились от смеха.

— Понимаете? Наставляет дочь, чтобы невестка слышала!

— Запомни, серенький, — продолжал Ханаф, — мы с тобой трудимся всю жизнь от зари до зари и кормим не только себя, но и таких вот надутых чванством уорков. При этом мы не суем голову туда, где наш хвост застрянет, и не желаем другому того, чего себе не желаем.

Хабаловы сыновья веселились от души и похваливали своего друга (верно говорят: «Слово умное — вол, слово глупое — вошь»). В этот день им предстояло еще одно развлечение, но уже совсем другого рода.

Рыжий святоша Адильджери мыкался между группками воинов, неся людям вдохновляющие, как он надеялся, слова ислама, но редко кто признавал, что это слово — «вол». От рьяного еджага отмахивались старики, увлеченные сейчас воспоминаниями о битвах, происходивших чуть ли не в те времена, когда «Ошха-махо был кочкой, а Индыль (*Волга*) ручейком». Одноглазый зубоскал Нартшу со своими абреками просто его высмеял, нисколько не считаясь с тем, что Адильджери теперь уорк-шао и потому гораздо выше всяких там тлхукотлей. (Сам-то он очень быстро забыл о том, что тоже родился в крестьянской семье.) Ответил бы Адильджери наглецу ударом кинжала, да ведь опасно ссориться с абреками... Наконец неустанный проповедник ислама пристроился к дружным сыновьям покойного Хабалы и их приятелю Ханафу. Сначала мужчины слушали с интересом, потом стали задавать недоуменные вопросы:

— Вот ты, уважаемый еджаг, говоришь, что в эдеме прекрасно, там сады, орошенные потоками вод. Так? — спросил Ханаф.

— Так, — подтвердил Адильджери.

— Тогда скажи, разве мало садов на нашей адыгской земле? А разве не хватает воды? Да ее достаточно, чтобы взрастить в сто раз больше садов, чем у нас есть, да еще останется, чтобы затопить всю твою геенну огненную!

— Постой, неразумный ты человек! — улыбнулся Адильджери. — Ведь рай — это вечное наслаждение и отдых. Это изысканные яства и неземные гурии — девушки, значит, которые ублажают правоверных, умерших праведной смертью! Там нет ни трудов, ни забот, остается лишь славить аллаха да вкушать удовольствия.

— Э, нет, добрый Адильджери! — возразил Хакяша. — Если моя жена застанет меня с гур... (*по-кабардински худой, тощий, высушенный*) или как там зовут этих девушек, она возьмет в руки веретено, а то и дубовый шинак (*каб. — тарелка*) и так ее погонит, так погонит! Если райская красотка и спасется бегством, то лишь благодаря легкости своего тела. Боюсь, и мне достанется...

— Чудак ты! — рассмеялся Адильджери вместе со всеми остальными. — Женщин в эдеме не допускают. Кстати, кошек и собак тоже.

— А лошадей? — испуганно спросил Хазеша.

— Какие там лошади! — Адильджери досадливо, но, кажется, с некоторым сожалением махнул рукой.

— Почему же к женщинам такая унижительная несправедливость? — возмутился Ханаф. — Джабаги из Казанокее умнее нас всех, а он говорит: «Не судите дважды и не унижайте жен своих».

— Вы бы слушали, что говорит пророк Магомет, — мулла-любитель больше не улыбался.

— Ведь женщина, — продолжал Ханаф, — мать рода человеческого, в том числе и твоя мать, Адильджери. От женщины много и другой пользы. Кто придумал молот, наковальню, щипцы, серп? Старинные предания рассказывают, как бог-кузнец Тлепш мял раскаленное железо руками, клал на камень и ковал кулаком, пока Сатаней, цветок нартов (*по-кабардински — люттик*), не подкинула в его кузню собственноручно выструганные из дерева маленький молот и наковальню. А щипцы? Она показала Тлепшу двух спящих змей, лежащих крест-накрест одна на другой, и пригвоздила их острой палкой к земле, проткнув разом обоих, — вот тебе и щипцы! То же самое и ножницы. А помнишь про старуху Уорсар? Она сочинила песенку о серпе, когда еще никто не знал, что это такое, и созревшее просо рвали руками:

*Если железа полоску согнуть.
Как перо из хвоста петушиного,
Зазубрить ее изнутри,*

*Как гребешок петушиный,
То сделать останется ручку
Из деревянной чурки:
Вот тогда и получится Серп!*

— Опять мне сказки рассказывают! — обозлился Адильджери. — Темные вы люди! Сидите у себя в глуши, в ничтожном своем хабле и ничего не знаете.

— Ну, о твоём рае мы узнали достаточно, — заявил Ханаф.

— Быть разлученными с нашими женами, сестрами, дочерьми... — сказал Хазеша.

— Прохлаждаться с неземными бесстыдницами, набивать брюхо сластями и при этом еще до хрипоты славить аллаха... — сказал Хакяша.

— Не иметь собаки, которая поможет и овец сохранить, и барсучью нору отыскать, собаки, которая просто душу порадует... — сказал Ханаixo.

— Не иметь коня, чтобы скакать по зеленому пастбищу, веселя свое сердце... — сказал Хашир.

— Нет, не нравится нам такая замогильная жизнь, — подвел итог Ханаф. — Чтобы жить и не провести весной борозду по просыпающейся земле, не услышать на заре петушиного крика, не увидеть, как твой несмышлениш тянется к тебе ручонками?!

Адильджери вскочил на ноги и, прежде чем торопливо их унести, проговорил голосом усталого отчаявшегося человека:

— Может, им, язычникам твердолобым, жить осталось всего одну ночь, а они... а они, шайтан знает, о чем они думают!

* * *

О предстоящем смертельном побоище больше всех, конечно, думал Кургоко Хатажуков.

Он мучительно искал верное решение, как лучше распорядиться ограниченными своими силами, но ничего путного в голову не приходило. Если на рассвете напасть первыми, ошеломить неожиданной атакой и затем быстро отступить... Нет, не годится. Кабардинцы, увлеченные горячкой боя, даже не услышат, не захотят услышать команду об отступлении. У них свои понятия о воинской доблести. Вместо того чтобы урвать победные цветы кратковременного внезапного натиска и с благоразумной поспешностью скрыться в лесу, ожидая нового удобного случая, храбрые джигиты в погоне за новыми цветами полезут дальше и увязнут в глубоком болоте численного превосходства крымцев. Выжидать? Бросаться из засад? Совсем не годится. Так не удержишь татар. Они могут успеть перехватить беженцев, закупорить проходы в ущелья, как сосуды затычками. Кроме того, и это самое худшее, Кургоко, действуя одним пальцем, не будет знать, что делают остальные девять...

Сейчас вокруг него собрались именитые князья и тлеотлеши, ждут курговского слова, сами пока ничего не предлагают. Издали на Хатажукова посматривает веселыми пытливыми глазами Ханаф — хорошо запомнил Кургоко этого славного человека! А вот возвращаются с опушки леса земляки и, можно сказать, верноподданные князя — добродушный бугай Шот и Тутук, лихой парнишка, который вполне мог оказаться сильнейшим на недавних игрищах и заполучить великолепный панцирь, будь у него соперник послабее; чем Кубати. (Сын тут же стоит поодаль, скромно прячась за спинами Тузарова и Казанокора.)

Кургоко встал со ствола поваленного дерева — сидел на нем долго и в неудобном положении, пока не заныла поясница, — оправил черкеску. Князья и тлеотлеши насторожились, подались вперед.

— Эй, сосед! — Хатажуков окликнул Шота. — Что вы там с приятелем видели интересного?

Польщенный тлхукотль с удовлетворением хмыкнул и остановился.

— Крымцев там кишит, как пчел в ульях после заката солнца. Наша добрая Псыхогуаша сыграла с ними неприятную шутку: из-за ливня, а потом купания головного в холодном Балке татары лишились сухого топлива и устраиваются на ночлег без огня, мокрыми. Жаль, чихают не все разом и не в одну сторону, а то сдули бы с обрыва шатры хана и его пашей, чтоб трясучка ихние кишки узлами завязала!

— Твое желание, Шот, конечно, благородное, — со сдержанным смешком сказал Кургоко, — но завтра нам придется все же надеяться только и только на свое мужество.

— А почему не сегодня? — спросил Арзамас Акартов. Князь отрицательно покачал головой:

— Скоро будет совсем темно...

Джабаги, Канболет, Кубати о чем-то оживленно пошептались, затем Казанов быстро подошел к князю:

— А в самом деле — почему не сегодня? И чем темнее, тем лучше! Здесь этот парень, — Джабаги кивнул па Шота, — своими ульями и пчелами напомнил того горящего козленка, который прыгал, по пасеке. И вот кое-кому пришла в голову мысль: а если козленок не один и если вообще не козлята...

Кургоко поднял руку:

— Не продолжай. Я всё понял! Шот! Я поручаю тебе взять людей, сколько нужно, согнать к закраине леса всех ослов и привязать па спину каждого по хорошей охалке сена. Думаю, у нас наберется, хотя бы сотни три этих животных.

— Я тоже все понял, мой князь! — радостно взревел Шот. — А три сотни ослов наберется, даже если считать ослами только тех, у кого четыре копыта и длинные уши! — с громким хохотом он помчался исполнять приказание.

— А вы поняли? — обратился Хатажуков к окружающим.

Князь Ислам-бек Мисостов, сторонник союза с крымцами, кисло осклабился:

— Вместо нас воевать будут ослы? Разве это украшает адыгов?

— Не слыхал я, чтоб наши предки ишаков себе на помощь призывали, — озадаченно пробормотал Карабин-Кара.

Джабаги улыбнулся старику:

— Не зови прошлое, тхамата Кара! Новые поколения всегда взгромождаются на плечи предков и видят дальше, чем они.

— А ты, Мисост-паша, — усмехнулся Кургоко, — не беспокойся. Работы и нам хватит. Слушайте все внимательно и запоминайте. С наступлением темноты пешие ратники погонят ослов прямо на становище татар, вблизи которого одновременно подожгут сено. Это будет сигналом для всадников. Наша конница врубится в ханский стан вместе с пешими, когда ослы начнут метаться среди врагов. Отступать им будет некуда — посыплется с кручи, как мусор с высокого порога.

— Вот оно что! — с воодушевлением закричал Султан-Али Абашев. — Налетим, как совы на мышей! — он выхватил сверкающий клинок и со свистом рассек им воздух.

Не так пылко, но тоже очень одобрительно отнеслись к затее князя-правителя Ислам Мусаев, Арслан Катуков, Татаркан Мурзаев, балкарский таубий Гапалау Балкаруков — они сразу поспешили к своим лошадям и дружинникам, чтобы готовиться к сражению.

Кургоко положил руку на плечо Джабаги:

— Да-а... Хорошо работают «кое-какие» головы!

— Очень хорошо, — серьезно, без улыбки ответил Казанов. — Но если ты

имеешь в виду мою голову, дорогой Кургоко, то на этот раз ошибаешься. Сейчас я тебе пока ничего не скажу. Не-е, не спрашивай...

* * *

Более трехсот спокойных, безучастных к интересам людей осликов, навьюченных вязанками сена, были построены, как солдаты, в один ряд на границе леса и пастбищного плато. Сюда вплотную придвинулось все войско: впереди — пешие, позади — конные. О замысле ночной атаки знали все.

— Ну, серенький, — сказал Ханаф своему любимцу, — тебе предоставляется честь совершить такой подвиг, о каком твоя ослиная башка в жизни никогда не мечтала!

В темноте с обеих сторон сдавленно захихикали, а Ханаф притворно вздохнул:

— Завидую тебе, дружок. Возможно, ты узришь самого Каплан-Гирея и удостоишься чести согреть его своим теплом!

Смех стал погромче.

— Да тише вы! — слышался из задних рядов чей-то начальственный окрик.

Кто-то рядом с Ханафом заговорил вполголоса:

— Сейчас, наверное, начнем. Совсем темно стало. Как в котле, накрытом крышкой. Даже ни одной звезды не видно. И татары утомонились...

— Вот так же было темно, — это уже другой голос, по-старчески дребезжащий, — когда стояли мы ночью на крутосклонном берегу Псыжа и...

...И о том, что же все-таки произошло на упомянутом крутосклонном берегу, ветерану досказать не удалось.

— - Пошли! Пошли!! Пошли!!! — пронеслась резкая команда из конца в конец «ишачьего ряда», и, подгоняемые ударами плетей и кинжальными укольчиками, взволнованные животные резво затрусили вперед, сотрясая ночной воздух обиженным ревом.

Когда до неприятельского лагеря оставалось не более сотни шагов, позади грохнул сигнальный выстрел — и каждый «погонщик» на бегу сунул тлеющий трут в сено. Триста движущихся костров вспыхнули почти одновременно. Несколько мгновений — и обезумевшие от ужаса лопоухие трудяги оказались в гуще татар с их повозками, походным скарбом и громадным количеством лошадей.

Сравнение с потревоженным пчелиным роем было бы слишком бледным. Отчаянные вопли крымцев, надсадный ослиный рев, гулкий топот десятков тысяч копыт и пронзительное ржание коней — от всего этого, казалось, небо не выдержит и рухнет на землю. Кабардинское ополчение еще не успело добраться до врагов, а среди них уже были тысячи задавленных насмерть и покалеченных. Боевые кличи кабардинцев тонули в разноголосом гаме татар; звона металла не было слышно, хотя все восемь тысяч ополченцев уже вступили в битву.

Каждый понимал: надо успеть нанести крымцам как можно больший урон, пока еще горит сено, но вот кто-то догадался и поджег одну мажару, в другом месте запылала другая, затем третья... Стало светлее, несмотря на то, что многие ослики, из самых догадливых, когда их спины припекло по-настоящему, начали кататься по земле и гасить пламя. Остальные животные неслись напролом к дальнему краю становища, как бы подталкивая перед собой лавину лошадей и людей, все уплотняющуюся по пути к пропасти. Напор живой лавины был так силен, что целые сотни татар, будто сметаемые гигантской метлой, сыпались с сорокасаженного обрыва вниз, к реке. Обреченные, они упирались, рубили саблями своих же людей, на которых давили задние ряды, лучники осыпали эти ряды ливнем стрел, но попробуйте сдержать горный обвал!

Неподалеку от ханского шатра в первый и последний раз с ужасающим грохотом рывкнула татарская пушка, причинившая вред лишь своим хозяевам. Незадачливые пушкарки переусердствовали, начинив ее слишком большим зарядом пороха: литой чугунный ствол разорвался в куски и несколько человек было убито и ранено. Переполох усилился.

— Зажигайте повозки! — хрипло кричал Кургоко, размахивая окровавленной саблей. — Жгите мажары!

И увидел князь пронесшегося по полю битвы Шота с факелом в одной руке и своей неимоверной дубиной в другой, увидел, как занялась дымным пламенем еще одна повозка. Пробежал мимо князя и какой-то странный бородач с длинными космами русских волос на непокрытой голове: он гнался за двумя татарами, утробно гогоча и выкрикивая русские ругательства. Те обернулись и с яростью стали отбиваться, короткими кривыми клычами от его тяжелого клинка.

Сбоку выскочил одноглазый всадник:

— Держись, Жарыча! — рывкнул он и рубанул саблей одного из татар.

«Где же Кубати? — думал Кургоко, пробиваясь к центру побоища. — Не видно и Казаноква...»

А Кубати еще в самом начале ворвался в центр лагеря, где удалось уцелеть и не оказаться вовлеченными в бешеный поток бегущих животных и людей, превратившихся в беспорядочное стадо, еще множеству завоевателей. После того как схлынула убийственная лавина, они опомнились и взялись за оружие, инстинктивно теснясь к пятнам света вокруг горящих мажар. Некоторые из них ухитрились даже поймать коней и вскочить в седла.

Кубати дрался одновременно с двумя всадниками да еще двое пеших насккивали с боков, пытаясь достать его вороного остриями сабель. Один из них подобрался слишком близко — тут же получил молниеносный колющий тычок в горло, тоненько всхлипнул и упал.

Вороной грудью столкнулся с конем широкоплечего молодого татарина, рубанувшего изо всех сил тяжелым ятаганом. Кубати отразил удар, уклонился от сабли второго всадника и, в свою очередь, успел раскроить плечо этому второму, который завизжал, как женщина, нечаянно наступившая на лягушку, и свалился с коня. Однако с первым всадником было справиться непросто. Он искусно владел и конем и клинком. К тому же мужество отчаяния придавало ему силы. Да помогал назойливый пеший ратник, не оставлявший надежду спешить Кубати. Впрочем, от притязаний последнего избавила нашего героя пика безусого Бишки, появившегося здесь вместе с двоюродным дедом.

— Молодец, мальчишка, клянусь железными ногами Тлепша! — орал старый вояка. — Только не горячись, гляди в оба! Вон выплывают новые рожи из темноты!

И Сунчалей с Бишкой бросились вперед, давая возможность Кубати без помех завершить поединок. Татарин орудовал ятаганом ловко и мощно. Клинок Кубати был вдвое легче, и юноше приходилось применять все свое умение, чтобы сабля не сломалась под сильными рубящими ударами. Он мягко пружинил кистью, и, подставляя под ятаган лезвие клинка, в последний момент еле уловимым движением поддавал его вниз и чуть в сторону. Кубати все время старался теснить соперника конем, пока не прижал его почти вплотную к горящей повозке.

— Да это Бати! — вдруг крикнул, задыхаясь, татарин. — Вот собака!

— Ага! Соученик! — тоже узнал бахчисарайского знакомого Кубати. — Как поживаешь, Осман?

— Как надо, так и поживаю, а тебе жить больше не придется! — он сделал резкий выпад, но не достал Кубати.

— Нет, я еще поживу, — юноша ринулся в атаку. — А тебе нельзя задерживаться в этом мире. Слишком хороший у тебя был учитель, — удар, — и ты, доро-

гой Осман, — звон стали, — теперь очень, — свист клинка, — очень опасен!

— Так получи же, скотина! И-и-эх!

— Возвращаю тебе! На! На!!

Осман уже выдохся, пот заливал его глаза. Где-то он чуть-чуть опоздал — и сабля Кубати пришла в соприкосновение с его низким лбом. Еще дважды татарин слепо махнул ятаганом и зарылся лицом в гриву лошади. Кубати хотел рубануть еще, но увидел, что это лишнее: Осман тяжелым мешком плюхнулся на землю, а его лошадь рванулась в сторону от полыхавшей высоким пламенем мажары.

Кубати поскакал через темную полосу склона вверх, туда, где горела целая вереница повозок, составленных вместе наподобие ограды. Земля под копытами вороного почти сплошь была усеяна телами мертвых и раненых людей. «Где же Канболет? — думал он. — И Куанча не видно...»

А Куанч лежал в это время, придавленный своим убитым конем. Только что он летел вперед, напролом, упоенный азартом битвы, ощущая в себе могучую бесконечную силу и не ведая, что такое страх, но как назло две шальные стрелы прилетели откуда-то из темноты: одна глубоко вонзилась в шею коня, а наконечник другой вспорол кожу на голове Куанча. И он лежал теперь в полубреду-полусознании, и не было у него сил подняться...

Канболет бился у вереницы горящих повозок. Здесь татарам отступить было некуда и они дрались, как затравленные волки, прижатые к огненной стене плотными рядами пеших и верховых кабардинских воинов.

Удары Тузарова — молниеносные, но расчетливые — были страшны и почти все достигали цели. После него в гуще врагов оставался проход, словно он прорубался сквозь заросли терновника. Вслед за Канболом продвигался Джабаги, стремившийся занять место бок о бок с другом. Тузаров краешком глаза замечал это и не давал увлечемому Джабаги совать в пекло его драгоценную голову. «Хоть бы он получил, что ли, небольшую царапину, — с беспокойством подумал Канболет, — тогда я приказал бы своим людям силой оттащить Казаноква в безопасное место».

Справа слышались возбужденно-радостные петушиные крики Карабин-Кары:

— Бей! У-о, адыги, бей!! — и даже запел от избытка чувств:

— О-о-ри-ра, уо-ри-ра-а-а!

Старый боевой петух вдруг обмяк и склонился к шее коня. Тотчас пара всадников пристроилась с боков и повлекла своего предводителя в сторону леса. Кара еще вскинул на прощание голову и, больше интересуясь ходом битвы, нежели глубокой колотой раной в бедре, весело завопил:

— Так их, дети! Бей! Смотри, как тузаровский малыш усердно трудится! Учись у него!

Слева от Канболета успешно действовал Тутук. Легкий и проворный, он вертелся среди татар, как балкарский хайнух (*волчок из коровьего рога*) на льду. За клинком его сабли невозможно было уследить, лишь мелькали алые отблески пламени, отражавшегося в гладкой стали. Пехотинцем он оказался ничуть не худшим (лошадь его погибла), чем всадником.

Хатажуков, еще нынешним вечером мечтавший о чуде, которое могло бы спасти Кабарду, сейчас хотел гораздо большего — полного уничтожения крымского войска. «Проникнуть бы туда, за этот огненный палисад, оградивший шатры ханских приближенных и самого хана! Там Алигот-паша, там Алигоко Вшиголо-вый! Похоже, что лагерь в лагере удерживали не более двух тысяч человек. Оттуда летят еще стрелы, но никаких вылазок нет. Пожалуй, и быть не может», — решил Кургоко. Он знал, что татары обложены с трех сторон. Четвертая — глубокая пропасть. Он знал, что справа, где начинается спуск к малкинскому броду, путь перекрыт конниками Абашева, Акартова и Балкарукова; на левом фланге пытается во-

рваться в малый лагерь одноглазый Нартшу со своими абреками и толпами карахалков (*простой крестьянин*). В центре — самые лучшие силы. Вот и сын его тоже — Кургоко увидел Кубати в полусотне шагов от себя и невольно им залюбовался, не испытывая за него ни тени беспокойства. «Такие витязи в молодости не гибнут. Они проходят многолетний путь ратной славы», — подумал Хатажуков.

— Эге-ей! Растаскивайте повозки! — прогремел вдруг над полем боя оглушительный рокочущий рев, перекрывший весь гул сражения: и тысячеголосые победные кличи атакующих, и отчаянные жалобы избиваемых крымцев, и ржанье лошадей.

— Ха! Тузаров, конечно! — пробормотал вслух Кургоко. — Вовремя он вставил свое словечко...

Возле одной из догорающих мажар появился громила Шот и разнес ее в щепки несколькими ударами своей дубины. Точно так же он поступил с соседней повозкой:

— Вот вам дорога в Крым! Вот вам ханжал! (*каб. — ханская смерть. Так впоследствии стала называться гора, на которой произошло побоище. Потом слово стало звучать привычно для русского произношения — кинжал*) Кабардинцы хлынули в образовавшуюся брешь, подобно водному потоку через пролом в запруде. Первыми были Канболет, Кубати, Тутук, Джабаги и Шот. Не отстал от них и Хатажуков, но здесь он понял, что стремиться дальше — глупо и опасно. Впереди темь такая, словно у тебя повязка на глазах. А возле ушей гудят, как потревоженные шмели, татарские стрелы.

Кургоко пробился к Тузарову и велел ему крикнуть, чтобы все отошли за линию повозок и ждали рассвета.

* * *

Накануне вечером, когда Каплан-Гирей, посасывая костяной мундштук наргиле, грелся у себя в шатре среди жаровен с горящими углями, он и мысли не допускал, что возможно нападение кабардинцев. Приказал, однако, на всякий случай огородить свой личный стан вместе с отборной трехтысячной конницей сплошной цепью громоздких мажар. (Позже хан возблагодарил аллаха за то, что владыка небесный надоумил его поступить столь предусмотрительно.)

Вечером он крепко заснул, правда, вздыхал тревожно во сне и слегка постанывал. Ханские телохранители тоже начали клевать носами, поддавшись ослабляющему воздействию наступившей тишины и ночного непроглядного мрака.

От жуткого ослиного рева хан проснулся не сразу.

Пытался еще голову прикрыть подушкой. Изволив же услышать дикое ржание лошадей, топот множества копыт и гортанные вопли целого войска, охваченного животным ужасом, Каплан-Гирей подскочил на своем ложе и свесил босые ноги с тахты. В шатер вполз на четвереньках Баттал-паша:

О, луноподобный! Нельзя терять времени!..

— Знаю! Еще днем об этом говорили, — съехидничал хан.

— Лучше, ежели наш властелин будет наблюдать за ходом битвы с того берега! — плачущим голосом воскликнул паша.

— Да, конечно, оттуда будет гораздо виднее, — кротко заметил Каплан и, выкатив глаза, прошипел:

— Сгною в яме, ишачье отродье!

Скоро монарх сидел верхом на хорошем рослом коне гнедой масти и, окруженный своей верной гвардией, медленно протискивался к реке сквозь паническую сумятицу этого «вечера потрясений». Турецкие сапожки, украшенные узорчатым золотым орнаментом, он так и не обул. Босиком ехал. Хан и вылез-то из

шатра с трудом, так как походное его жилище под натиском мечущихся лошадей повалилось набок.

С краю, у самого обрыва, нукеры Баттала-паши растащили в стороны несколько повозок (они еще не горели) и устремились дальше, рубя клычками направо и налево взбесившуюся толпу своих соотечественников. Наконец добрались до спуска, едва успев выскользнуть из-под клыков капкана.

Каплан-Гирей вспомнил вдруг об оставленном панцире, хотел даже послать за ним, но промолчал: чудесная броня была сейчас так же недостижима, как и луна, с которой сравнивали крымских владык.

В это время обладателем панциря снова стал Алигоко Вшитоловый. В невообразимом хаосе, творившемся на краю плато, он сумел сохранить трезвую расчетливость поведения, действовал быстро и решительно, как хорек в курятнике. Под покосившимся пологом ханского шатра (опорный столб хоть и сильно накренился, но еще не упал) князь нащупал панцирь и теперь пытался зачихнуть его в хурджин. Сослепу наступил на чье-то лежащее ничком тело, которое старчески пискнуло и запричитало аятами из Корана: «Бисмилляхи, рагмани, рагим...» В тот же миг край шатра загорелся — вероятно, из жаровни просыпались угли, — и Шогенуков узнал крымского кадия, а тот, выскакивая вместе с князем наружу, узнал Шогенукова. «Сунуть бы ему кинжал между ребер», — подумал князь, но резвый старик уже растворился в темноте.

Зариф ждал тут же, еле сдерживая под уздцы двух беснующихся коней.

Хвост многосотенного ханского сопровождения еще не был защемлен ринувшимися в атаку кабардинскими всадниками. Алигоко с Зарифом успели попасть в общий поток, но двигаться им пришлось по опасному краю пропасти, куда то и дело свергались то пешие, то конные, потесненные сбоку.

Уже возле самого выхода за этот поначалу спасительный, а теперь уже становящийся губительным тележный «рожон» кто-то схватил Алигоко за левую ногу, свирепо визжа удивительно знакомым голосом. Князю нетрудно было догадаться, что это Алигот-паша, потерявший и коня и своих слуг.

— Спасайся сам, пучеглазый! — крикнул Шогенуков и стукнул его по макушке круглым татарским калканом.

Алигот пошатнулся, выпустив княжескую ногу, и, не удержавшись на кромке утеса, сорвался вниз.

Алигоко и Зариф чуть ли не последними просочились на еще не занятое кабардинцами пространство, спустились к броду и поскакали берегом вниз по течению. Теперь им с татарами было не по пути, теперь ничего хорошего ожидать от хана не приходилось.

С рассветом ожесточенная битва возобновилась, но продолжалась недолго. На горе оставалось татар не более тысячи и они не могли оказать решительного сопротивления. Кургоко выяснил: с ханом ушли около двух тысяч конников — и это все, что уцелело от огромного войска. Пленных и раненых было очень мало. Потери кабардинцев сравнительно невелики, всего лишь тысячи полторы.

Кургоко намеревался преследовать хана и добить его окончательно, но другие князья не выразили явного желания уходить от оставшегося на плоскогорье богатства: здесь было столько оружия и уцелевших лошадей! Возбужденные уорки рыскали по полю, а над полем кружились тучи воронья.

Шогенукова нигде не обнаружили. Зато Алигота-пашу князь-правитель увидел застрявшим в развилке корявого дерева, выросшего на одном из карнизов каменистой кручи. Это дерево росло всего в паре саженей от края обрыва, но паша был мертв: ясно, что сердце его просто лопнуло от страха. Кургоко разочарованно поморщился, а встретившись с вопрошающим взглядом Джабаги, только махнул рукой. Неподалеку от них заглядывал в пропасть Шот.

— А еще говорят: «Стемнеет — мусор не выбрасывай». Плохая, мол, приме-

та. Мы поступили наоборот — и нам же удача! Где теперь грозный хан?

— Так ведь гость поел — и на дверь поглядывает! — ответил другу Тутук. — А мы хорошо угостили хана.

От того места, где был шатер Каплан-Гирея, брел усталой походкой Ханаф. В одной руке он держал веревку, привязанную к шее своего чудом уцелевшего ослика, в другой — чудесные ханские сапожки.

— Сто лет тебе жизни, Кургоко-пши! — сказал Ханаф. — И всю жизнь таких вот побед. А это ханская обувь. Тебе несущ...

— Возьми себе, — улыбнулся Кургоко, — И пусть твои внуки своему деду славу поют. Осел живой? Ну и дела!

— Ага! — кивнул головой Ханаф. — Геройский осел. Вот я думаю, надо бы моего серенького в сословие уорков перевести. Он заслужил.

Джабаги и Кургоко рассмеялись.

— Серенького — не знаю, — сказал князь, — а тебя, Ханаф, переведем. Как ты считаешь, Джабаги?

— Он заслужил, — серьезно ответил Казанок.

* * *

Кубати и Канболет нашли Куанча, извлекли из-под убитой лошади. Парень пришел в себя и тихо улыбался.

— Хорошо... Ладно... — шевелил бледными губами.

* * *

Спустившись с плато, кургоковское окружение пировало на лесной поляне. По справедливой на этот раз прихоти судьбы княжеская прислуга наткнулась на отару овец, принадлежащую, как выяснилось, самому Шогенукову. Баранины хватили на все ополчение.

В сторонке от знати устроились тесным, кружком вокруг своего огня хатажуковские земляки. По соседству от них — Нартшу и его лихие наездники,

— Жаль, с нами нет больше старика Сунчадея, — вздохнул Шот. — Потешилась бы сегодня душа его белая... Вот и жареной барашки тут вдоволь...

— Зато твоя душа натешится вдоволь, — заметил Тутук. — Она ведь у тебя в желудке помещается.

— Вот язва! Я не виноват, что у нас нечем, кроме воды, запивать эту жратву! — Шот потянул воздух расширенными ноздрями:

— Ветерок со стороны княжеского «стойбища». Там пьют не воду!

— Ну что же, малыш! — пожал плечами Тутук. — Кому сливки, а кому и кундапсо! (каб. — молочная сыворотка)

— Клянусь вот этой бараньей лопаткой, я догадываюсь, что они пьют! Это...

— Да что там догадываться! Ты погадай лучше...

— Можно. — Шот отломил от чисто обглоданной лопатки, от ее широкой части кусочек кости. — Вот и для поводьев зацепка — на счастье. Помните, как лошадь однажды понесла всадника и сбросила его? Дело было зимой, на обледенелой дороге, в которую вмерзла ребром такая же лопатка. Кусочек кости был у нее выщерблен и за этот крючок поводья и зацепились, лошадь не убежала. С тех пор знающие люди гадают только по выщербленной лопатке!

— Да мы знаем...

— Не перебивай. Теперь гадать начинаю — Шот поднял полупрозрачную кость к глазам и стал вглядываться в нее на просвет. В это время солнце, предвещавшее хорошую погоду, уже поднялось над кромкой, леса. — Вижу я, осень будет не слишком дождливой, а зима холодной и снежной. Наш скот благополучно до-

тянет до весны, но поработать нам придется много и тяжело. Татары явятся в Кабарду не так скоро, зато собственные уорки будут грабить усердно и чужими руками крапиву рвать...

Тутук насмешливо фыркнул:

— Видали, какой провидец! Нартшу, который случайно услышал слова Щота, подошел поближе и сказал:

— Ты хорошо гадаешь, удалец-шао, но мой единственный глаз заметил то, что укрылось от твоих двух. Дай-ка сюда. — Он взял кость, посмотрел сквозь нее на солнце и коротко объявил:

— Сейчас мы будем пить то, что пьют пши, — бросил лопатку, вернулся к своим молодцам, стал с ними о чем-то шушукаться.

Двое парней проворно вскочили с лежащих на земле седел и бесшумно канули в заросли кустарника. Скоро они вернулись с пузатым коашином величиной с бычью ляжку. Из горловины вылетел пхамыф, и дивный запах распространился на двадцать шагов в окружности.

— Хмельной мед! — радостно взревел Шот. — Чтоб мой нос мыши отгрызли, если это не хмельной мед!

— Да, он самый, — подтвердил Нартшу. — Высокогорный, пастбищный. Мы его с княжеского пира... одолжили.

Это был крепкий пьянящий мед из цветов рододендрона и азалии.

* * *

Сведения о Шогенукове князь Кургоко получил самым неожиданным образом. К нему привели трясущегося от ужаса пленного кадия и писаря-грамотея с ожогами на лице.

Когда кадий узнал, что ему как особе духовного звания бояться нечего (даже обещают отпустить с миром), он осмелел, хлебнул меда и стал выступать с благочестивыми увещаниями:

— Воистину преуспевают лишь боящиеся аллаха! — изрек он.

Боялся ли аллаха Каплан-Гирей, спросили у него.

Старик находчиво ответил, что еще не пришел день, когда «небо поколеблется, а горы начнут двигаться», и крымцы еще вернутся, ибо «кровь пролитая вопиет о крови», и возмездие неизбежно. И еще он напомним изречение из Корана: «...дурной человек будет кусать тыл руки своей и скажет: «О, если бы аллаху было угодно, чтобы я последовал по пути вместе с пророком!»

У него спросили, чем же виноват этот дурной человек, если аллаху не было угодно направить его по истинному пути?

Тут кадий немного смутился, но все-таки вспомнил подходящий аят:

— В четвертой суре сказано: «Все хорошее, что случается с тобой, исходит от аллаха. Все же злое — от самого тебя».

Джабаги приник к уху Кубати, что-то спросил у него. Канболет услышал, как юноша отрывисто прошептал: «Это в девяносто первой».

Казанокков обратился к священнику:

— А как же быть с девяносто первой сурой, где сказано:

«Клянусь... душой и тем, кто образовал ее, и тем, кто вдохнул в нее злобу и благочестие...» Сказано ясно: и злобу вдохнул, и благочестие!

Кадий с пьяной укоризной погрозил пальцем:

— А я слышал о тебе. Ты — Казанокков, известный безбожник и друг урусов. Нет, не с урусами черкесам надо дружить, а с нами, с Крымом и Блистательной Портой, подлинными оплотами правоверных! Вот как дружит с нами ваш Алигоко-паша. Хотя он, если разобраться, вдвойне предатель. То преподносит луноподобному священный панцирь, то коварно выкрадывает его снова...

Вся свита Хатажукова изумленно ахнула и заволновалась.
 — Где же сейчас Алигоко? — с ледяным спокойствием спросил князь.
 — Ускакал. С ним еще тот, похожий на одичавшего буйвола...
 — Куда ускакал?
 — Не знаю. Только не с ханскими людьми. Теперь это для него опасный путь.
 — Вы прочли надпись на панцире?
 — Нет. — Кадий поискал глазами своего грамотея. — Вот этот... Дайте еще меда... Вот этот сын греха и внук навозного осла, — старик уже начал заговариваться, — курева наанашил и... У вас есть плети? Дайте ему плетей! Сам Каплан-Гирей соизволил повелеть...
 — Нет! — отрезал Кургоко. — Кабардинцы могут убивать, но никогда не применяли пыток. Истязать людей мы не умеем.
 — П'очему? — удивленно икнул кадий.
 — Не каждому это дано понять, — сказал Джабаги.
 — Ты, уважаемый, и твой абыз побудете нашими гостями, пока мы не найдем Алигоко, — решил Хатажуков. — Хорошо?
 — Хорошо! — согласился кадий. — Мед еще есть? Мед еще был. И еще долго пили, произнося хохи в честь присутствующих и поминая заклятым словом хана Каплан-Гирея: «Ему без урожая быть, с виду безобразным, чтоб у него под саклей лягушки водились; да высохнет он, как лошадиная шкура, да вытекут у него глаза, как у слепой лошади; летом ему без молока быть, а зимой без шубы; нам же счастливыми быть, чтоб даже собаки наши сеном кормились, а хану — несчастливым, чтоб даже его невестки в его доме добро разворовывали!»
 — Так чья же голова хорошо работает? — спросил Хатажуков у Джабаги. — Ты обещал сказать, кто придумал это ночное нападение с вязанками сена горящего.
 — Теперь скажу. Теперь нашим благородным пши поздно будет возмущаться тем, что, дескать, желторотый юнец их учит, — с тихим смешком произнес Джабаги. — Твой сын это придумал. Кубати.

Слово созерцателя

Безотрадным было зрелище ханского бегства. Понуро тащились измученные лошади, оставляя подковы в липкой грязи раскисших дорог. Голодные и обозленные всадники постоянно должны были остерегаться черкесских пуль и стрел, неожиданно вылетающих из кустарниковых чащ, отставшие неминуемо подвергались нападению небольших отрядов, скачущих по следам тех, кто шел по шерсть, а возвращался стриженным. Были убийственными и холодные ночлеги в малодоступных болотисто-лесистых местах. Охали больные, стонали раненые. Если кто-то не мог продолжать путь, его просто бросали на дороге, и бедняге оставалось лишь уповать на аллаха, который не был намерен расточать свою милость до бесконечности.

За рекой Кумой у крымчаков начался повальный падеж лошадей, а среди войска вспыхнула эпидемия. Лихорадка и кровавый понос собирали такую обильную жатву, о какой трудно было мечтать защитникам адыгской земли.

Основательно потрепали татар вместе с полком турецких янычар и в следующем году, на Кубани.

Великого неудачника Каплан-Гирея лишили престола.

Новое вторжение ожидалось и в 1709 году. В это время турецкий

султан Ахмед намеревался нарушить мирный договор с Россией и двинуться вместе с крымским ханом на Украину, где уже находился со своей армией союзник Порты Карл XII. Случай, казалось, был очень удобный, но...

В мае Петр Первый привел в Азов флотилию из 241 новейшего военного судна. Демонстрация столь могучего флота произвела на Турцию должное впечатление, и шведскому королю было предоставлено самому расхлебывать им же заваренную полтавскую кашу.

Накануне битвы Карл обратился к своим офицерам с такими словами:

— Он (т. е. Петр) приготовил нам много кушанья. Идите же завтра туда, куда ведет вас слава.

«Кушанье» оказалось чрезвычайно неудобоваримым...

После «зело превеликой и нечаемой виктории» русской перестала существовать «непобедимая» тридцатидвухтысячная армия шведов.

Карлу с трудом удалось удрать в Константинополь, под крылышко султана.

Плодовитый французский историограф герцог Луи Сен-Симон очень верно оценил итоги 1709 года, принесшего «полное изменение положения на севере: упадок... Швеции, которая так часто приводила в трепет весь север и не раз заставляла дрожать империю и австрийский дом, и необычайное возвышение другой державы, доселе известной лишь по названию и никогда не влиявшей на другие страны, за исключением своих ближайших соседей».

Время для такого же «изменения положения» на юге еще не пришло, но предпосылки для будущих перемен уже создавались. К этим предпосылкам имели прямое отношение и адыги.

ХАБАР СЕМНАДЦАТЫЙ,
напоминающий слова Тлетша из народной песни:

*Считаюсь я сыном матери,
Меня никогда не рождавшей.
Сыном меня считает
Отцовства не знавший отец.*

На другой после битвы день князь Кургоко собирался домой.

Разъезжались в разные стороны группы всадников и разбредались пешие ополченцы, большинству из которых так и не удалось заполучить хотя бы по одной «пленной» лошади: уорки присваивали татарских коней целыми косяками.

(Пока «степенные» делили добычу, крестьяне хоронили мертвых воинов.)

Кому отправляться на поиски Вшиголового, было ясно с самого начала: Тузарову Канболету и Хатажукову Кубати. А вот где его, предателя, искать, выяснили несколько позже.

Канболет едва лишь успел подумать о том, что неплохо бы посоветоваться с Нартшу, как услышал знакомый с детства насмешливый голос:

— Я же тебе говорил, что найдусь, если будет нужно. Мне сейчас припоминается то времечко, когда сын Каральби без Нартшу на охоту не ездил.

— А я как раз вспомнил об одном своем приятеле, который мог бы мне теперь здорово помочь в одном трудном деле.

— Так не ищи следы медведя, когда он сам перед тобой!

— Нам придется отыскивать шакальи следы...

— Твой одноглазый следопыт уже кое-что пронюхал.

— Ты не шутишь? — недоверчиво улыбаясь, спросил Канболет.

— Пошутить мы еще успеем, а пока я успел сразу после пиршества съездить в шогенуковский хабль и вернуться обратно.

— Мне тоже следовало бы догадаться сделать это...

— Ну, если обо всем будешь догадываться сам, тогда тебе не нужно будет ни друзей, ни родичей.

— Что же ты узнал?

— Алигоко побывал дома.

— А потом?

— Взял запас провизии, забрал спрятанные драгоценности и... — Нартшу выразительно повел плетью в сторону Ошхамахо.

— Поня-я-ятно! — пробасил Тузаров. — Отъел курдюк — и в Курджий?! Нам нельзя терять времени.

— Это было бы глупо! — согласился Нартшу и тихо, как бы про себя, добавил, — особенно если потеряно все остальное...

— Много людей нам не надо? — спросил Канболет. — Там сколько с этим?..

— С Вшиголовым, если верить его унаутам, всего один уорк по имени Зариф. Может, еще кого по пути прихватит...

— Я беру с собой Кубати да вот нашего веселого таулу. А ты?

— Берешь Куанча? — улыбнулся Нартшу. — А сохранилась ли его веселость после ранения в голову? — Абрек делал вид, что не замечает Куанча, стоящего позади Тузарова.

— Эй, ты! — молодой балкарец сердито выглянул из-за спины Канболета. — Из-за моей головы пусть твоя не болит!

— У-о-о! Он здесь? Тогда, дружок Куанч, если твоя голова в порядке, отгадай загадку: что такое четыре головы, два хвоста, семь ушей и семь глаз?

Куанч мучительно задумался и даже глаза прижмурил от напряжения, потом расхохотался и долго не мог выдавить из себя ни слова.

— Да это... да это... — он показал рукой на абрека и все не мог никак унять, — это одноглазый Нартшу и одноухий Жарыча верхом на... на ло...шадях!

Канболет и Нартшу тоже посмеялись от души и единодушно сошлись в том мнении, что без такой головы, как у Куанча, им не обойтись.

Подошел с двумя оседланными конями бывший Жихарь, а ныне Жарыча, и, узнав причину всеобщего веселья, с удовольствием поохотал вместе с остальными.

Из стоявшего в отдалении шатра вышел Кубати, и теперь вся пятерка преследователей была в сборе.

— Получил напутствие? — спросил Канболет воспитанника.

Кубати чуть грустновато улыбнулся:

— Получил. Просил он еще тебе передать, чтоб Вшиголового мы обязательно доставили живым.

— Но ведь об этом он уже говорил мне, — Тузаров пожал плечами. — Хорошо. Не будем медлить. Твой Фица оседлан?

— Да. — Кубати негромко свистнул, и вороной красавец отделился от небольшого табуна, пасущегося на поляне, подбежал к парню и потянулся мордой к его лицу.

* * *

«Получил напутствие», — грустно размышлял, покачиваясь в седле, Кубати. — Кивнул на прощанье — вот и все напутствие... Хотя он, отец, был, конечно, увлечен разговорами, которые касались опять религии...»

...Атласный халат кадия выпачкан в грязи и прожжен в двух-трех местах, зато на лице священника — выражение благоуспокоенности и сытой важности. Только что он напомнил присутствующим стих из Корана, где говорится о небе, поднятом над нами «без каких бы то ни было видимых опор», — уже одного этого вполне достаточно, чтоб отбросить всякие сомнения в могуществе аллаха! Тут уже возразить никто не мог: увидеть опоры еще никому не удавалось. Кадия слушали внимательно и понимающе покачивали головами. Что касается Адильджери, так у того просто дух захватывало и он млел от благоговения. Зато на Казанокана кадий посматривал не без опаски — ждал подвоха. И, разумеется, дождался.

— Если для аллаха все люди равны — ведь он оценивает человека лишь по его набожности и добродетели, — то почему же мы сплошь и рядом видим, как бедствует порою истинно правоверный мусульманин и благоденствует богач, погруженный в пороках и неверии? — спросил Джабаги.

Кадий снисходительно улыбнулся:

— В священной книге сказано, что аллах «то полными руками дает пропитание, кому пожелает, то отпускает его в Известной мере».

— А почему в той же книге сказано, что аллах распределил средства к пропитанию так, «чтобы их одинаково хватало на всех просящих»?

Кадий сердито засопел и пустился в длинные рассуждения, не проясняющие суть дела, а наоборот — уводящие все дальше, в непроглядный мрак «священной черноты Корана». Под конец, когда он запутал всех, да и запутался сам, в шатре воцарилось тягостное молчание.

Ах, как хотелось Кубати тоже сказать свое слово! Но он тут был самый младший...

Потом кто-то спросил, верно ли, что все религии, от одного бота?

Кадий, брызжа слюной, зашипел что-то нечленораздельное и гневно зама-хал руками.

Тогда один из самых старших начал умиротворяющую речь, несколько наивным образом превознося мусульманство и в то же время пытаясь, на всякий

случай, не обидеть и главную соперницу ислама — христианскую религию:

— От некоторых просвещенных людей я слышал вот какое суждение, показавшееся мне вполне правомерным и... правоверным. Всякая вера и в самом деле идет от единого бога. Все пророки тоже были от бога и передавали людям его заповеди. Сперва был послан Мусса (*библейский Моисей*), дабы просветить умы еврейского народа и подготовить своим законом приход Иссы. В назначенное время Исса (*Иисус Христос*) явился. Однако его чистое, возвышенное учение, по причине строгих правил, оказалось неудобноисполнимым для слабого человеческого рода, который продолжал грешить, нарушая трудные правила. Попробуйте заставить горбатого калеку сражаться в конной стычке или кривоглазого стрелять в цель из ружья! И вот аллах в благости своей посылает пророка Магомета смягчить закон Иссы, определив, что тот, кто не станет следовать этому последнему учению, не превышающему человеческих сил, будет осужден на муки вечные. Клянусь тонкими бабками моего коня, это похоже на истину!

О том, что собирался ответить возмущенный донельзя кадий и что хотел сказать откровенно ухмыляющийся Казанок, Кубати уже не узнал. Как раз в это время отец, с рассеянным видом кивнув ему на прощанье, отпустил сына в дорогу. Выходя из шатра, Хатажуков-младший ловил на себе задумчиво-завистливые взгляды присутствующих, и только Джабаги дружески хлопнул его ладонью по плечу.

* * *

С начала побега Алигоко и Зариф опережали своих преследователей на один дневной переход. Когда они достигли источников теплой кисловатой воды в самых верховьях Малки, этот разрыв уже сократился наполовину. Правда, беглецы не предполагали, что погоня так близка. Они вообще не были уверены в ее существовании.

Здесь, среди беспорядочного нагромождения скалистых обломков и абра-камней (*камень циклопических размеров из кабардинской мифологии*), омываемых струями ледниковых потоков, Алигоко и Зариф устроили привал.

Был ясный солнечный полдень. Ослепительно-белая громада Ошхамахо сияла торжественно и величаво, заслонив собою полнеба.

Под высоким гранитным утесом бурлили фонтанчики теплой воды, образуя целую речку, выкрасившую свое галечное ложе в цвет ржавого железа. Чьи-то терпеливые руки сделали широкое углубление в русле ручья. Купаясь, тут можно было сидеть по горло в целебной воде. Именно этим сейчас и занимался Шогенуков. Он блаженно щурился и часто окунал в воду запаршивевшую голову. Жизнь ему вдруг показалась прекрасной, как этот яркий безоблачный день, как безупречная небесная лазурь, как сверкающие снега Горы Счастья — Ошхамахо. И взыграла, и настроилась на песенный лад его заскорузлая, покрытая гнойной коростой душа. Не в такой ли денек, размышлял Алигоко, собирались на ежегодное санопитие боги и на вершине Ошхамахо, в гостях у Псатхи, пировали вокруг бочки с божественным напитком? Не в такой ли денек они пригласили к себе в гости прославленного нарта Сосруко, чтоб удостоить его рогом божественного сано, а он не растерялся и сбросил с горы бочку с пьянящим питьем и семенами. Растеклось сано по земле древних адыгов, семена дали всходы — и повсюду выросли гроздья удивительных ягод. Сатаней первая догадалась, что с ними надо делать. Положила их в бочку да придавила абра-камнем. Ягоды дали сок, который затем взбунтовался и выпшвырнул камень из бочки. И тогда все нарты узнали вкус напитка богов. Только где теперь это сано? Зачахли чудесные лозы, как и вера в старых богов... На ту сторону хребта, к грузинам и мудави, попало, наверное, гораздо больше семян сано, чем сюда, на север. Зато Шогенуков-пши купается сейчас в воде,

называемой в древности нарт-псыана, нартовская вода-мать, а теперь — нарт-сано, напиток нартов.

Мрачный Зариф сидел на камне рядом и, нетерпеливо почесываясь, дожидался своей очереди: лезть в одну лохань с князем он не имел права.

Наконец Алигоко вышел из воды и стал одеваться. Зариф попросил его вернуться: был невероятно стыдлив. Шогенуков презрительно осклабился и повернулся спиной. Он знал, что все громадное тело Зарифа покрыто густыми черными волосами.

Князь оделся. Услышав, как его уорк, вкусно урча, плюхнулся в теплую речку, подошел и сел на тот же камень, на котором сидел Зариф.

— Успеть бы сегодня перевалить в Баксанское ущелье, — сказал Алигоко. — Тогда завтра мы сможем обогнуть гору Чегет и подняться на перевал Донгуз-Орун.

— Моя лошадь повредила копыто. Медленно ехать придется, — отозвался уорк.

— Я должен ехать быстро! — капризно заявил князь. — Что, если за нами гонятся?

— А как же я? Ведь я — рукоять твоей сабли и дуга твоего лука!

Князь насмешливо сощурился:

— Что толку от твоих красивых слов, если нету на тебе штанов?

— Уо, князь! Я вижу, целое и половина друг друга уже не узнают? Кстати, только что и на тебе штанов не было.

— Ты, я вижу, слишком поумнел с тех пор, как получил по темени от маленького князя Хатажукова. — Алигоко не мог удержаться от того, чтобы не дразнить приспешника, хотя и помнил поговорку: «Наступишь собаке на хвост — укусит».

Ответ Зарифа был убийственно неожиданным. Хлопнув широкой ладонью по воде, уорк рывкнул со злобой:

— А он и не князь вовсе! Алигоко опешил:

— Как... что ты ска... п-повтори!

— И повторю. Этот твой Кубати — не сын Хатажукова. Вот!

— А чей же сын?

— Рабыни — унаутки. И отец его был унаут.

— Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?! — визгливо заорал князь.

Зариф пополоскал горло и выплюнул воду изо рта.

— Мне никто не говорил, я сам услышал. Когда твои наемники шарили у Кургоко в доме — панцирь воровали, я лежал в дальнем углу сада и ждал их. Вот!

— Что «вот»? Говори дальше!

— В сад пришла старуха, странная такая. Орехи подбирала и сама с собой разговаривала. — Зариф сморщил свою образину и запищал, подделываясь под старушечий голос:

— Хадыжа все знает, все-е-е знает. Никто не знает того, что Хадыжа знает. Правильно я говорила, что мальчик лучше всех. Ни один княжеский сын и седьмой его доли не стоит! Славненький Кубати! Все думают, что ты сын Кургоко, а ведь тебя последняя унаутка родила! Жена Кургоко от родов скончалась, но ведь и ребеночек ее тоже помер! А кто, как не хитрая Хадыжа да еще одна женщина, принесли и подложили другого ребеночка, в самой бедной хижине рожденного? Отец его, тоже унаут, еще раньше...

— Что еще раньше?

— Не знаю. Ушла старуха. И орехи унесла.

— Подавиться бы тебе этими орехами! Больше ничего не слышал?

— Нет. Отвернись, я вылезать буду.

— Подожди! Почему раньше ничего не рассказывал?

— А зачем?

— Дурак!

— Клянусь этим железом, князь, я всегда служил тебе, как верный пес, а вместо щедрого вознаграждения...

— Дважды дурак! Теперь не жди никакого вознаграждения. Коровью лепешку на твою дурацкую голову!

— Отвернись! Дай мне одеться! — заревел уорк.

В глазах Зарифа Алигоко прочел нешуточную угрозу благополучию своего дальнейшего путешествия и похолодел от страха. Этот буйвол может покалечить или убить совсем, а то, что ограбит, бросит в горах без коня и вернется в Кабарду, — это уж точно. Однако князь быстро сумел взять себя в руки и выхватил пистолет. Зариф охнул и погрузился с головой в воду. Нет, убивать Зарифа князь не собирался (он еще ни одного человека в жизни не убил); прогремел выстрел — и между камней забила в предсмертных судорогах лошадь Зарифа. Когда уорк вынырнул, он увидел, как Шогенуков, подхватив его, Зарифа, одежду, бежит к своему, коню. Зариф еще не успел отдышаться, а князь был уже в седле.

— Говоришь, одеться, скотская морда?! Нет, не скоро ты теперь оденешься!

Уорк, преданный столь бессовестным образом, горестно завопил, словно медведь, попавший в капкан. Алигоко издевательски помахал ему рукой и неспешной рысцой отправился в путь. Вслед князю неслись проклятья. Зариф даже выскочил из теплой купели, пробежал несколько шагов, но вдруг непонятный ужас охватил его душу, и он вернулся и снова сел в воду. Тут он сразу успокоился и даже заулыбался. Потом плюнул в ту сторону, куда усакал князь, и прошептал:

— Все равно он меня не увидел. — Бедняга решил, что теперь самое для него главное — это чтоб ни одна живая душа его не видела.

Он важно покивал головой и, еле шевеля губами, спел песенку, слышанную от бабушки еще в детстве:

*Кошке мясо не досталось,
Но у кошки гордый вид:
Я б его и есть не стала —
Очень уж оно смердит.*

После этого в голове у Зарифа что-то тихонько скрипнуло, и он начисто забыл человеческую речь.

* * *

Сведения Нартшу оказались верными. «Шакальи следы» стали попадаться в тот же день.

Еще до первого привала они встретили пастуха, гнавшего небольшое стадо коров с высокогорных пастбищ в одно из нижних поселений. Вчера перед заходом, солнца он видел издали двух всадников, направлявшихся в верховья. -

— Думаю, один из них был Алигоко Цацха, — уверенно заявил пастух.

— Почему так думаешь? — спросил Канболет..

— Так ведь я из тех, у кого утроба всегда пуста, зато уши полны слухов, а рот — новостей, — усмехнулся пастух. — А слухи — это такие птички, которые летают быстрее ласточек. Татар побили — мы обратно со скотом возвращаемся. Изменник Алигоко с татарами не сбежал и в плен не попал — куда ему еще деваться? Он это был. Больше некому. Перевал в Сонэ (каб. — *Сванетия*) отсюда недалек — всего три дневных перехода.

— Для кого три, а для кого два, — недовольно проворчал абрек.

— Ты прав! — согласился Тузаров. — Надо поторапливаться.

Дорога проходила по сказочно красивым местам. Извивалась причудливо

по боковым склонам, ныряла в лесистые урочища, вырывалась на сенокосные пологие холмы, где летом вставали травы по грудь человеку; пересекала мелкие ручьи, поросшие по берегам непролазными зарослями облепихи, шиповника и барбариса; карабкалась по каменистым уступам, под которыми утробно ворчала Малка. Дорога вела туда, где бирюзовый свод небес опирался на бесконечную зубчатую стену Главного Кавказского хребта, а перед стеной могуче возвышался двухкупольной сторожевой башней неприступный Ошхамахо, или, на языке Куанча, Мингитау.

Предзакатное солнце уже тронуло снега Эльбруса червонной позолотой, когда всадники приближались к теплым источникам нартсано.

— Скажи, Нартшу, — нарушил долгое путевое молчание Кубати, — а как там этот старый шоген?

Они спускались по крутой тропе к речке и ехали медленно.

— А-а... Похоронили мы его, бедного.

— Жаль. Хороший был старик. Интересный очень.

— Последний шоген, — вздохнул Нартшу. — Жарыча над ним какую-то русскую молитву проговорил. Так что, думаю, на том свете наш Иуан не пропадет.

— Болтаешь тоже! — притворно рассердился Жарыча, хотя было видно, что он прячет в кудлатой бороде довольную ухмылку.

— Стойте! — крикнул Канболет. — Что это такое? Смотрите же!

— Лошадь валяется... — удивленно протянул Куанч и сразу же заорал, обрывая самого себя:

— Аланлы! Вон бежит, бежит!!

Да, Тузаров имел в виду не лошадь, а голое волосатое существо, которое, прыгая по камням и прячась за огромными валунами, улепетывало подальше от источника.

Существо добралось до противоположного берегового склона и скрылось в густом кустарнике, издав на прощанье жуткий тоскливый вой.

Ошарашенные всадники остановились возле убитой лошади.

— Это конь Зарифа, — определил Кубати. Жарыча спешил и стал снимать седло с мертвого животного.

— Кажется, я понимаю, что тут произошло, — засмеялся Нартшу. — Врун вруну не поверил и, пока тот нежился в теплой воде, забрал его одежду, оружие и смылся.

— Правильно, — подтвердил Канболет. — Кабан на собаке злость вымещает... Жарыча, ты готов? Тогда двинулись дальше.

* * *

Среди пастухов, чабанов, среди жителей тех коажей, что расположены по краям дремучих лесов, через некоторое время распространились леденящие душу слухи. Судачили о частых появлениях чудовищного лесного человека — алмасты, ворующего кур и овец, шарящего по ночам в закромах с припасами и ловко отбивающегося от собак палками или камнями. Увидеть его удастся лишь мельком — стремительной тенью проносится он через дорогу или поляну лесную и никогда не показывается днем. Один смельчак ходил зимой по следам босых ног, обнаруженных на снегу, и нашел берлогу алмасты в тесной пещере, заваленной сеном и овечьими шкурами. На счастье неразумного смельчака, чудовище в это время отсутствовало. С боязливым шепотом люди передали друг другу свидетельства очевидцев о рогах на голове алмасты, о трех его красных, как пылающие угли, глазах и длинных когтях, обагренных кровью. Алмасты или мычит по-бычьему или воет по-волчьи.

* * *

Шогенукова догнали, когда он уже спустился в Баксанское ущелье. Князя увидели неожиданно близко у самой речки, среди подступавших к воде вековых сосен. Он, вероятно, искал брод. Баксан ревел, яростно кидаясь пенными потоками на выпирающие из его русла камни. Алигоко слишком поздно заметил преследователей и даже не сделал попытки спастись бегством. Страшно было ему увидеть вновь Тузарова, выжившего, как он знал, после тяжелой раны. Трясущейся рукой он поднял пистолет и сипло выкрикнул, обращаясь к Кубати, который оказался к нему ближе всех:

— Не подходи! Если ты кинжал, то я — меч!

— Ржавый ты гвоздь, а не меч! — рявкнул Нартшу, разматывая аркан.

— Снесу ему башку вот этим топором — и все дело! — добродушно сказал Жарыча. — Зачем нам его тащить до Кургоко всего целиком? Одной головенки хватит.

Шогенуков швырнул пистолет на землю: он забыл его зарядить после выстрела в лошадь Зарифа.

— Вот это благоразумно, — прогремел Тузаров. — Всегда можно договориться по-хорошему. Ведь лаской и змею из норы выманишь! А где же панцирь?

Кубати потянул к себе татарский хурджин, притороченный к седлу княжеского коня:

— Вот! — он вынул из сумы знаменитый сверкающий доспех, и всем захотелось до него дотронуться.

— Может, теперь вы меня отпустите? — упавшим голосом спросил Шогенуков, сам понимающий жалкую глупость своего вопроса.

— Как же мы тебя, драгоценный, отпустим? — с притворным изумлением спросил Нартшу. — Ведь вся Кабарда мечтает тебя увидеть!

Желтые глаза Алигоко закатились, рот оскалился редкими острыми зубами, а тело стало потихоньку сползать с лошади.

Жарыча подхватил его, не дал упасть.

— Чего это с ним? — удивился Куанч.

— Чего, чего! — буркнул Жарыча. — Со страху это он обмирает. Первый раз такое у кабардинцев вижу...

* * *

То «побоище», которое Сана предрекала Кубати, Хатажуков устроил парню в утро суда над беглым князем.

Кубати не очень рассчитывал на благоприятный исход неприятного разговора, но все же был разочарован почти до отчаяния.

— Как ты только мог подумать об этом?! — искренне недоумевал Кургоко. — Неужели твоя кровь ни о чем тебе не говорит?

(В кунацкой тлеотлеша Быкова, у которого гостил князь-правитель в ожидании Кубати и Тузарова, они сейчас были вдвоем, никто им не мешал.)

— Недоставало еще, — продолжал князь, — чтобы внуков моих называли «тумовыми» (*Тума (каб.) — неравнорожденный*).

— Разве достоинства людей определяются не их делами? — тихо спросил Кубатц.

Хатажуков снисходительно усмехнулся:

— Было бы, конечно, правильнее ценить людей не по происхождению и не по платью. Однако век наш не прост. Есть вещи, с которыми наше сословие никогда не примирится,

— А если все равно поступить по-своему? — упорствовал Кубати.

— И думать не смей! — рассердился Хатажуков. — Тебе еще встретится в жизни не одна вот такая «голубка с белой шейкой», как в песне поется.

Кубати решил, что на первый раз достаточно, и больше возражать не стал. Будет новый случай и тогда... Как действовать «тогда», он потом придумает...

Хатажуков немного смягчился и сказал напоследок:

— Эх, ты! А еще «бесстрашно смотрящий железу в глаза!» — он имел в виду кузнечное мастерство сына, а может быть, и ратные его подвиги. — Пошли, нам пора. Твой друг Алигоко, наверное, заждался.

* * *

На пригорке, под раскидистыми ветвями старой дикой груши, предстал перед высоким мехкемом преступный пши Алигоко. Суд состоял из двух человек: «уали» — старшего по возрасту князя (в ближайшей округе им оказался один из братьев Ахловых) — и представителя тлектотлешей (так называемый «кодзь» — «добавка»). Эту обязанность исполнял сегодня Инал Быков. Ахлов чувствовал некоторую неловкость: сам этот мехкем — установление сравнительно недавнее, да к тому же никто не мог припомнить, чтоб хоть когда-нибудь суду приходилось решать участь князя.

И вот предстал... Нет, не совсем предстал — Алигоко сидел на пне, покрытом буркой, и опасливо косился по сторонам. У него за спиной на длинной грубой скамье восседали десятка полтора князей и первостепенных уорков. Среди них, в центре, — Хатажуков. Были здесь Канболет Тузаров, Джабаги Казанок. Исламбек Мисостов тоже был. Рядом с Хатажуковым сидел кадий из Крыма. Стояли поблизости молодцы из знатных родов. Здесь же Кубати о чем-то перешептывался по-татарски с тем самым грамотеем, что так неудачно сопровождал кадия.

Собралось и множество простого люда, окружившего высокий мехкем в почтительном отдалении.

Сначала от Шогенукова потребовали рассказа о том, что произошло семь лет назад, как погибли братья Исмаил и Мухамед Хатажуковы и Каральби Тузаров.

Алигоко не решился повторять свою старую клевету. Теперь он все валил на Мухамеда. Тот, мол, «по бешенству своего естества», поругавшись с братом, нанес ему смертельный удар. Шогенуков не успел его удержать. Затем Мухамед ринулся на людей Тузарова и сразил почтенного тлектотлеша. Шогенуков опять не сумел его удержать. Затем Мухамед бросился разорять дом Тузарова, хотел завладеть этим чудо-панцирем (панцирь стоял на столике-трехножке перед Ахловым и Быковым) и убить Канболета, чтоб сразу же избавиться от кровника. Шогенуков ехал с ним и всю дорогу пытался его удержать, но... это ему не удалось. Затем уже Канболет и Мухамед встретились и... в честном бою... Шогенуков тут уж совсем ни при чем...

Толпа, боявшаяся до сих пор проронить хоть слово из речи Вшиголового, всколыхнулась, тихо зашумела:

— Сам теперь от лжи своей отрекается!

— А бедный Тузаров? Семь лет было кровью испачкано его честное имя!

— И снег настолько бел не бывает, чтоб пес его не сумел загадить!

— Эй, тише! Кубати говорит. Свидетель единственный...

Кубати отчетливо и толково дал понять, как на самом деле вел себя Алигоко: если Мухамед был порохом, то Алигоко — тлеющим фитилем. А что касается панциря...

Шогенуков вскочил и протестующе поднял руку:

— Можно ли принимать на веру эти слова? Он тогда еще совсем ребенком был, а потом семь лет ехал на чужой арбе и все тузаровские песни выучил наи-

зусть!

Ахлов расправил пышные свои усы и важно изрек:

— Да... дело это темное. До конца его трудно прояснить. Но главное князь Алигоко теперь признал, что не Тузаров был виновен в той самой резне...

— Князь Алигоко — человек умный, — слышался насмешливый голос Джабаги. — Он знает, что явную клевету опровергнуть гораздо легче, чем отделить правду от лжи, особенно там, где правда и ложь искусно перемешаны.

Толпа встретила высказывание своего любимца одобрительными возгласами:

— Правильно, Джабаги!

— Сильно сказано!

— Джабаги — наш!

Ахлов и Быков выжидательно посматривали на Кургоко.

— Мехкем хочет, чтобы я сказал, — князь поднялся со своего места. — Не стоит больше говорить о делах, касающихся семей Хатажукова и Тузарова. Слава аллаху, кровной вражды между нами не ожидается. Поговорим наконец о подлом предательстве Алигоко. Какое у него может быть оправдание в том, что он изменчески предупредил Алигот-пашу о нашем нападении и помог ему бежать? Чем он ответит за пребывание во вражеском стане, за разбойный налет на дом лучшего в Кабарде оружейника Емуза и убийство этого достойного человека?

Ахлов, мучаясь от того, что не он, сегодняшний уали, произносит столь веские, сурово-справедливые слова, да еще таким красивым и мужественным голосом, сердито закричал на обвиняемого:

— Чего молчишь? Отвечай!

— Отвечай! — потребовал и Кургоко.

— Отвечу! — взвился Шогенуков. — Если я был в дружбе с пашой, то разве не обязан был спасти его от гибели?

— Так почему же ты тогда не остался вместе с ним? — впервые подал голос Быков. — Почему присоединился к нам? Чтобы прознать о намерениях наших?

— Воллаги! Это меткий выстрел, — сказал кто-то из тлекотлешей.

Алигоко вспотел, хотя солнышко пряталось в облаках и было довольно свежо от ветерка, дующего с реки.

— Не по моей воле меня прибило течением к татарскому берегу, — оправдывался князь. — А кинжал против соотечественников я не обнажал.

Неожиданно для всех раздался визгливый смешок татарского кадия:

— Верно, не обнажал! — молчать подолгу кадий был просто не в состоянии. — Зато он давал хану очень дельные советы, как получше и побыстрее разорить Кабарду! А потом еще и подаренный хану панцирь выкрал обратно.

— Так что же, измена это или нет? — насупил белые брови Ахлов. — Отвечай, князь Алигоко!

— Пусть про Емуза еще скажет! — крикнули из толпы.

— Да, — важно кивнул уали. — И про Емуза.

— Нет на мне вины в смерти Емуза! — горячо запротестовал князь. — Это все Алигот-паша. Он хотел вернуть отнятые у него драгоценности!

— Хорошо ссылаться на мертвого, — сказал Хатажуков. — Мертвый не уличит во лжи.

С бугра сдержанно прогремел могучий голос Тузарова:

— Алигот-паша хотел забрать драгоценности, а Алигоко-паша — драгоценный панцирь.

— Я говорил всегда и теперь настаиваю, что панцирь должен по праву принадлежать роду Шогенуковых! — нагло заявил Алигоко.

— О твоих сомнительных притязаниях известно всем, — сказал Быков. — Но мы еще не кончили разговор о твоих предательствах.

— Но я ведь не убил ни одного человека! За всю жизнь — ни одного!

Казанок первым нашел, что ответить на эти слова:

— Зато по твоей вине погибли сотни людей. В том, что у бочонка выломано днище, не меньше топора виновно топорщище.

У Шогенукова было такое ощущение, словно он барахтается в воде, которая становится то нестерпимо горячей, то ледяной. Он делал отчаянные усилия, пытаясь выбраться на береговую отмель. Изредка ему удавалось вдохнуть чистый воздух, но вот опять его тянуло в водоворот и он захлебывался, обжигая легкие то ледяной стужей, то кипятком. Иногда в поле его зрения попадал Кубати, и мысль князя об известной ему тайне билась внутри головы, как куропатка в силках: он все еще не мог сообразить, каким же образом извлечь для себя выгоду из своей осведомленности. По пути с верховий Баксана он хотел было пригрозить Кубати (а еще лучше — Канболету) разоблачением, но побоялся. Было бы слишком опрометчивым требовать освобождения в обмен на обещание сохранить тайну. Всего вероятнее, размышлял князь, его бы не отпустили, а тут же, на месте, раздавили, как саранчу. Ясно, что Кубати поспешил бы навсегда заткнуть рот Шогенукову, ну а Канболет — и подавно. Вот если бы побеседовать и с каном и с аталыком где-то здесь и, разумеется, без свидетелей, потребовать затем помощи и... И получить опять-таки кинжал в глотку? А чем, кстати, ему грозит этот высокий дурацкий мехкем? Неужто смертной казнью? Да быть этого не может. Не должно. Нет, нет! Когда казнили в Кабарде? Князей особенно? Убить в стычке из мести или ограбления ради — дело другое. Лучше пока подождать, как дальше будут развиваться события. А останется Алигоко жив, он еще заставит поплясать большего князя, он еще найдет способ сковать себе меч из этой маленькой тайны!

— Все равно нет на мне крови, и панцирь, который отмечен арабской надписью, принадлежит Шогенуковым! — преступный князь решил упорствовать, считая, что наглость, как и в драке, иногда приносит победу. Да и неплохо, если спор перенесется на панцирь.

Так и случилось.

Ахлов снова расправил усы и, хитро подмигнув присутствующим, задал коварный, как он думал, вопрос:

— Не хочешь ли ты сказать, пши Алигоко, что эта арабская надпись, которую мы не можем прочесть, утверждает право твоего владения известным румским доспехом?

Шогенуков только собрался ответить, как вперед выскочил, по-женски подбирая полы халата, крымский кадий.

— Мы! Мы можем прочесть! — заверещал он высоким муэдзиновским голосом. — Иди сюда, любезный мой помощник, — призвал он грамотея. — Подойди поближе. Мы с этим ученым человеком обещали Кургоко-паше прочесть священное изречение. Этот человек настолько учен, что мог бы получить должность тефтерья-эмини (*тюрк. — начальник или главный секретарь ханской канцелярии*) при луноподобном крымском владыке. А ну, читай.

— Читай! Читай! — раздавались и другие заинтересованные голоса.

Толпа крестьян почти вплотную обступила «сливки» кабардинской знати.

На унылой и помятой морде несостоявшегося тефтерья-эмини тоже пробудился некоторый интерес. Он наклонился к панцирю и зашевелил толстыми потрескавшимися губами. Потом он выпрямился, и все увидели его растерянную улыбку.

— Что там написано, говори! — приказал Хатажуков.

— Я скажу, — хрипло начал грамотей. — Скажу. Только она, эта надпись, странная. Но я, клянусь, скажу правду.

— Он скажет, — пообещал кадий.

Грамотей набрал в грудь воздуха побольше:

— Слово в слово скажу. И меня потом не ругайте, я тут ни при чем. Вот что гласит эта надпись: «О, аллах, Айнан, Меджид...» — это значит «Истинный, Всемогуший»... — Большинство собравшихся понимая, с благоговением кивнули, а некоторые воздели руки к небу. — «О, аллах, Айнан, Меджид! Пусть проклятие твое падет на голову свиньи, надевшей этот гяурский доспех, и да подохнет она мучительной смертью от удушья!»

Если бы сейчас скатилось с горы сосруковское меч-колесо — жаншарх, или над дикой грушей пронеслась бы с жутким воем сказочная крылатая собака Самир, и тогда люди не были бы так изумлены и ошарашены.

Только Ахлов благочестиво огладил ладонями лицо и бороду, как бы свершая омовение, и произнес торжественно:

— Аминь!

Не будь этого глупого «аминя», вся толпа чувствовала бы себя оскорбленной и осмеянной, а тут, после минутной растерянности, грянул дружный хохот, заглушающий отдельные негодующие крики.

Хихикали злорадные князья и тлекотлеши, горько усмехался, покачивая головой, Тузаров, подобное же чувство испытывал и его кан Кубати: столько горя, столько тяжелых утрат, крови и грязи, а из-за чего?!

Кургоко Хатажуков с трудом перенес этот удар. Бледный, но спокойно-суровый, он встал, поднял руку, заставил толпу умолкнуть.

— Мехкем еще не сказал своего последнего слова! Какому наказанию подвергнется предатель? — В этот момент князь ненавидел Вшиголового неизмеримо острее и ожесточеннее, чем когда-либо, хотя гадкую надпись на панцире сделал не Алигоко.

Быков и Ахлов беспомощно переглянулись. Стало очень тихо.

Слово, которое было у всех на уме и которое никто не решался выговорить, сказал настырный и несдержанный кадий. Он его, правда, негромко сказал и не всем, а только сидящему рядом Ислам-беку Мисостову, но услышали все:

— Изменники, попадающие к нам в руки, вымаливают скорую смерть. С этого вашего Алигоко хан приказал бы содрать кожу и натянуть ее на большой тулумбас (*турецкий боевой барабан*).

— Да ты что, почтенный! — возмутился Мисостов. — Лишать жизни князя?! Кня-я-зя!

— Тогда лишить его княжеского звания! — крикнул кто-то из простолюдин. Мисостов вскочил:

— Еще не было такого, чтоб с князя слагали его звание! Разве только с изгнанного... — Ислам-бек осекся, будто сказал лишнее, и сел.

Окончательное решение прозвучало так:

«Посадить изменника Шогенукова на плохую и неоседланную лошадь, выводить, безоружного, за пределы Кабарды и объявить, что Шогенуков больше не князь, и его может убить любой человек, ежели Шогенуков появится на кабардинской земле снова. Все имущество и достояние Шогенукова отобрать и разделить».

Алигоко довольно безучастно выслушал приговор: после того, как была прочитана злополучная надпись, он вдруг утратил всю свою наглость и волю к сопротивлению: вот был бы он хорош, когда б хану прочли это миленькое пожелание! Гремать бы тогда высушенной алигоковской шкуре под тулумбасными палками...

Старая кляча быстро нашлась. Нашлось и несколько парней, желающих пойти в «проводжатые».

— Наденьте на эту свинью ее панцирь! — распорядился князь.

Два молодых уорка со смехом бросились выполнять приказ.

Подавленный, Шогенуков не сопротивлялся. Всей толпой его провожали к

реке, через которую надо было переправиться на тот берег и продолжать бесславный путь за пределы Кабарды.

Вслед ему неслись насмешливые напутствия, но Алигоко вроде бы ничего и не слышал. И вдруг, когда лошадь его уже вошла по колена в воду, он обернулся на пронзительный старушечий голосишко и увидел, как торжествующе приплясывает на берегу древняя, но бодрая кабардинка и выкрикивает нараспев:

*Кто соленым обедается,
Тот водою обпивается!
Где повезет, где нет, не знаешь,
Бывает, что и ляпсом зуб сломаешь!*

И тогда Шогенуков ожил, встрепенулся, будто сбросил с себя мутное наваждение, и завопил во всю силу слабых своих легких:

— А я тебя порадуя на прощанье, проклятый Кургоко! Нет у тебя сына! Умер он сразу, как родился! Заменяли его унаутским ублюдком! Вот он тут стоит, Кубати этот твой! Пши навозный! А все это дело рук вот этой Жештео! У нее спросите, если не верите!

Вшиголовый ударил свою кобылу пятками по бокам и рванулся к середине реки. Там он уклонился от брода, лошадь затащило в быстрину, затем на глубокое место, и Алигоко, как некогда его прихвостень Хагур, не удержался на спине животного, и быстрая коварная река, похожая на Черек или Урух, с готовностью раскрыла для него свои удушающие объятия. На Шогенукове был драгоценный румский панцирь с золотыми заклепками, золотым львиным ликом и арабской надписью, вычеканенной в священной Мекке.

Сначала люди пытались с трудом переварить потрясающий хабар, услышанный от Вшигового. Затем на какое-то время все заслонила его гибель.

И опять выскочил вперед неутомимый кадий:

— Сбылось заветное, данное в Мекке! — он простер руки в сторону столицы ислама. — Названный здесь свиньей погиб мучительной смертью от удушья! Может быть, теперь да простит аллах его преступления! Аминь!

— По усопшему молитва коротка, когда плата мулле невелика, — заметил один из молодых крестьян, но поддержки не имел — слова кадия, видно, пробудили в большинстве душ религиозный трепет. Кто-то из старших сделал парню замечание.

— Вот еще, слушать всяких дураков, — ворчал безбожник.

Его резко оборвали:

— Прежде чем дурака обличать, сперва докажи, что ты сам не дурак!

Смерть предателя мало трогала князя Кургоко: выстрелом в сердце прозвучали для него слова Вшигового. Он этим словам почему-то сразу же поверил. Похоже, поверили и многие другие. Он сейчас направлялся к старухе, смотрел на нее упорно, а на себе чувствовал десятки чужих взглядов, любопытных, злорадных, нетерпеливых...

Хадыжа испуганно сгорбилась, хотела затеряться в толпе, но ей не дали это сделать. Люди отхлынули от реки, судьба Шогенукова перестала их интересовать.

— Говори, добрая женщина, — усталым голосом сказал Кургоко. — И не пытайся меня обманывать.

— А что я должна говорить! — задиристо выкрикнула Хадыжа. — Ничего я не знаю!

— Знаешь. Ведь на твоих руках скончалась моя жена...

— На моих, но я не знаю, о чем тут болтал этот сумасшедший. Спроси у него, у дохлого шакала, сам!

— Да что она позволяет себе, старая колдунья! — рассвирепел Мисостов. —

Как высказывается о высокорожденном! Посадить ее меж двух костров — тогда запоем по-другому!

— Можно и посадить, — согласился Кургоко, все так же упорно и тяжело глядя Хадыже в глаза.

Старуха перепугалась не на шутку. Еще в самом деле сочтут колдуньей, усадят меж двух костров и заставят произносить имена сорока помогающих ей чертей! Тут назовешь не сорок, а четырежды сорок имен! Потом заставят съесть жареную собачью печенку, наколотую на терновую веточку, и той же веточкой «прочистят» горло. Вместе с рвотой колдунья изрыгнет колдовскую свою способность. Затем останется только проследить, чтобы «излеченная» в течение тридцати дней не ела курятины — иначе к ней вернется колдовская сила.

Этот древний обряд «лечения» применялся чрезвычайно редко, и Кургоко ни за что не допустил бы подобную дикость, но не мешало припугнуть упрямую старуху.

И Хадыжа все рассказала. Жена Кургоко не перенесла родов. Не выжил и мальчик, только что родившийся. И тогда Хадыжа той же ночью помчалась в халупу умершей несколько дней назад унаутки, забрала оставшегося после нее ребенка, который был на полторы луны старше княжеского, а вместо него оставила мертвого. Женщина, взявшаяся из сострадания кормить грудью сиротку, потом, через посредство Хадыжи, была нанята кормилицей. Только сиротка уже назывался Кубати, княжеским сыном. Его настоящий отец, тоже унаут, погиб еще до его рождения под каменным обвалом в горах.

— Теперь я спрашиваю, — осмелела после своего признания Хадыжа, — кому я сделала плохо? Эй, люди! Что вы потеряли от того, что среди вас вырос этот славный джигит? Уэй, Канболет! Не жалею затраченных трудов своих!

— Я не жалею! — быстро сказал Тузаров.

— А ты, мальчик, тоже не переживай, — обратилась старуха к Кубати. — Кто из князей может с тобой сравниться и силой, и статью, и красотой лица?!

— А что переживать! — громко заявил Кубати и шагнул поближе к крестьянам. — Говорят, если не сумел стать хорошим погонщиком волов, не станешь и хорошим всадником. Я стал всадником, сумею, наверное, статьи неплохим погонщиком хатажуковских волов.

— Какой из него унаут, — тихо проговорил Кургоко. — Витязь он. Свободный...

Медленной, почти стариковской походкой направился князь к своему коню.

Джабаги Казанок обнял Кубати за плечо, другой рукой подтащил к себе за рукав Канболета.

— Если есть бог на свете, то дай он каждому из нас вырастить и воспитать хотя бы по одному вот такому «унауту»!

Толпа одобрительно загудела.

* * *

Обитательницы емузовского дома, вместе с семьями соседнего селища, не успели еще вернуться из своего потаенного урочища, когда их настигла, трепеща радужными крыльями, весть об истреблении ханского войска. А урочище это, окруженное со всех сторон высокими скалистыми утесами, было совсем близко, сразу же за Чегемскими водопадами. В неприступную котловину вел из основного ущелья узенький проход между гранитными стенами — тут не разъехали бы и два всадника. Даже повозки приходилось сюда протаскивать, вернее, проносить на руках в разобранном виде. Внутри котловины росли обильные травы и дикие плодовые деревья, а с вершины одного из утесов низвергался водопад.

Обрадованные сельчане повернули назад к уцелевшим на этот раз домам.

Больше ни одна женщина не восклицала: «О, аллах! Корова моя — это гостья твоя!»

Вести о поимке Алигоко Вшиголового, суда над ним и позорном конце князя, вести об удивительной тайне панциря и происхождении того юноши, который, оказывается, считался «сыном матери, его никогда не рождавшей», вовремя достигли ушей Нальжан и Саны и их соседей. Вовремя — это значит до возвращения Канболета и Куанча.

Кубати отказался ехать с ними наотрез. Не желал он снисходительного к себе отношения. Конечно, чуткий Тузаров понимал, что парень не сомневается в своем аталыке, что «гордыня» его наиграна. Парню просто необходимо побыть без опеки старших.

Кубати уехал вместе с Нартшу. Рвался туда же и Куанч, но Тузаров не отпустил его.

— Почему же ты отпустил Кубати?! — возмущался Куанч.

— Потому что это было бы все равно, что у человека, который пошел танцевать, потребовать немедленно вернуть одолженные ему штаны.

— Ага! — понял веселый, честный и немного шумный Куанч и добавил тихо, с озабоченным вздохом:

— Что же, пусть потанцует...

Сана грустила и мечтала. Колечко, подаренное Кубати, начала носить открыто, а чувства скрывала, как сноха имя деверя. Сочинила песенку на тот случай, если ее захотят проверить, сумеет ли она не называть имен своих родичей, чтоб злые духи остались в дураках:

*Если туда, где кудахнут по-глупому,
Едва лишь снесут кругло-белое хрупкое,
Вдруг заберется хвостатая рыжая,
А потом перескочит плетеное,
Я кликну со мной соединенного,
А он призовет молодого безусого,
Того, кто родился позже него
От той, что вскормила обоих,
А позже рожденный вместе
С клыкасто-лохматым брехливым
Быстро отыщут глубокое узкое
И в рыхло-сыром раскопают укромное,
А рыже-хвостатая, таявая, выскочит,
А молодой наш, метко стреляющий,
Остроконечную сразу же выпустит
И угодит прямо в то, чем глядят.
А затем спустит с рыжей
Красивое, мягкое.
И это красивое мне принесет,
То я обменяю пушистое мягкое
На то удивительно сладкое белое,
Которое возят красноголовые, —
Вот что случится,
если хвостатая
Влезет туда,
где кудахнут по-глупому,
Едва лишь снесут
кругло-белое хрупкое!*

(красноголовые (кызылбаши) — это персы. Когда-то сахар попал на Кавказ из Ирана)

* * *

Прошло четыре года.

Тузаров отстроил новый дом на отцовском пепелище и надвинул шапку на брови — женился. И желали им с Нальжан дружными быть, как волос с медом сцепившись, нажить столько добра, чтоб даже «дымоходная труба у них из добротного была серебра». А отдельно Нальжан желали, чтоб шитье ее по швам не поролось, чтоб весела была (наша пелуанша), как козочка, ласкова, как овечка, плодovitа, как курица, щедра, как земля, а сердце чтоб, как огонь, горячее у нее было.

Сана жила с ними и все ждала своего Кубати. Куанч остался в емузовском доме, стучал там молотом по наковальне.

У Канболета выросла красивая окладистая бородка, которую Нальжан ему аккуратно подстригала. На пирушке, устроенной, согласно обычаю, в честь решения отпустить бороду, присутствовал Джабаги Казанокков. Приезжал и Нартшу. А упрямец Кубати пока не появлялся.

Уже и Нальжан была согласна отдать за него племянницу: Канболет уломал ее с трудом. Первое время она протестовала:

— Я согласна, тха, сыном его назвать, но не кинжал простолюдина должен разрезать шнуровку, которая стягивает коншибу моей племянницы!

Канболет встречался с каном, спрашивал, когда же у парня перестанут чесаться подошвы и он вернется в дом Емуза, принадлежащий теперь «одному Кубати». Говорил Канболет и о девушке.

Парень хмурил брови, топорщил черные, свисающие по уголкам твердого рта, усы и бубнил что-то насчет того, что, мол, «из милости данное — впрок не идет», зная преотлично, как Тузаров, да и Нальжан к нему относятся.

В одной из стычек погиб Нартшу, и тогда Кубати имеее с Жарычей, которому пуля изуродовала ногу, осел наконец у себя в усадьбе и с упоением отдался почетному ремеслу кузнеца-оружейника.

Жарыча ходил за домашним скотом. Он сально постарел и сильно хромал, но никогда не расставался с оружием.

Так и прошло четыре года.

ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ХАБАР ВОСЕМНАДЦАТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ,
*выражающий удовлетворение по поводу бесспорности
народной пословицы:*

*«Кузнец ушел — то, что сковал,
оставил.
Мудрец ушел — то, что сказал, оставил».*

Весной 1711 года князь Александр Бекович Черкасский, капитан русской гвардии, личный друг и советник Петра Первого, ехал по восточным делам в Кабарду. С важной миссией ехал.

«Великий государь указал послать для своих, великого государя, нужнейших дел на Терек Александра Бековича Черкасского; а от Москвы до Казани и до Астрахани, и до Тереку, и от Тереку назад до Москвы дати ему сухим путем 30 подвод ямских, а водяным путем против подвод суды с кормишки и гребцы».

Солидно ехал, внушительно. А перед его поездкой «Татархану князю, и братьям его, и прочим владельцам, и всему народу тому» (кабардинскому) Петр послал свое «милостивое слово»:

«Доносил нам, великому государю, брат ваш князь Александр, который в службе нашей обретается, что вы имеете желание под нашу, царского величества, высокодержавную руку поддаться и тем себя и подданных ваших из-под ига турецкого и хана крымского освободити, яко же и ныне писала к нему мать его, что крымцы вам неприятели, и частые брани между вами случаются, и что конечно желаете быти у нас, в. г. в подданстве.

Также из ваших стран писали к подданному нашему царю Арчилу Вахтангеевичу Меретинскому, что они постановили служить нам, в. г., а с крымцами також де завоевались и дабы вам ведомость о том дать; и мы, в. г. наше ц. в., то ваше желание приемлем милостиво и изволяем вас к себе в подданство и оборону принята. Только желаем дабы вы показали к нам ныне свою службу и верность против салтана турецкого и хана крымского, которые против нас войну всчали, наруша мир несправедно против данных многих обещаний. И ежели будете у нас в подданстве, то не токмо с вас никаких податей требовать не будем, но и погодное вам жалование давать определим, как то получает от нас подданной наш Аюка-хан и как вы прежде сего бывали у предков наших в подданстве и получали у них жалованье; и укажем вам вспомогать ему, Аюке-хану, с калмыки и донским и яицким и гребенским казаком, о чем о всем ссылаемся на словесный приказ, от нас данной брату вашему, которому в том верьте.

Дан в Москве лета 1711 марта в 4 день, государствования нашего 29 году».

* * *

В честь важного гостя кабардинские «владельцы» устроили большое празднество со скачками, джигитовкой, стрельбой и обильными возлияниями (не без некоторых отступлений от религиозных запретов).

Были и ссоры, были и взаимные упреки между «владельцами»: каждый стремился оказаться на видном месте и требовал пристального внимания к любому своему высказыванию.

Проявляя завидную выносливость и мужественную стойкость, Александр (или Девлет-Гирей, в бытность свою младенческую, дохристианскую) старался не

оставлять без ответа ни один из сотен вопросов. Вопросы умные, вопросы трудные, каверзные, вопросы неприятные, глупые и совсем дурацкие...

— Почему белый царь не дает нам ружей и пушек?

(У него их для своего войска пока не хватает).

— Будут ли русские насильно обращать нас в свою веру?

(Не будут).

— А если в войне с турками у царя начнутся неудачи, не откажется ли он снова от нас? Не бросит ли в беде?

(Он никогда и не отказывался, а тем паче теперь и в будущем особенно).

— Будут ли русские выдавать нам наших беглых унаутов и пшитлей?

(Договоримся).

— Сколько ясырей потребует от нас русский царь?

(Нисколько не потребует).

— Почему ты не женился на дочери русского царя?

— Сколько лошадей в царских табунах?

(Ровно столько, сколько необходимо для войсковой конницы, но не для торговли).

— Правда ли, что Петр съедает цельного быка за одни присест?

(Он воздержан в еде, как наши кабардинские джигиты).

...Так, или примерно так происходил обмен вопросами и ответами между представителями кабардинской знати и представителем русского самодержца.

Миссия Черкасского была утомительной, но не очень трудной в смысле достижения главной цели. Партия сторонников Ислам-бека Мисостова оказалась малочисленной и остерегалась выступать во весь голос. Преимуществом Александра было еще и то обстоятельство, что он, встретившись со своей матерью, узнал имена, привычки и притязания всех князей, настроенных в пользу союза с Турцией и Крымом. Ему легко удалось расколоть и эту, уже и без того слабую, группировку, перетянуть ее большую часть на свой берег. Тут не обошлось, конечно, без щедрых подарков и еще более щедрых посулов.

Чтобы никто из соплеменников не забывал о том, откуда он, царский посланник, прибыл, но и помнил также, что он человек для Кабарды свой, Александр появлялся на людях то в мундире Преображенского полка и уставном парике, то в черкеске и кабардинской шапке, и тогда выделялся из окружающих лишь чисто выбритым лицом. Во время застолий он произносил красивые хохы, тонко льстил и грубовато острил. Если Черкасский и не слишком искусно играл в ту игру, которая называется дипломатией, то, по крайней мере, умел произвести впечатление как человек искренний, честный и убежденный в правоте своего дела.

По-настоящему ожесточенный спор разгорелся лишь однажды — во время пиршества в доме князя Татархан-мурзаева.

Летняя ночь дышала сквозь раскрытые двери кунацкой ароматами влажных от росы трав и созревающих, яблонь. Сюда же заносило ветерком запахи дыма и конского навоза.

В просторной кунацкой тесно и шумно; колеблются огоньки высоких свечей, подаренных гостем, пышут жаром догорающие в очаге поленья; лица людей блестят от пота и хмельных напитков.

— Воллаги, биллаги, я не понимаю, как можно идти: с гяурами против единоверцев? — кричал упрямый князь Мухамет Кургокин. — Пусть мне это объяснят!

Татархан, к которому сам Петр Первый обращался лично в своем послании, укоризненно покачал головой и заговорил спокойно, рассудительно:

— Вместо того, Мухамет, чтобы сопровождать божбой каждое слово, ты бы вспомнил поговорку: «У клыча один закон: раз наточен — рубит он!» И еще: «Волк жеребенка режет — на тавро не смотрит». Наши единоверцы! Сколько раз

опустошали они землю нашу, сколько людей угнали и чужеземную неволю! И сейчас они готовятся к новому разорительному набегу. А новый хан требует от нас уже не три, а четыре тысячи молодых парней и девушек. Бахчисарайские владыки с их калгами и нурадинами и последние годы стали сменяться быстрее, чем листва на деревьях, и каждый спешит урвать от Кабарды кусок пожирнее!

— Твое слово мне по душе, князь Татархан, — сказал Касай-бек Атажукин. — Что значит вера? Это — одежда! А безносому хоть золотую черкеску шей, красавчиком его не сделаешь!

Отверз уста и высокомерный князь Ахлов, поправив на голове высокую свою шапку:

— Относительно жеребенка и тавра... Как тебе, дорогой Кургокин, можно объяснить еще понятнее? У меня есть кони всякой породы, а тавро на них одно и то же. Мое тавро, ахловское. А у моих родичей тоже есть кони таких же пород, как у меня, но они отмечены другим тавром.

Одобрительные возгласы и вежливый смех оглашали кунацкую после высказываний Атажукина и Ахлова.

— Клянусь, правда! Мы с урусами по породе близкие, хотя дамыги на нас разные?

— А с татарами и турками — мы кони разных пород!

— Точно, разных, хотя пророк одним тавром нас прижигал!

— А когда-то ведь у нас с русскими и вера была общая!

— Греческая религия у кабардинцев даже намного раньше была, чем у русских.

Только Ислам-бек Мисостов недовольно кривил тонкие капризные губы, а Кургокин мрачно вперил свой взор в стоявший перед ним серебряный потир.

Черкасский улыбнулся, казалось, улыбкой добродушной, примиряющей и даже немного застенчивой, сам же с волнением ждал, что скажет Джабаги Казанок.

Джабаги заметно изменился за последние четыре года. Черты лица стали резче, глаза смотрели строже, не так весело, как раньше. В черной бородке уже появились белые нити.

Все голоса, будто по взаимному соглашению, вдруг умолкли, а все взгляды обратились на Казанок. Стало тихо.

Джабаги медленно поднялся со своего места. Посмотрел в сторону открытого дверного проема. Из темноты доносился тысячеголосый лягушачий орэд.

— Разгомонились, как татарское войско на привале, — сказал чуть задумчиво Казанок. Прозвучал негромкий короткий смех, всколыхнулись огоньки свечей, и снова стало тихо: о чем поведет речь тридцатилетний старейшина?

— Многие из вас видели древние памятники на берегах Зеленчука и Этоко, — начал Джабаги. — Им более тысячи лет. Надписи, вырезанные на этих каменных обелисках, сейчас никто уже не может прочесть. А ведь там выбиты греческими знаками кабардинские слова. Наши предки, чье наследство нам не позволили сберечь, тогда владели письмом... Теперь благодаря стараниям Турецкой державы и ханства Крымского мы не имеем ни своего письма, ни прежней веры.

— Аллах покарает тебя за эти слова, Джабаги! — не выдержал Мисостов.

Казанок ответил добродушно:

— Возможно, Ислам-бек, возможно. Так же, как тебя за твои слова покарает Иисус. Но я продолжу, с твоего разрешения, князь. Итак, взамен неисчислимых утрат — и ценой губительного сокращения численности нашей — мы получили ислам. Те, кто загораживает нам свет, идущий от более просвещенных народов, хотели бы вечно держать нас в темноте и рабской зависимости. Турки и крымцы теперь лицемерно объявляют кабардинцев своими родственниками по религии. То, что они раньше брали у нас силой, расплачиваясь за это кровью немалой, в бу-

душем намереваются брать задешево. Испокон веков более сильные мусульманские державы стремились превращать слабые соседние государства (даже исповедующие тот же ислам) в свои хлебные закрома, скотные дворы, в свои конюшни и воинские становища, откуда можно черпать молодые свежие силы для все новых и новых походов.

— Но ведь это для священных походов! — прервал Кургокин.

— Казауат! (*то же, что и газават, — священная война*) — значительно произнес Мисостов. Насмешливая улыбка тронула губы Джабаги:

— Прежде чем убить собаку, ее объявляют бешеной. Любой казауат — это поход за чужим добром. Вы знаете, с чего началась «священная война» пророка Магомета? С ограбления мирного купеческого каравана корейшитов!

— Ты хочешь быть в рабстве у русских? — не унимался Мисостов.

— Нет, — возразил Казанок. — Хотя у нас и распространился ислам, что означает «покорность», но никогда это свойство не было присуще адыгам. Покорность — это не наш обычай, князь Ислам! — Джабаги выделил ударением имя князя и, как бы случайно, забыл произнести окончание «бек». — Мы — народ малочисленный, но не слабый. И даже приняв мусульманскую религию, наш народ никогда не станет следовать тем предписаниям, которые унижают честь и достоинство человека, будь это женщина или ребенок, христианин или язычник. Да и царь Петр хочет не поработить нас, а дружить с нами. Мы не должны будем ему платить ясак или давать ясырей. Наоборот, он сам собирается платить нашим старшим жалованье. А что должны мы? Помочь ему, когда турки и татары вновь нападут на низовые русские земли; если же нападут на нас, мы тут же получим помощь незамедлительную от него. Ему нужно только знать, что здесь, между Ахыном и Хазасом, живет верный друг. Надо ли еще доказывать, что самой судьбой, еще во времена царя Ивана, адыгам предначертан был единственно правильный путь — идти вместе с русскими, а не с их извечными врагами. Незачем нам искать дальних родственников, когда у нас рядом — добрый и сильный старший брат!

Казанок обвел присутствующих взглядом проникновенно-внимательных глаз — они казались у него дивно завораживающими, когда он говорил о важных вещах, — молча постоял немного, словно ожидал каких-то возражений, и сел.

Некоторое время в хачеше царила задумчивая тишина. Было слышно, как во дворе пофыркивают кони.

Тихим взволнованным голосом, будто не желая нарушить торжественность тишины, заговорил Черкасский: — Слово нашего брата Джабаги имеет широкие крылья. Оно долетит до северных морей, останется нашим потомкам в наследство. Хотя я живу далеко от родной земли, но ее душа всегда со мной, ее адыге хабзе всегда со мной. Эта душа сейчас мне подсказывает:

*Кузнец уйдет — то, что сковал,
оставит.*

*Мудрец уйдет — то, что сказал,
оставит.*

* * *

На крутосклонном берегу Псыжа накапливалось татарское полчище, вновь точившее зубы на Кабарду. Готовилась присоединиться к татарам и ногайская орда, однако планы страшного набега были расстроены: с севера выступило девятысячное войско Апраксина, рассеявшее конницу союзников Крыма — ногайцев — и обратившее в бегство значительные силы закубанских татар. Более удобный для кабардинцев случай, чтобы самим напасть на ханское полчище, трудно было при-

думать. Черкасский легко убедил кабардинскую знать, что это лучшая возможность «явить... его царскому величеству свою дружбу и верность».

Кабардинцы обрушились на татар стремительно и яростно. Множество врагов посыпалось в реку, словно каменная осыпь с подмытого обрыва. Сколько их было побито, а сколько потонуло в быстрой Кубани, определить было невозможно; ясно одно — захлебнулось в мутной воде крымское нашествие.

Князь Черкасский, осчастливленный столь блестящим завершением своей миссии, поспешил послать «ведомость» в Россию...

* * *

Указ Правительствующего сената Посольскому приказу о выдаче жалованья кабардинским послам Султан-Али Абашеву, Арзамасу Акартову и др., присланным Л. Б. Черкасским с известием о победе над закубанскими татарами.

«В канцелярию Правительствующего сената в письме адмирала генерал-кавалера Адмиралтейства графа Федора Матвеевича Апраксина, писанном из Троицкого сентября 15-го, а в Москве полученном сего октября в 3-м числе, написано, что де сентября 13 числа писал к нему от реки Кубани князь Александр Бекмурзин, сын Черкасской, что де августа 30 числа у горских черкас с кубанцами, которыми командовал мурадын салтан, был бой, на котором оных кубанцов черкасы побили 359, да в полон взяли 40 человек, а других потопили в реке Кубану; и сам де салтан ушел ранен с немногими людьми. Также и лошадей взято многое число; и с тою ведомостию кабардинские владельцы прислали узденей своих Салтан-Алея Абашева, с товарищи 3-х человек и просили чрез письмо, что тех присланных узденей отправить до царского величества...»

После боя Черкасский, Казанок и несколько князей и тлекулешей ехали шагом вдоль неширокой береговой полосы, где совсем недавно затихло сражение.

Их обогнал, проскакав галопом, всадник на черном, без единого пятнышка, коне. Поправляя на ходу сползавшую с плеча черную бурку, он на мгновение обернулся и кивнул головой Казанкову. А Черкасский вспомнил это молодое, но мрачное лицо с нахмуренными бровями и резкой складкой между ними.

— Кто это? — спросил он у Джабаги. — Я его видел во время боя. Парень орудовал похлеще, чем косарь на лугу!

Казанков задумчиво посмотрел вслед всаднику:

— Кубати его зовут...

— А из какого он рода? Какого звания? Джабаги ответил:

— Из какого рода? Из человеческого он рода. А его звание — адыгский мужчина...

* * *

В тот же день у Казанкова состоялась важная беседа с Канболетом. Ответив друг другу на неизменные вопросы о здоровье родных, о делах, о разных новостях и поделившись впечатлениями о сегодняшнем побоище, они заговорили о Кубати.

— Так ты видел его? Даже не остановился? — Тузаров озабоченно покачал головой. — Не знаю, как с ним быть. Решил, глупый, что он, видишь ли, не должен обременять нас своим присутствием.

— Ну нет, он не глупый, а гордый.

— Я понимаю. А вот как объяснить это бедной девушке? Хотя... она тоже,

наверное, понимает, только веселья у нее от этого не прибавляется.

— Но она все еще ждет? Надеется?

— Ждет.

— Попытайся убедить его...

— Да разве я не пробовал! Я хочу тебя попросить, Джабаги, — потолкуй с ним. У тебя получится. А?

— Ну что ж, потолкуем... Обязательно потолкуем.

— Ты уже что-то придумал!

— Придумал. И я должен тебя предупредить...

* * *

Через несколько недель, поздним вечером, в бывший емузовский двор въехал одинокий всадник.

— Эй, Кубати! Седлай скорее коня! — раздался чей-то решительный голос, показавшийся парню знакомым.

Поспешно одевшись, Кубати выскочил во двор. Он вплотную приблизился к неожиданному гостю и узнал при свете луны Казаноккова.

Подбежал Куанч, схватил повод казанокковской лошади:

— Вот так гость!

— Нет, Куанч! — сурово сказал Джабаги. — Я не гостить приехал. Мне нужен Кубати.

Кубати, ни слова не говоря, пошел седлать Фицу.

— А я не нужен? — обиделся Куанч.

— Для моего дела достаточно двоих. Через пару дней вернется твой Кубати.

Под утро они уже были далеко за Баксаном, а к закату солнца, передохнув днем, приблизились к Тереку.

С грустью смотрел Кубати по сторонам, вспоминая события одиннадцатилетней давности. Где-то здесь один его дядя убил другого, здесь же в кровавой резне погиб на его глазах старший Тузаров со своими людьми... Вспомнились холодные волны реки и та жуткая ночь возле тела Исмаила: зябкая дрожь пробежала по спине Кубати.

Едва лишь стемнело, всадники перебрались вброд через терские протоки.

На том берегу Джабаги сообщил наконец о цели их поездки:

— Будем воровать невесту. Кубати слегка оживился:

— Ну вот и наш Джабаги женится! Я рад, что ты оказал мне честь сопроводить тебя.

— У тебя конь выносливее моего, — продолжал Казанокков, не отвечая на слова Кубати. — Поэтому ты и повезешь девушку. Вынесешь ее со двора тоже ты.

— Хорошо.

— Собак там нет, а невеста предупреждена. Будет наготове.

— Ясно.

На самом деле Кубати многое было неясно. Почему такой знаменитый человек, как Джабаги, решил воровать девушку? Или она уже была обещана другому? В таком случае не повредит ли Казанокков, если увезет чужую невесту, доброму своему имени? А впрочем, все это Кубати не касалось, а уж задавать нескромные вопросы — совсем не его дело.

Вдали показалось небольшое селище, и Джабаги остановился:

— Подождем темноты. Похоже, ночь и сегодня будет лунная, но мы успеем до восхода луны.

Кубати подумал о том, что где-то в этих местах живет Канболет, и... сердце его мучительно заныло.

...Со стороны маленького садика с чахлыми деревьями Кубати прокрался к

двери лагуны: Джабаги точно объяснил, как ее найти. Дверь открылась сама, чуть раньше, чем к ней прикоснулся молодой человек. Он увидел неясные очертания женской фигуры, с головой укутанной в какое-то темное покрывало. Кубати подхватил ее на руки и легко, будто малого ребенка, понес к ограде сада.

На всем обратном пути сдержанный сообщник Казанокowa так ни разу и не увидел лица невесты, не услышал и ее голоса.

На последнем привале Казанокow, как бы между прочим, обронил:

— Мы не ко мне поедem, Кубати, а к тебе.

Кубати спокойно кивнул. В этом не было ничего неожиданного: ворованную невесту везут не в дом жениха, а в дом его друга. Кубати был очень польщен — значит, Джабаги и в самом деле считает его своим настоящим другом. Радостное волнение согрело душу джигита.

Казанокow не стал заезжать во двор Кубати. Осадив коня и приветливо помахав рукой выскочившему из-под навеса Куанчу, он крикнул:

— Живите с миром! Пусть вашим будущим детям славу поют! Приеду на свадьбу!

— Как... как же это? — пролепетал потрясенный Кубати. — Эта невеста...

— А я тебе не говорил, что мы едем за моей, именно за моей, а не твоей невестой! — Джабаги расхохотался, вздыбил коня и поскакал прочь.

У Кубати за спиной послышался тихий девичий смех и восторженные восклицания Куанча.

Сана смотрела в глаза Кубати чуть смущенно, но со смелым веселым вызовом:

— Теперь куда от меня денешься?

— Уо, невеста, невеста! — задыхаясь, пробормотал Кубати. — Никогда я не чувствовал себя таким глупым и таким счастливым!

— Веди теперь в дом, раз украл меня.

— Это ты меня украла. Моими же руками...

* * *

Александр Черкасскому, «птенцу гнезда Петрова», больше не удалось побывать на своей родине. В 1714 году он получил от царя очень важное и почетное задание: обследовать берега Каспия, особенно восточные, совсем не изученные, и составить подробную карту. В трудной экспедиции участвовали полторы тысячи солдат на трех десятках стругов и шхун при 19 пушках.

Образованный офицер (недаром он и за границей обучался) прекрасно справился с заданием: первая в истории научная географическая карта Каспийского моря была составлена с большой точностью.

В 1717 году Петр послал его в новую экспедицию, еще более трудную и опасную. Перед этим Александр Бекович пережил страшное горе: на Волге, под Астраханью, погибли во время бури его жена Марфа, урожденная княжна Голицына, и две маленькие дочери. Спасти с потерпевшего крушение баркаса удалось только сынишку.

Мрачные раздумья и тревожные предчувствия одолевали Черкасского, когда он пробирался через пустыню в Хивинское ханство с посольской миссией.

Хан Ширгазы поначалу встретил посланцев русского царя с лицемерной любезностью, охотно принял дары и откровенно восхищался привезенной ему роскошной каретой, которую специально для него заказывали лучшему парижскому мастеру. Затем предложил разделить шеститысячный отряд Черкасского на пять частей и устроить их на постой в пяти разных местах — для одного, мол, рода русских гостей слишком много. Доверчивый князь согласился и сделал неисправимую ошибку. В одну ночь русское посольство было поголовно перерезано,

сам Черкасский был подвергнут мучительной казни...

* * *

Крымские ханы еще долгие годы совершали опустошительные набеги на Кабарду. Однако в отличие от прошлых лет, Россия теперь всерьез защищала «кабардинских и горских черкас». Даже при Анне, которую державные заботы не волновали — она больше увлекалась любезным своим фаворитом Бироном, оказалась бужениной да упивалась бесчисленными казнями «изменников» — в Петербурге еще были государственные мужи, кровно радеющие за интересы России.

Мимо их рук не проходило ни одно послание с Северного Кавказа.

«Уповая на всевышнего бога, пресветлейшая державнейшая и страшнейшая государыня императрица, высочайшие стопы ваши потирая лицами своими, всепокорно просим и желаем от всемогущего бога В. И. В. наивящего благополучного государственования.

Да будет в. и. в. известно, что изстари, как при царе Иоанне Васильевиче, так и при е. и. в., отцы наши и мы в повеленные нам места для службы ходили, и мы от того времени, припадая к стопам е. и. в., рабами быть присягали, також и во всякой службе душою и телом по должности нашей присяги со всякою верностью служили; и живем при Баксане, где через многие годы от крымцев мы покою не имеем; и на владение наше Каплан-Гирей хан со многочисленным войском своим для завоевания владения нашего приходил, но божиим изволением войско его разбито и бесчисленно много побито, которое войско само на нас напало, а не мы на них; и тому двадцать семь лет как по указу е. и. в. брат наш Александр Бекович прибыл во владение наше и тогда крымское войско, пришед во владение наше паки разбито, и многия от них побиты, а потом спустя еще несколько времени ис Крыму сераскир султан с Бахты-Гирей салтаном с войском приходил, и паки от нас они разбиты; и сераскир салтан с Бахты-Гирей салтаном до смерти убиты. И сие дело мы не выступая из владения нашего чинили, понеже они сами на нас напали. И от того времени мы себе покою донныне не имеем, ибо как летом, так и зимою, денно и ночно всегда в страхе и беспокойстве находимся...

...ныне мы в бедности обретаемся, и от владения нашего никогда крымское войско не отступает...»

Это послание составлено в августе 1731 года, и потому ссылка на Черкасско-го содержит ошибку: он приезжал на Терек не 27, а 20 лет назад. Кстати, в том же 1731 году на Кабарду вновь напал ее старый знакомый Каплан-Гирей, в третий раз к тому времени занявший ханский престол.

Указ Коллегии иностранных дел коменданту крепости Св. Креста Д. Ф. Еропкину

от 2-го декабря 1731 года.

«Доношения твои, отпущенные из крепости Святого Креста от 20-го и 23 октября, здесь минувшего ноября 17-го дня все вдруг получены; ис которых в первом и ис приложений при оном усмотрено, каким образом прибыл х Кабарде ис Крыму Арбибеты-Гирей и Араслан-Гирей, салтаны с войсками вначале у кабардинцев на полях хлеб и сено пожгли и другие разорения приключили и намерены были на Кабарду наступление чинить, но услыша об отправленной от тебя команде, в Гребенские городки, устрашась оной, восприяли рейтираду, на которых кабардинцы, при переправе чрез реку Терек, учинили нападение и тех салтанов с войском разбили и многое число крымцев и кубанцев побили, и некоторых в плен

побрали. А помянутые салтаны потом пошли бегом на Кубань, для чего ты команде бывшей в Гребен-ских городках велел возвратиться паки в крепость Святого Креста, и что после оной баталии приехал к тебе ис Кабарды от тамошних владельцев Магомет Атажукин, о котором все кабардинские владельцы просят об отпуске оного ко двору е. и. в. сюда в Москву.

На что тебе сим е. и. в. указом в резолюцию объявляетца.

Вышеописанный твой поступок в посылке команды до Гребенских городков на защищение кабардинцев апробуетца. И понеже из допросу привезенного к тебе крымского татарина усмотрено, якобы еще крымской Алди-Гирей калга салтан намерен был с частию войск итти в поход незнамо куда, того ради надлежит тебе чрез всякие удобные способы непрестанно трудиться разведывать, не будет ли помянутой калга салтан или другой кто ис Крыму или с Кубани х Кабарде для отмщения кабардинцам за разбитыеньшешняго их корпуса. И ежели, паче чаяния, паки кто с крымской или с кубанской стороны на Кабарду наступление чинить будет, то тебе как во отвращение таких приходящих турецких подданных от нападения на Кабарду, так и в защите нии от того кабардивцов, поступать во всем по силе е. и. в. указу...

От резидента Неплюева получены на сих днях новейшие реляции ис Константинополя от 18 октября, в которых он доносит, что он о походе ис Крыму войск на Кабарду еще при Порте сильныя представления чинил, напротив чего он как от везиря, так и от других турецких министров накрепко уверен, что хану позволения на то дано не было...»

Нет, не намерена была Россия отдавать Кабарду Османской империи, будь она хоть трижды Блистательной. В 1735 году новое нападение турок и крымцев на Кабарду послужило поводом для очередной русско-турецкой войны, продолжавшейся четыре года.

Последнее нашествие на Кабарду полчищ татарской конницы и турецких янычар было в 1774 году. И на этот раз выручил «добрый и сильный старший брат». Сначала войско, которым командовал хан Девлет-Гирей, потерпело сокрушительное поражение у редута Бешта-мак (Пятиречье), где близко расположены устья Чегема, Баксана, Черека, Малки и русло Терека. С остатками своей орды хан был оттиснут к горам и окончательно разбит у слияния Баксана и Гунделена.

...Недалек был тот день, когда перестало существовать и само Крымское ханство.

Слово созерцателя

Если приходится расставаться с приятными людьми, лучше делать это в тот момент, когда они счастливы и надеются жизнь прожить долгую и полезную. Нам известно, что такая жизнь была у Джабаги Казанова. И даже больше того: он оставался не просто сыном своего времени, а принадлежал к числу тех необычных людей, редких для его «жесточкого века», которые с болью в сердце переживали события прошлого и с замиранием сердца пытались предвидеть события грядущего.

Эти люди понимали, что облик грядущего зависит и от деяний ныне здравствующего поколения, способного (но не всегда осознающего эту способность!) уготовить своим близким, а порою и более отдаленным потомкам либо жалкое прозябание, либо жизнь достойную, исполненную надежд на еще лучшее будущее.

Эти люди понимали, что путь к «золотому веку» — путь каждого на свой «Ошхамахо», свою «Гору Счастья» — не через россыпи золотые, а через постоянное обогащение человеческого ума и сердца. Лучшие из этих людей призывали судить и оценивать достижения и поступки своих современников лишь по тому, ЧТО и КАК свершено, но отнюдь не по тому, КЕМ свершено.

Кабарде везло с древнейших времен на пророков из собственного отечества, на мудрых оракулов от земли родной, сумевших для воспитания чувств смелых, гордых и мягкосердечных своих соплеменников сделать не меньше, чем выдающиеся умы из европейских стран сделали в то же время для развития науки, техники, искусства.

«Любить ближнего, как самого себя» в Кабарде всегда умели лучше, чем в христианских государствах. Умное человеческое слово и добрый поступок ценили на адыгской земле не имели. Превыше всего здесь почитался честный и справедливый, мужественный и великодушный ум, а против глупости здесь боролись ожесточенно. Боролись, хотя, как говорил один знаменитый поэт, против глупости сами боги бессильны...

Сами боги бессильны...

Но не люди.